

1988 № 9 (21)
СЕНТЯБРЬ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА

ПОЕЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор),
ЭДГАРС БАНС,
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь).
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС,
ПАВЕЛ ВИШНЕВСКИЙ,
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела),
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС,
РОСТИСЛАВ ЗУБКОВ,
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора),
СТАНИСЛАВА МАРСОНЕ,
МИЕРВАЛДИС МОЗЕРС,
МАРИС ОГА,
ЯНИС ПЕТЕРС,
ЯНИС РОКПЕЛНИС,
БАЙБА СТАШАНЕ,
АДОЛЬФ ШАПИРО.

РЕДАКТОРЫ:

РУДИТЕ КАЛПИНЯ,
АНДРЕЙ ЛЕВКИН,
ОЛЕГ МИХАЛЕВИЧ,
НОРМУНДС НАУМАНИС,
ЭВА РУБЕНЕ,
ТАТЬЯНА ФАСТ.

ПЕРЕВОДЧИК

ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ

КОРРЕКТОР

ОЛЕГ КРУГЛИКОВ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ.

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

- Эва Рубене. «Сапниши» (1)
Андра Нейбурга. «Светило солнце» (9)
Аркадий Драгомощенко. «Сумма элегий» (15)
Майкл Молнар.
«О поэзии Аркадия. Драгомощенко» (17)
Андрис Бергманис. «Путешествие за цветочными семенами» (19)
Андрейс Пумпурс. «Лачплесис» (фрагменты) (22)
Михаил Эдидович. Стихи (26)
Игорь Шарапов. Рассказы (27)
Ольга Хрусталева. «Ш²» (30)

КУЛЬТУРА

- Резолюция расширенного пленума Союза писателей (32)
Янис Петерс. Речь на пленуме (37)
Гунарс Асарис. «Надо становиться хозяевами» (37)
Маврикс Вулфсонс.
«Об истории честно» (39)
Гарегин Закоян.
«Сергей Параджанов» (42)
Артемий Троицкий.
«ROCK IN THE USSR» (46)
Дни искусства-88 (48—49)

ПУБЛИЦИСТИКА

- Илмарс Латковскис. «Все течет и меняется» (50)
Рудольф Вексниньш. «Общественной опасности не представляет . . .» (52)
Манфредс Шнепс. «Карл Баллод и его «Государство будущего»» (56)
Олег Ильенков. «Концепция» (62)
Инна Пичугина, Сергей Пичугин, Сергей Осколков, Владимир Иванов.
«Сто метров демократии» (65)
Илан Полоцк. «Попытка комментария» (66)
Вилнис Зариньш. «Философия грабителей» (67)

ЛИТЕРАТУРА

- Лидия Гинзбург. «Три фрагмента» (72)
Леонид Добычин. «Город Эн» (75)



ЛИТЕРАТУРА

ЭВА РУБЕНЕ

САПНИШИ

ПОВЕСТЬ

Перевел ИЛАН ПОЛОЦК

1.

Без четверти час Эдвард вышел из ресторана «Межвинс». Как всегда к этому времени, последний автобус уже ушел. Как всегда, он решил двинуть по шоссе, откуда издали доносились звуки проходящих машин. Вымотанный длинным рабочим днем, Эдвард шагал не спеша. На шоссе стояла долгая тишина. С каждым шагом Эдвард погружался в мрачную угрюмость. И когда гул приближающихся машин был ясно слышен, нервы у него уже были натянуты до предела. Эдвард наудачу поднял руку: фары, слепя глаза, брызнули в лицо ярким светом, в сущности, только его он и видел, а машина, поглощенная темнотой, потеряла и форму и цвет. Взвизгнули тормоза, и кто-то открыл заднюю дверь.

Едва только Эдвард приблизился к машине, он сразу же почувствовал знакомый «выхлоп» дыхания, с которым он вырос и сросся в без которого не мог представлять себе жизни, но — от которого только что освободился, и боялся его как огня.

— До Пиртниеков подбросите? — спросил он, стараясь скрыть угрюмость своего голоса.

Человек за баранкой молча кивнул. Рядом с ним сидел парнишечка с чайным стаканом и фляжкой коньяка в руках. На заднем сиденье в лежку расположились две молодые девицы, которые, когда Эдвин залез в салон, потеснились. Перень налил им коньяка, и девицы, поделив его между собой, лихо заглотнули стакан.

— Будь любезен, налей и нашему новому приятелю тоже, — одна из них обратилась к молодому человеку.

— Что-то ты здорово расщедрилась!

«Кадры, что надо, — подумал Эдвард, — но не ко времени». Ему сразу же захотелось попросить остановить машину, но он сказал сам себе: не торопись, подумай.

«А может, в самом деле выпить? Сто грамм? Всего стопарик. Они чужие. Опасности нет. Пока потихоньку высосу, будут уже Пиртниеки. Вылезу и пойду домой. Не могу же я сказать совершенно чужим людям: знаете, я пожалуй поеду с вами, плесните еще. Только сто грамм. Потому что только первый хмель прекрасен».

Эдвард искоса посмотрел на бутылку: оставалась примерно половина.

«Больше они мне и не предложат. От одной стопки агрессивным я не стану, просить больше не буду». Но у одной стопки есть особенность: начинает казаться, что ее мало — это он уже знал. И помнил, сколько правды заключено в словах, которые он не раз повторял: как только выпью первый стаканчик, на весь день свободен.

Свободен он будет и на всю ночь. И на всю неделю — этим вечером он кончил смену.

«Так и так начну. Лучше сейчас, чем в середине рабочей недели. Из двух зол логичнее избрать наименьшее».

Рядом девушки. Видно, что готовы на все, прикинул Эдвард. Именно такие сегодня ему и нужны. Салон машины был полон тонкими ароматами и запахом хорошего коньяка. Между пальчиками у девушек сигареты. Нежные завитки сигаретного дыма коснулись его лица. Эдвард прикрыл глаза. Плечо девушки прижималось к его руке. Это было все то, о чем он мечтал долгими-долгими, муторными, несчастными месяцами; в эту ночь сам бог послал ему дар — да будет он проклят.

— Лучше налить девушкам, — заговорил Эдвард; он тянул время, бросая за окно тревожные взгляды: скоро ли Пиртниеки? «Потерпи еще немного», — говорил он сам себе.

Коньяк был великолепен. За двадцать восемь восемьдесят, безошибочно определил он. Наливая его в стакан, он почти физически ощущал, как напиток льется ему в горло, как в нем оживает жажда существования, как пробуждаются усталые чувства, как расправляет крылья душа, воспаряя снова к жизни.

Передавая стаканчик девушке, что сидела с ним рядом, Эдвард посоветовал: — Пейте не спеша.

«Хоть бы она не успела опустошить его до той минуты, когда буду вылезать. Но, видно, зря надеюсь, она, чувствуете, та еще выпивоха».

Всех пьющих Эдвард издавна делил на две группы: сосунов и выпивох. К первым он относил тех, кто смаковал выпивку глоточками, потягивая ее, опоражнивая за весь вечер хорошо, если сто грамм. Другие, в свою очередь, пили, чтобы забалдеть, глотали жадно, рывком запрокидывая голову — стакан, второй, третий, восьмой. Но в руках у Эдварда была бутылка.

«Может, сейчас? Ох, господи, как хочется. Я же могу глотнуть из бутылки! Ну, вперед», — побуждал он себя к тому, чего боялся сделать больше всего. «Давай же» — говорил он себе, чувствуя, как подрагивает голос, даже когда он произносит это слово лишь мысленно. Рука,

* Название хутора.

державшая бутылку, стала влажной от пота. Сердце частило; оно билось в груди как сигнал тревоги. Эдвард глухо вздохнул. Он боялся самого себя.

Спасение пришло неожиданно, всплыв непонятно из каких глубин; не желая его, он все же ждал его появления, и оно было достаточно убедительным: внезапно, четко, как на фотографии он увидел перед своими глазами утро этого прошедшего дня в своем доме. В кухне, держа на руках Лаурочку, стояла Лелде. Солнце ранней весны освещало их обоих — жену и дочурку. Эдвард вспомнил, как смотрел на ребенка, любясь ее обаятельной мордашкой. Воспоминание это согрело Эдварда своей нежностью и, сам того не замечая, он расплылся в улыбке.

В конце концов, Пиртниеки были уже в двух шагах. Эдвард отдал парню бутылку, сказал спасибо и выскочил из машины, словно из пасти тигра. Он спасен, он жив. Ладони у него были влажными, лоб в каплях пота, сердце билось с перебойми, словно после похмелья. Он встряхнулся как собака. Затем пересек шоссе, свернул на лесную тропинку и направился к дому.

Обаяние ночи смягчило его. С небес лила свой свет полная луна. Сначала по обеим сторонам дороги тянулись поля, которые посылали путнику свой отраженный свет, но затем начался лес, сквозь переплетение ветвей которого лучи месяца уже не могли пробиться. Стояла первозданная ночная тишина.

На ходу Эдвард скользил и спотыкался. Четыре километра от шоссе до Сапнишей, через лес, где на изгибе лесной излучины стоял его дом, были для Эдварда серьезным испытанием. И каждый раз, словно по повелению свыше, он освобождался в мыслях своих от назойливых воспоминаний о семье, о деньгах или работе, что позволяло ему невозбранно погружаться в себя.

Пролетел целый год и одиннадцать дней с того момента, когда он покончил с ужасающим саморазрушением. Эдвард с трудом верил, что оказался способен на такое геройство.

«Неужели в самом деле спасен?»

Никогда в жизни ему не удавалось продержаться такое чертовски долгое время. Да и вообще жизнь его еще нельзя было назвать уж очень долгой длинной — ему шел тридцатый год. Полжизни прошло, как он сам считал. А скорее всего, больше — все чаще Эдварду на ум приходили мысли, что жизнь уже пошла под гору.

«Такие, как я, уходят рано, около сорока. И умирают легко, на зависть легко, внезапно утром, от сердечной недостаточности».

Эдвард надеялся, что его ждет именно такая смерть. Может, в последний час бог сжалятся над ним, даст ему легко уйти из жизни, раз уж обречен на такие муки существования.

«У таких, как я, первым делом отказывает сердце. До цирроза печени я не дотяну», — спокойно размышлял Эдвард.

В этой округе, в Пиртниеках и в других местах, люди не тянут долго. Те, кто пьют. А других тут, можно сказать, и нет. Хотя жил как-то в Пиртниеках такое чудило — Лудис Коциньш, в прошлом один из самых жутких пропойц. Уже седьмой год, как он бросил, и сам думал — на веки вечные. Пусть ему повезет, от души пожелал ему Эдвард. Порой он завидовал Лудису, но ни на мгновение не сомневался в том, что все эти годы Лудис вряд ли чувствует себя на седьмом небе. Воздержание превратило некогда бодрого, озорного и разговорчивого мужика в нечто ужасное до безобразия. Второго такого мрачного, злобного и ехидного человека Эдвард не знал в округе. Разве что, как он сам чувствовал, существовала опасность стать похожим на Коциньша. Чем больше у него за спиной оставалось таких месяцев, тем больше он ловил себя на том, что в нем появляются черты Коциньша.

«Неужели я в самом деле спасен? И если так, то кому

от этого стало хорошо? Лелде? Не похоже». Эта мысль, как-то в минуту просветления родившаяся у Эдварда, давно уже мучила его и волновала. В первые шесть месяцев она лишь изредка посещала его, а теперь все сильнее подрывала его решимость.

«Неужели мне так уж нужно это жалкое существование в роли живого трупа? Как хорошо было бы, если бы я мог жить как человек. И выпивать как человек. А не как скотина. Сто грамм, двести, ну ладно, бутылку, но приходить домой, где мир, покой и березки. Выспаться — а на другой день на работу. Так раньше говорила Лелде. Теперь она выросла. Я ее воспитал такой».

Мысли о жене сил ему не придавали, всего лишь рождали теплое чувство благодарности. Думал он и о дочке, что хочет быть ей хорошим отцом, но, чувствуя свое бессилие, признавал, что, пожалуй, единственное, чему он может научить — ребенка — это жалости и сочувствию к отцу.

Эдвард уже одолел порядочный кусок пути. С правой стороны дороги лес кончился и снова потянулись поля. Его окружал прекрасный ночной пейзаж. Из года в год возвращаясь поздними часами, Эдвард видел его, и каждый раз он представлял перед ним в каком-то ином облике.

Заснеженные мерцающие снежные поля вдалеке сливались с лесом, и этот вид рождал ощущение раскинувшихся пространств, которые он так любил. На фоне синевато-серого неба вырисовывалась извилистая линия елового леса. Он остановился. Эдвард смотрел на открывающийся перед ним пейзаж с молитвенным восхищением, как на икону. Тишина. Успокаивающий лунный свет. На мгновение он почувствовал себя могучим и сильным, как еловый ствол. И как всегда в такие минуты очищения и просветления, он подумал: «Как все же красива жизнь. Может, именно и потому есть смысл жить на свете, чтобы видеть звездное небо, округлость месяца над верхушками леса и следы косяки на снегу». Мир пришел в душу Эдварда, подчинив себе и тело его, и ум. Он знал, что эти минуты умиротворения продлятся недолго, но эти краткие мгновения счастья вливали в него новые силы. Люди не могут прийти к нему на помощь, да и он сам не знал, как помочь себе иначе, чем вот так — стоять в ночной тишине, наслаждаясь окружающим миром. «Если даже нет иного счастья в мире, то и этого хватит — своими глазами видеть и эту землю, и это небо, и слушать, как шумит ветер в ветвях. И видеть свое дыхание в чистом воздухе».

Взволнованный очарованием ночи, Эдвард, даже не понимая, что делает, опустился на дорогу, молитвенно сложил руки и в отчаянии зашептал: — «Милый боже, если ты есть на свете, помоги мне, помоги! Освободи меня от мук этих, помоги мне, если ты на самом деле существуешь...» Он опустил голову на грудь и губы его шевелились в немой мольбе: милый боже, я буду сильным, я буду хорошим, только помоги мне... .

Опомнился он только, когда стали мерзнуть щиколотки. Вскочив, Эдвард почувствовал стыд за свой sentimentalный порыв. Счистив несколькими движениями снег с брюк, он бодро зашагал вперед, повторяя про себя: я буду сильным, я буду сильным, сильным... .

Но в конце концов эти слова стали злить его, ибо он знал, что его слабость может одолеть любую силу. Приближаясь к Сапнишам, он уже издали увидел освещенное окошко кухни.

— Я ждала тебя, — тихо сказала Лелде, едва только он переступил порог.

Эдвард сдержанно усмехнулся. Лелде помогла ему снять пальто, повесила его на крючок.

— Я вскипячу чаю. Хочешь?

— Сам не знаю, чего я хочу.

Прихлебывали чай они в молчании.

— Как у тебя сегодня были дела? — наконец спросила Лелде.

— Трудно.

Лелде поняла, о чем говорит Эдвард. Но больше она ни о чем не спрашивала. Можно разговаривать на эту тему лишь, если Эдвард сам начнет, в противном случае эти разговоры выводили его из себя.

Лелде положила ладонь на руку мужа, и глаза ее успокаивающе сказали: все будет хорошо...

— Димедрол у нас еще есть?

— Может приберечь его до какого-то другого раза? — ответила Лелде, и ей сразу же захотелось прикусить язык.

— А может, другого раза вообще не будет? — резко, почти злобно, ответил он и в который уж раз подумал: «Значит, она мне все же не верит».

— Ну, дай бог, — ответила Лелде и в большом шкафчике для лекарств нашла таблетку, которая сулила скорый переход к покою.

В краткие минуты бодрствования он еще пробовал уговаривать себя, что надо попросить у Лелде прощения, но это было свыше его сил. И проклиная себя, Эдвард уснул.

II.

Разыскав в шкафу чистую рубашку, он попросил жену отгладить брюки от нового пиджака.

— Все же пойдешь? — переспросила она.

— Естественно.

Ожидая, пока накалится утюг, Лелде маялась без дела, грустно глядя на брюки мужа. «Пиджак потом придется только выкидывать» — грустно подумала она.

— Может лучше одеть старые брюки и коричневую куртку?

— Да ты что? Не могу же идти в гости в домашнем!

— Думаешь, что все там разоденутся как на показ?

— На других мне плевать, я сам должен солидно выглядеть.

— Тебя это не спасет, — еле слышно сказала она и усмехнулась.

— Что?

— Новый пиджак.

— От чего не спасет? — притворился он непонимающим.

— Ты отлично знаешь, о чем я говорю.

— Тогда чего ради ты это делаешь? Мне от этого не лучше, а совсем наоборот!

— Почему ты вечно кричишь на меня?

— Потому, что я нервничаю! — ответил Эдвард и тяжело поднявшись с дивана, опустил голову. — Прости, — выдал он из себя. И долго молчал, пока двумя мячиками в мозгу его перекидывались слова: идти, не идти, идти, не идти...

Лелде присела рядом.

— Может, все же останешься дома? Сходим к вечеру на горку, и ты с Мартой покатаешься на саночках. Увидишь, так будет лучше.

Эдвард помотал головой.

— Неужто Гунтар так уж тебя ждет?

— На именины можно идти так просто... Понимаешь, если я еще год никуда не буду ходить, я растеряю всех друзей. Фактически я их уже и растерял...

— Но это же не друзья, а сабутыльники.

— А откуда мне взять других?

— Не знаю, — Лелде пожала плечами.

— Я еще раз должен попробовать выйти в люди, надо учиться проводить время без этого... Пожалуйста, погладь брюки.

Лелде исполнила его просьбу. Эдвард аккуратно сложил все на стуле: жилетку, рубашку, галстук. Вымылся, тщательно побрился. Надушился одеколоном. Еще никогда он так старательно не готовился к визиту в гости.

Эта мысль Эдварда обрадовала: смотрите, он, бывший алкоголик, идет в гости, бодрый и элегантный, как рояль; не теряя достоинства, он посидит в гостях и в прекрасном победном настроении оставит хмельную

компанию. Это была первая мысль, засевшая у него в голове, и он быстро понял ее детскую несерьезность. И все же — хотелось в нее верить. Он пытался внушить себе: нет, пить не буду, не буду, не буду... Он повторял эти слова так долго, что они потеряли всякий смысл и значение, превратившись всего лишь в какое-то нелепое двухсложное словосочетание. Им стал противоречить какой-то другой голос, который совершенно спокойно нашептывал: выпьешь, еще как выпьешь... И в самых глубинах души копошилась еще одна мысль, которая не раз приходила к нему, — мысль, которую он отталкивал от себя, не в силах принять ее как реальность и не желая, чтобы она властвовала над ним. Она мелькнула еще ночью, по пути домой, и теперь угрожающе обретала все большую весомость: «Если я и выпью, Лелде будет куда больше рада, чем огорчена или расстроена».

Лелде гладила его светлые брюки, и ей хотелось плакать. Она не сомневалась, что на этот раз Эдвард запнется и рухнет — знала совершенно точно еще тогда, когда сам Эдвард колебался.

Перед болезнью много признаков указывают на ее приближение. Последние четыре месяца были почти невыносимы и для Лелде, и для детей, и для самого Эдварда — ему-то было труднее всего. В мгновение ока он мог взорваться и обрушить свой внезапный гнев на того, кто в переполненном автобусе случайно наступил ему на ногу. Если вилка, положенная на обеденный стол, не отличалась чистотой, он орал на жену, а она со смиренным терпением переносила все, зная, что Эдвард, не в силах сдержаться, кричит и на себя; только выливается все на Лелде.

В эти минуты она прикидывала, что отговаривать мужа бесполезно. Единственное, что Лелде хотелось — так это то, чтобы муж оделся в старое, ибо она чувствовала, что в новом пиджаке Эдвард меньше всего будет сидеть за столом, а куда больше валяться в снегу, в грязном тряпье, на пыльном полу, а где еще — этого и сам Эдвард никогда знать не мог.

Он зашел в маленькую комнатку, где днем спала Лаура. Недолго задержавшись там, он погладил плечико ребенка и тихонечко выбрался обратно — это были шаги прощания. Какое-то мгновение он еще поколебался: может, все же не идти?.. И быстро закрыл двери, чтобы больше не терзать себя попусту.

Одевался Эдвард старательно и бодро, но лицо его было по-прежнему мрачно. В сердце своем он давно уже дал себе волю, а вот разум, болван этакий, все еще продолжал сопротивляться. «Успокойся, расслабься» — сказал он себе. И украдкой от Лелде взял сотню. На всякий случай, подумал он. Эдвард уже надевал пальто, но все его движения, даже самые произвольные, выдавали его нервозность и нерешительность. Лелде посмотрела на мужа, и во взгляде ее читалась немая мольба: ну хоть недельку продержишься, чтобы опять не пришлось выкручиваться на работе. Эдвард подумал: «Лелде мне не верит». В это мгновение глаза их встретились, и они в смущении и растерянности, не говоря ни слова, смотрели друг на друга.

Первым не выдержал Эдвард. Подойдя к зеркалу, он надел кепку и с наигранным удовлетворением стал вглядываться в свое отражение. Затем расцеловал жену в обе щеки.

— Во сколько ты будешь? — спросила Лелде, зная, что логичнее было бы спросить: через сколько дней ты будешь?

— Думаю, к полуночи, — нерешительно ответил Эдвард.

Едва только он вышел на большак, душа его снова сбросила с себя все лишнее и он снова стал думать только о своих горестях. Нет, откровенно говоря, он еще ничего не решил. Конечно, он заскочит в магазин, но просто так, чтобы посмотреть. В памяти невольно всплыли глаза Лелде, полные уверенности, и его снова окатила волна гнева.

У него уже почти не было сил. Эдварда охватила жалость к самому себе — жаль было таких трудов. В течение всего этого длинного года он создавал целую систему защиты, как он ее понимал. Ни на час, ни на минуту нельзя было терять бдительности, надо было жить с высоко поднятой головой, держа ушки на макушке: с какой стороны, из-за какого угла нагрянет враг?

Чаще всего он являлся в виде прямого сообщения — как прошлой ночью в машине. Но это было еще не самым сложным. Как безжалостно мутнели его мечты. Особенно в последние месяцы. По ночам он спал беспокойно, потому что видел себя выпившим — и таким счастливым! И просыпался он в самый сладостный момент, когда волна опьянения достигала высшей точки, и ему казалось — все двери открыты перед ним, все возможно для него. Но вместе с утром приходила реальность, безжалостная, как ледяная прорубь; мгновенно протрезвляясь, Эдвард сразу же понимал, что все это были только мечты, и его охватывала звериная злоба. Первая и не покидавшая его мысль была только об одном: выпить, сразу же выпить, пока еще горит душа. Несколькими приходами не давая волю поспешным решениям, приходившим к нему по утрам. Он приучал себя думать о чем-то более приятном, яснее ясного понимая, что нет и никогда не будет ничего приятнее, чем алкоголь. Он соскакивал с постели и отправлялся на пробежку; бежал он не меньше часа, в энергичном темпе, делал разминку, хотя в час ему надо было приступать к работе и заниматься ею до полуночи. Долгое время его спасала лишь физическая усталость.

Но даже мечты не были столь страшны. Самые смертельные раны наносили ему другие. Именно другие, считал Эдвард, а не друзья или знакомые, как он называл их раньше. Другие стали врагами, хотя Эдвард не старался нарочно обострять с ними отношения. Все другие были против него.

Коллеги посмеивались: посмотрим, посмотрим, сколько ты выдержишь. Поначалу эти усмешки лишь укрепляли в нем веру — веру, истоки которой коренились в силе духа: я им докажу! Всему свету докажу! Со временем это упрямство начало мучить его, рождая постоянное напряжение, справляться с которым не помогли даже утренние пробежки, хотя Эдвард старался убедить себя, что на бегу надо думать только о движениях рук и ног. И все же никто из друзей, с которыми Эдвард в давние времена топтался под навесом автобусной остановки, проводил время на озерах, в лесу, на угодьях, в гаражах и квартирах, — никто из них не хлопал его по плечу, не пожимал руку, как воплощенному чуду. Возможно, кое у кого он вызывал зависть: смотрите только, Эдвард смог, а мы не можем. Возможно, в них говорила странное стремление как-то унизить его: надо же, до чего образцовый. Да и Эдвард завидовал старым друзьям-собутельникам, думая, насколько они бывают счастливы, а порой и презирал их: жалкие безхарактерные черви.

Когда после окончания очередного мозгового запоя, Эдвард сказал — все, больше ни разу, он почувствовал, что в нем рождается какое-то высокомерие, и оно мучило его, потому что роль образцового героя была для него чужда и непривычна. Но в то же время высокомерие это было и его щитом. С дурацким чувством, что он якобы выше остальных, Эдвард жил в этой раздвоенности, хотя ему смертельно хотелось проводить время с друзьями, в то же время не притрагиваясь к выпивке. Конечно, он знал, что никто руки ему не протянет и в то же время мечтал хоть раз услышать: молодец, старик.

По пути он прикидывал такую возможность: погощу, выпью пару стаканчиков — и привет. Если будет, куплю хорошего коньяка и буду потихонечку его сосать. Да и в самом деле, почему бы на этот вечер мне не стать сосуном, неторопливым гурманом. Посмотрите, как я прекрасен — в рубашке с галстуком, в новом пиджаке, сию

спокойно и расслаблено и наслаждаюсь дорогим напитком. Может, на этот раз мне в самом деле удастся? Может быть, у меня хватит сил сказать себе то безжалостное слово, которое так сладостно тянет переступить — хватит.

И сразу же память подсказала Эдварду те случаи, когда он, полный таких же мыслей, начинал с виски в кабаке, а кончал зубным элексиром в своей ванной комнате.

И только сейчас он со всей ясностью понял, насколько комичен он будет в своем пиджаке среди вечно ободранных мужиков поселка. Они сидят в невообразимых штанах, в драных свитерах, небритые. «Господи, стыд-то какой? И почему я не послушал Лелде? Нет, все же хорошо, что не послушал ее, новый пиджак будет меня как-то сдерживать. Он станет моими доспехами».

Напряжение росло. Но он еще не был готов решительно растоптать все надежды. Он еще не чувствовал, что потерпел окончательное поражение в борьбе с тем злом, что гнездило в нем.

«Вспомни, как прекрасны те минуты, когда тебе удастся одержать верх над самим собой, какое сладостное удовлетворение приносят тебе эти победы. Но прошлая ночь? Да, я опять преодолел себя, но так ли уж сладок был этот миг? Только злости прибавилось».

Перебирая в памяти дни прошедшего года, он был вынужден признать, что за последние месяцы то мужество, с которым он вступил на этот путь, почти иссякло. «Ладно, я себе уже доказал, что могу не пить. Могу. Значит, теперь могу и выпить». Можно, ты слышишь, старик, — громко сказал он, потому что, произнесенные вслух, эти слова звучали убедительнее. Он уже совсем собрался дать себе отпущение, но все же решил еще помедлить и тщательно все взвесить.

«Значит, пить не буду, — начал он размышлять, — но что я в сущности делаю? Просто не пью. Разве это жизнь? Целый год чувствовать себя, словно спишь на гвоздях — как ни повернись, все равно какой-нибудь гвоздь тебя ткнет. Неужто это и есть жизнь?»

Он шел быстро и целеустремленно — так бодро человек идет лишь к определенной цели. Наконец он поймал тот ритм движения, который успокаивал его.

Сквозь ветви сосен пробивалось солнце, и сам сосновый лес стоял в тишине и покое. И снова Эдвард позавидовал своему лучшему соседу, лесу со всеми его обитателями. «Почему мир не одолевают такие проклятые страсти, как человека? — думал он. — Деревья знают свой ровный путь к небу, и только люди путаются». Господи, сколько раз он жалел, что не родился, скажем, лосем, большим сильным лосем, который доволен своим существованием.

Природа. Последний его островок спасения. Эдвард остановился. В сущности, он заставил себя остановиться и оглядеться. Но что с того? Вокруг был привычный пейзаж — заснеженные холмы, солнце, чистое синее небо. «Ну и слащавость, как на святочной открытке, только зайчика под елочкой не хватает», — презирая самого себя, подумал он.

«Что же у меня остается? Что, к чему я могу прилечь?» — не в силах справиться с волнением; стал он копать в своей памяти. — Есть ведь дети, есть толчки того младенца, который Лелде носит под сердцем. Нет, о доме лучше не думать. Дом я с собой не возьму».

Он перебрал едва ли не все, что составляло его жизнь и не нашел ничего, что могло бы оказаться сильнее его давней страсти. И Эдвард успокоился, ибо теперь-то он логически доказал себе, что выпить обязательно необходимо.

«Я же чувствую, как с каждой минутой растет моя нервозность и знаю только один-единственный путь, как от нее освободиться. Не могу же я, например, сейчас пуститься бежать. Да еще в этом пиджаке! Ха! Значит, совершенно естественно, что не остается ничего другого, как выпить. Хочу я этого или не хочу. И самое главное оправдание — я это заслужил. Это будет наградой. Весь

этот год я был хорошим. Ну, порой не мог справиться с собой, но это можно понять, потому что я не пил. Но в общем остановимся на том, что был хорошим. Исправно ходил на работу, помогал Лелде, часто разносил вместо нее газеты, отводил Марту в школу. Покрыл сарайчик новой крышей, распилил и сложил дрова... Какие еще хорошие дела у меня на счету? Ага, я же заботился о своем здоровье, бегал, занимался гимнастикой, не пил кофе и не курил. И неужели после такого года сплошного воздержания я не заслужил награды? Награды, которая в то же время будет и карой. Ну да, ведь потом постигнет и наказание. И я его совсем не боюсь (хотя именно этой кары я и боюсь больше всего).

Какими стремительными шагами Эдвард рванулся вперед! Впереди виднелась земля обетованная, которая всегда дарила ему ту неповторимую своей широтой гамму ощущений, маясь без которой все эти двенадцать месяцев, душа его высохла, скукожилась, съезжилась так, что он стал неинтересен самому себе. Земля эта сулила ему и нестерпимые муки, физические и душевные; ничего не забывая, он знал это, ибо память его хранила самые ужасающие моменты из прошлого — и все же он шел к этой цели, не в силах противиться ее фантастической притягательности.

Наконец Эдвард мог спокойно отдаться приятному ожиданию, отдаться ему всей душой, ибо его больше не мучили сомнения, не тревожили мысли. «Это самый прекрасный момент, — сказал он сам себе, — все остальное будет ужасно.» И ему показалось, что стоит только набрать в грудь побольше воздуха, и он взлетит — свободный и счастливый.

III.

Рывком Эдвард открыл дверь маленькой лавчонки. Над головами посетителей он взгляделся в сторону винодочного отдела: что сегодня привезли? Водку и коньяк двух сортов.

— Мне вон тот, самый дорогой, Эдит, — бодро сказал он.

— А как с воздержанием, нормой жизни? — поинтересовалась она.

— Раз в сто лет собрался в гости.

— К Гунтару?

— Ага.

Эдит завернула бутылку в зеленоватую бумагу, которую Эдвард, едва выйдя из магазинчика, швырнул в ведро, стоящее у дверей.

Засунув коньяк в карман пальто, он решил прогуляться по лесной тропинке.

«Куда идти на ясную голову? Стыдно. К тому же как идиот натянул эти шмотки, которые столь же глупы, как и мое высокомерие. И совсем уж невозможность станет, когда и другие окажутся правы — долго я не выдержу. Яснее ясного, что не остается ничего другого, как выпить».

Эдвард остановился и нервничая, неловкими пальцами отковырнул крышечку с бутылки. Едва не целиком засунув нос в горлышко, он глубоко вдохнул аромат напитка.

«Что я делаю? Что я делаю?.. Но... уже поздно, бутылка открыта. Куда мне ее теперь девать? В гости же такую не понесешь». Он помедлил. Взгляд его застыл, показалось — остановилось и сердце. «От того, что не пьешь, ты превратился в полного идиота», — вспомнил он в сердцах сказанные слова Гунтара. Эдвард топорливо хватил большой глоток. Хорошо. Ах, хорошо. Вот он, первый хмель, самый сладкий.

Эдвард прислонился к стволу сосны. Ноги увязли в снегу, снег набился в сапоги — ну и что? Что значит охалка снега за голенищами сапог по сравнению с тем шагом, который он сделал? Все старания впустую. До чего удивительно, до чего ужасно — в одно мгнове-

ние пустить на ветер труд целого года. Но другого выхода не было...

Ему захотелось заплакать от своего слабоволия. Жалея самого себя, Эдвард несколько раз с усилием втянул воздух, но слез не было.

«Быстро надо хватануть еще. Так, порядочек. А теперь еще глоток. Надо делать как всегда — основательно нагрузиться, чтобы скорее пропала реальность. Чтобы пропало сожаление, чтобы я не мучил себя упреками, чтобы вообще все пошло к чертовой матери. Ну, соберись, Эди, старый дурак».

Прошло немного времени и половины бутылки как не бывало. Он глотал, не переводя дыхания, пытая и задыхаясь. Затем поудобнее пристроился в развилке ствола. Подняв голову, посмотрел на солнце.

— Солнышко, солнышко, свети, сколько влезет, помочь ты мне все равно не можешь, так что смысла в тебе нет. Никто мне не может помочь, никто. Ясно? И из этого надо исходить, — говорил он сам с собой. — Так, обе ноги промокли, черт побери. Обе вы и виноваты, так что дотащите меня на своих плечах до лавки. Что я тут несу, у ног же нету плеч.

Смотрел он не на ноги, а уставился в небо, словно надеясь в нем что-то увидеть.

— Бог паршивый, что же ты мне не помог, я же тебя вчера просил об этом. Куда ж ты смотрел, болван?

Эдвард поднял бутылку высоко над головой и смерил, сколько в ней еще оставалось. Почти пуста. «Такую же ведь Гунтару не подаришь». Сделав последний глоток, Эдвард доковылял до магазина и купил еще одну. Эдит презрительно усмехнулась. Заметив ее усмешку, Эдвард вспомнил то свое высокомерие, с которым он проходил мимо собутыльников, когда они поддавали в кустах. Одной бутылки коньяка не хватило, чтобы выжечь в нем это ощущение стыда.

Вывалившись из магазина, Эдвард тяжело оперся на штабель деревянных ящиков. «В самом деле, лучше было бы одеть старые штаны». Лелде! — имя, промелькнувшее в мозгу, потрясло его. «Все она заранее предвидела, знала, что я напьюсь. Она хотела этого, значит, она и виновата. Бог свидетель, я этого не хотел». С ума сойти, на кого я похож в этом пиджаке! На начальника общества трезвости. А ведь я бы мог быть начальником общества «Сердце радо и без водки», не так ли? Есть такое общество, я читал. Жутко хотелось бы посмотреть, как они радуются без водки. Ха-ха, без водки только слезы каплют. На кого еще я похож в этом шмотье? На студента-отличника или комсомольского лидера или... какие еще там недоноски есть на свете? Не знаю, единственный недоносок — это я. Какой позор, что за пиджак, какая Лелде стерва, она хотела... нет, нельзя так думать о даме, о детях и чтобы потом не мучиться этими мыслями, их надо забыть. Коньяк — лучшее снотворное и лучший будильник. Он зазвонит попозже, стоит только часы завести. Да что я тут философствую, вот когда совсем дерьмово станет, тогда и будем мучиться. Ну, еще глоточек, уважаемый. Так, отлично — и еще один. Молодец, старина. Что за колоссальный балдеж. Теперь только бы не отключиться. Самое хорошее еще впереди. Ну, вперед, надо идти к Гунтару. Черт побери, ноги скользят. Едрит тебя в палку, эту весну! Пора двигаться, господь бог совсем не думает о нас, алкашах — и без того трудно, а тут еще ноги скользят. Вместо того, чтобы позаботиться о вечном лете для пьющих, он сидит себе и в ус не дует, идиот, вот как запушу в тебя снежком, будешь знать! Бог, я тебе больше не верю, понял, ты? Толку с тебя ни на грош, дерьмо ты последнее. И мне никто не верит».

— Ах небеса вы мои, небеса! — заорал он, и за своим ревом словно бы услышал чей-то голос: глян, Питерника опять тянет на подвиги, вот это великий воздержанец!

«Кто это там говорит. Никого не вижу. Да нет, это

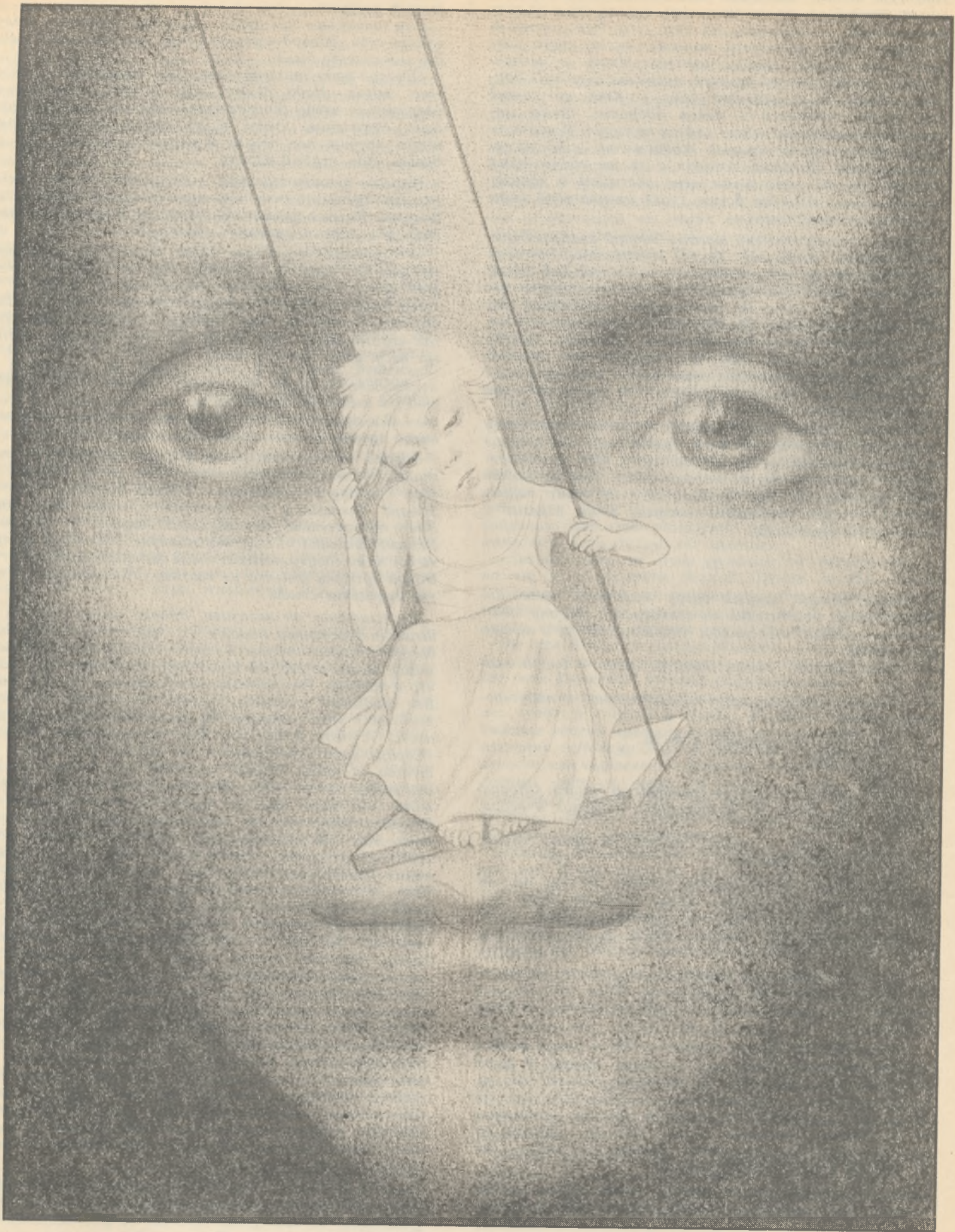


Рисунок АНИТЫ КРЕЙТУСЕ

Гунтаров брательник, сам еле ноги волочит, а туда же нарывається».

Внезапно выяснилось, что он уже рядом с домом Гунтара. «Как это я добрел сюда и ничего не помню?»

У калитки стояли пара тракторов и несколько грузовых машин.

«Опять в рабочее время поддают, гады! Вот черт возьми, так еще не пропил свое высокомерие!»

Вышел улыбающийся Гунтар, Эдвард протянул ему бутылку и гордо сказал заплетающимся языком:

— Видишь, старик, я снова в форме.

Все чуваки в своих замасленных фуфайках уже клевали носами на кухню, и Эдвард ввалился в их компанию чистым клоуном.

IV.

Эдвард услышал голос Язена: а не обмыть ли твой новый костюмчик. И тут же плеснул ему стакан водки. Все заржали, и Эдвард громче всех. Саша обругал Язена, что ты добро на ветер пускаешь, так и не хватит. Язеп отпарировал: для радости по такому случаю мне ничего не жаль, тем более, что у меня еще есть. Достали, поставили на стол. Денег еще хватит, сказал Эдвард, для вас мне ничего не жаль.

Он пил без передыха, не останавливаясь, и теперь он мог все: из-под земли достать, и с неба сдернуть.

Да, пока хватит, сколько там у нас есть? Один полиш, а нас шестеро, что же это такое, суций пустяк, мне самому еле-еле выходит. Надо смотаться в лавочку, неужто уже семь? Не могу рассмотреть, ах, часов ведь нет на руке, где же мои часики? Во время выпивки он всегда снимал часы, потому что опухали руки и металл врезался в кожу. И на этот раз он снял их, и положил их рядом, часы упали и кто-то наступил на них.

А может, это было во время прошлой поддачи? Нет, вроде сейчас. Неужто я их потерял? Он нагнулся, чтобы посмотреть. Эдвард, ты такой большой, тяжелый, смотри не брякнишь. Все радостно загоготали. Язеп и Рейнис подхватили его подмышки и опять водрузили на табуретку. До чего приятно чувствовать поддержку друзей, которой был лишен целый год, когда она была мне так необходима. Вот сейчас сам свалюсь и сам встану. И наклюкаюсь, обязательно наклюкаюсь. До чего хорошо среди своих, хорошо-то, это да, но все же где часики? На полу лежат, стеклышко разбито, сам своей ногой раздавил их, сам своими руками уничтожил все, все хорошие замыслы, как только водка мочой пошла, и часики я уничтожил, да и пошли бы они, эти часики, честно говоря, этого не заслужил, но из кабака никто не выходит не обобранным, жуютничают там все. Какое мне дело до других, у меня двое детей, будет и третий, детям есть надо, а мне пить. Йохайды, что это за мысли здесь под столом, а, вот оно, почему так темно, опять я нажрался. Где ваши товарищеские руки, друзья, где вы сами, о, и вы под столом, никак это ноги Рейниса у меня под носом, вот свинья. Надо встать, надо плюнуть на все и надо пить дальше до беспамятства. Где мой стакан? Почему так мало в бутылки осталось? Неужто уже семь? Ах да, часикам хана, что за дерьмо это праздничное чувство, когда все в лихорадке вылетает у тебя из головы, целый год я ждал этой единственной минуты — как она сладка... Что? Что ты сказал, Гунча? Все выпито? Сколько выпито?

Эдвард посмотрел в угол у плиты, где ряды за рядами стояли водочные бутылки. И среди них бутылка из-под коньяка выделялась так же, как и он в своем пиджаке среди всех мужиков. Все это проклятое высокомерие! Сколько же это еще надо выпить, чтобы как следует ударило в башку: я теперь такой же, совершенно такой же. Другие! Ха, других нет. Мы все едины — алкаши. Сколько там в углу пустой посуды? Целый квадратный метр. Неужто мы все это в себя влили?

Не может быть. Ну да, они же так каждый день поддают. Снова!

Что ты говоришь, Гунтар? Снова надо идти? Мне? Почему мне? Сегодня твой праздник, а не мой. Провалиться бы тебе. Потом можешь провалиться, сказал Гунтар и сунул одну фиолетовую — бери две белых и не дури этим коньяком. Угомонись, у меня есть деньги, отпихнул Эдвард руку приятеля. Еще чего, ухмыльнулся Гунтар, словно я бедный лимонадник перед богатым обером.

Эдвард собрался и пошел, магазин уже был закрыт, он стал колотить в заднюю дверь, со стороны двора. Эдит увидела его в щелку, мы смену сдаем. Я тебе эту смену начинаю, так что не выкобенивайся, давай два белых полиша и «сдачи не надо», сказал он по-русски, Эдит буркнула что-то непонятное и исчезла. Где она копается? Стоять уж нет мочи. Ага, вот она. Как мне их в карманы засунуть? Эдит помогла, одну с этого бока, другую — в другой карман, и еще одна бутылка. Бери третью и больше не являйся, деньги принесешь мне домой, добавила она. Третью бутылку он сжимал в руках, повторяя: ближе к сердцу, не споткнись, скользко. Эдит даже помогла ему сползти по горочке. Хороший ты человек, спасибо тебе, старая потаскуха. Теперь-то все вы хорошие, где вы раньше были?

Все шло как нельзя лучше; покачиваясь, Эдвард надежно сохранял равновесие, бутылки надежно торчали в карманах, а третью он прижимал к сердцу — беречь ее как зеницу ока. Ее надо оставить на утро.

Всех вместе с Эдвардом еще раз охватило бурное веселье. Все прекрасно, и думать не о чем. Он стянул пиджак, сорвал галстук, и почувствовал себя лучше. О чем они все говорят? Ничего не разобрать. О чем мы говорим. Свой голос я слышу, но слов не разбираю.

Это что за баба там в дверях кухни? Призрак? Неужто Лелде пришла за мной? Она этого никогда не делала. Что за наваждение, едрит твою палку? Моя пришла, пробурчал Язеп. Все будет оки-доки, старуха, иди дрыхнуть. Там же и дочка Язена. Выросла, сучка: есть на что посмотреть, красивая, вообразил Эдвард. Что за нескладуха, почему на нашей вечеринке нет дам? Это Язеп их притащил. Спасательная служба верна себе. Разве не так? Не пора ли баньки? И крылышки что-то больше не трепещут.

Пришел он в себя, когда они с Сашей уже тряслись в машине. Куда мы гоним? И что это за чужая мырма за рулем? Мырма притормозила. Вылезать? Зачем? Так это же наш кабак. Мы же вроде за полшем сюда рулили. Так ведь еще нет полночи. В кабаке светло и музыка грохочет. Аж мороз по коже дерет. Где мой пиджак? Вот получу воспаление легких и скончаюсь. Ну и пусть, все равно подыхать. Но сначала надо выпить. Через зал они направляются к бармену. Зане, сердечко мое, как я тебе нравлюсь? Я же тебе всегда нравился? Ты мне тоже, дай поллитра. Эдвард осмотрелся. О, как тут и дамы, Саша, ты посмотри на тех двоих, чтобы мне провалиться. Видно, что те еще вишенки. Привет, девочки! Как вас зовут? Лайла? Ах, ты моя дилалайла, очень приятно, будем знакомы — Эдвард Питерниек, пятьдесят шестого года рождения, беспартийный, что вас еще интересует? А, вас интересует моя выпивка? Знаете, и меня тоже. Как хорошо, когда люди понимают друг друга. Знаете, все дерьмо в жизни получается от того, что люди не понимают друг друга. Ну, чао! За вас, девочки! До чего ты красива, Лайла, настоящая латышская девушка, стоит ли так напиваться?

Прижавшись друг к другу, они двигались в медленном танце. Я тебя хочу, пробормотал Эдвард. Я тебя тоже, прошептала она в ответ. Шлюха этакая, подумал Эдвард. Оба они уже не танцевали, а снова наполняли стаканы. Где Саша? Уже подмыл со своей дамой?

Занит, лапушка, еще одну. Он засунул бутылку в сумочку Лайлы, и внезапно выяснилось, что они уже голо-

суют на дороге. Здесь она и остановится, сказала Лайла.

Они сидели на теплой кухне. У меня есть ликер, сказала девушка. Они пили, то глядя друг на друга, то отводя взор. И сразу темнота, оба они в сырой, не прогретой постели. Нет, сказала Лайла и вдруг стала ломаться. Это нас сближает еще больше, лениво пробурчал Эдвард и старательно принялся за дело. Затем он тяжело отвалился на подушку, лицом вниз. Так и задохнуться можно, пришло ему в голову, и он нехотя повернулся на бок. Лайла прижалась к нему. Чего это она?

Сколько времени? Часы остались у Гунтара под столом. Опустив руку, он пошарил по полу. Внутри все криком кричало — ликера! Вот он где. Так, сразу лучше стало. Часики у девушки показывали шесть часов. А где мои? Бог их знает. Эдвард тихонок поднялся, аккуратно оделся. Где пальто, где пиджак? Неужто в кабаке оставил? Опять пробил озноб, холодные капли пота. Где мой любимый пиджачок? Он открыл дверь в сени, увидел серый ватник, натянул его, сунул в карман свои поллитра и, стараясь производить как можно меньше шума, вылез в окно.

Что это вообще за место? Он растерянно огляделся. Плевать, главное, что поли в кармане. С ума сойти, что я отколол? Неужто ты проснулась, совесть моя? Немедля надо глотнуть, чтобы забыть все вчерашнее. Что это за девка была? Что это меня спяню на секс потянуло? Вечно какие-то номера случаются. Скорее надо шары залить, чтобы ни о чем не думать.

У первого же прохожего он спросил, в какой стороне Пиртниеки. Проголосовал машине. Да, но куда же деваться в раннее воскресное утро? Ватник теплый, так что, может, прикорнуть на скамеечке у автобусной остановки? Лучше пойду к Гунтару, обложу его как следует. Он во всем виноват. Не будь его дня рождения, не завелся бы.

Пришел за своим пиджаком, сказал он жене Гунтара. А не могу ли я тут у вас немного переспать? Чума на вас всех, заорала она. Первым делом Эдвард еще выпил, затем скинул ботинки и рухнул на постель. Всклинув в тепле несколько раз, как ребенок, он захрапел. Пару часов сна — и душа успокоится. Как только откроются глаза, сразу же надо выпить, захмелится, забудется, лучше всего навсегда. Умереть бы мне, умереть. Как бы забыться? Надо у жены Гунтара попросить снотворного. Как ее зовут? Лайла? Та самая Лайла? Не может быть, жены у нас порядочные. Он с трудом поднялся на ноги, нацупал дверную ручку. Лайла его заперла. Эдвард стал колотить кулаками в дверь, но она отозвалась: подожди, я ребенка кормлю. Когда Лайла пришла, Эдвард спросил: нет ли у тебя димедрола? У меня нет, может у матери Гунтара есть. Он ввалился в бабушкину комнату. Мамочка, у тебя есть снотворное? Для пьяниц у меня ничего нет! Ну пожалуйста, мамулечка, он поцеловал старухе руку, встал перед ней на колени. Ах ты, пройдоха этакий, стыда у тебя нет, как ловко из кожи лезет. Да стыдно мне, мамочка, ужасно стыдно. Бабушка одела очки и стала рыться в ящичке: вот, только клофелин, это от давления. Давай сюда, отлично. Она протянула ему таблетку. Нет, одна не возьмет, дай штук пять.

Маясь в полусне, Эдвард храпел, было уже далеко за полдень. Он опустошил оставшуюся в бутылке водку и стал обшаривать карманы. Йохайды, ни рубля не осталось. Так ведь башка прямо раскалывается! Лайла, одолжи мне. Лайла знает, что Эдвард всегда отдает. Бери свой пиджак и пальто и больше тут не показывайся, ясно? Ни на минуту от вас покоя нет. Пусть пиджак пока останется у тебя, я могу его потерять, на и колечко тоже, он снял обручальное кольцо.

Дом Карлиса, где тот гнал самогон, был ближе, чем магазин. Привет, привет, сказал Карлис, когда зашел Эдвард. Плесни-ка банку и поскорее, вот деньги. Поддавать с Карлисом скучно, он любит пить только у себя

дома и к тому же мрачно философствовать. Эдвард завернул поллитровую банку и побрел в сторону шоссе. На какое-то мгновени промелькнула мысль о доме. Но — в два дня он никогда не укладывался. Нечего и рассуждать, для чего сегодня надо выпить — чтобы смыть всю вчерашнюю муть. А завтра выпью, чтобы забыть сегодняшний день.

Он остановил машину и двинулся в Эли к Раймонду. Да, Раймис на месте, куда ему деться. В гараже. Места тут хватает, и полно народу. Эдварда встретили как героя. Он был счастлив, увидев, как искренне ему все рады. Конечно, потому что он пришел не с пустыми руками. Эдвард хватил старки и почувствовал себя как нельзя лучше. Появилось чувство, что он может все, он стал богом и властелином, сам себе и начальник и слуга, раб и владыка, и это было одновременно и прекрасно и ужасно. Внезапно кино кончилось, и Эдвард пришел в себя при утреннем свете.

В другом углу гаража и Раймонд и все остальные вповалку спали на старых грязных мешках. До чего омерзительно. Хотелось вымыться. Но прежде — выпить. Он направился в квартиру Раймонда. Шарить пришлось всюду — в кухонных шкафиках, в баре, в секции, в комодке, нигде ни капли. Наконец заметил маленькую бутылочку рядом с магнитофоном. Спирт, безошибочно определил он. Тот меновенно исчез в пересохшей глотке. Сейчас пойду под душ, и все будет в норме. Неплохо было и зубы почистить, прикинул он, заметив на полочке зубные щетки. Взял одну, выдавил пасту, наклонился над ванной, но тюбик выскльзнул из рук и он остался в такой позе — согнувшись, опираясь на край ванны. Дикой болью укололо в сердце; левая рука онемела до кончиков пальцев. Наверно, предынфарктное состояние, подумал он, чувствуя как бегут струйки пота по телу. Только бы не было инсульта, только бы все случилось легко, сразу. Он закрыл глаза в ожидании. Боль не проходила. Смерть задерживалась. Рот пересох, стоило перевести дыхание, как боль усиливалась. «Райми!» — попытался он громко крикнуть, но услышал только слабый шепот. Раймонд уже шел к нему. В чем дело, старик? Сердце, выдохнул Эдвард. Сейчас достану валидол. Раймонд протянул таблетку и сказал: садись тут же, на унитаэ. Не могу, сказал Эдвард, боюсь двигаться. Пройдет, старик, от этого не умирают. Именно от этого и умирают, прошелестел Эдвард. Лекарство подействовало. Все же сполоснуться он не осмелился от страха, не рискнул ни на что, поддерживаемый другом, добрался до комнаты. Эдварду было холодно, била дрожь, зуб на зуб не попадал. Раймонд его укутал в теплое.

После обеда он пришел с работы и разбудил Эдварда. «Ты мне привез что-нибудь? — таков был первый вопрос. В самом деле хочешь концы отдать — с удивлением спросил Раймонд. Мне горячего надо, понимаешь, иначе я не смогу завязать, еще раз приложусь и тогда начну отходить, давай сюда, не жмись, не будь мусором. Эдвард выглотал большую часть из бутылки бальзама. К вечеру он разбудил мать Раймонда, которая заорала: нашел себе логово! Чтобы сейчас же дом был чист!

С помощью матери Раймонд выволок Эдварда как мешок картошки и затащил в машину.

V.

Они волокли Эдварда по земле, как утопленника, и, перетащив через порог, осторожно уложили его на пол. С минуту передохнув, дотащили его до постели.

— У тебя есть что-нибудь от сердца? — спросил Раймонд.

— Ему было плохо? — встрепенулась Лелде.

Раймонд утвердительно кивнул и, простившись, вышел. Эдвард по-прежнему не приходил в себя. Лелде осмотрела его: часов и кольца нет, ботинки обуты прямо на голые ноги, носков не было, отсутствовал галстук,

на светло-голубой рубашке — ватник с оторванным рукавом. Лелде смочила полотенце, протерла лицо и шею Эдварда. Щеки его заросли густой щетиной, волосы слиплись в жирный колтун, и невыносимый запах шел не только изо рта, но и от всего тела.

Лелде медленно вышла из комнаты. Стоя на пороге, она глубокими глотками пила свежий воздух.

За это время Марта уже много что успела сделать: засунула сестренку в манежик, чтобы та не путалась под ногами, стянула с отца обувь и сейчас дергала его за плечи, пытаясь снять рубашку.

— Дай-ка мне, ты же с ним не справишься, — сказала Лелде и сама принялась за дело.

Марта поспешила на кухню, водрузила на плиту большой котел и кружку за кружкой наполнила его водой. Поставила кипятиться чайник.

Умелыми, сильными, отработанными движениями Лелде раздевала мужа. Тепло укутала его и шепнула: спи, горе мое. Но Эдвард по-прежнему не приходил в себя.

Марта затолкала в воду все одежду отца, только новые брюки остались лежать на полу кухни.

— Их даже в химчистку стыдно отдавать, — тихо сказала Лелде.

— Я отвезу! — отозвалась дочка.

Лелде засмеялась и погладила ребенка по головке. Она видела, как умело управлялась дочка: заварила в чайнике ромашковый чай, залила его кипятком, сняла с полки банку меда и большую отцовскую кружку.

«Чай ему еще не нужен, сегодня ночью только водки просить будет», — наученная опытом, прикинула Лелде, — как удачно, что я ее купила. Может, надо было две взять?»

Она уложила на ночь младшую дочку, посидела у ее постельки, посидела рядом с Эдвардом и наконец сказала Марте:

— Тебе тоже пора спать.

— Я еще хочу чем-нибудь тебе помочь.

— Все. Больше ничего не надо помогать. На часах уже десять.

Оставшись одна, Лелде почувствовала огромную усталость. Присев, она положила голову на руки.

Тишина. Только Марта еще ворочается в кровати и Эдвард стонет во сне. Покой. Все дома. Хороший вечер. И ночь будет хорошая. Скоро Эдвард проснется, попросит выпить, она торопливо нальет ему, Эдвард жадно вылакает все, начнет стонать, плакать, просить прощения, влажными пальцами вцепившись ей в руку, просить снотворного, провалится в сон, чтобы через час снова позвать жену, и до рассвета Лелде не будет покоя, не придет он — будет трудно, она знала это, знала наизусть, как филем, который смотрела сотни раз, но — ждала этот ритуал с трепещущим сердцем, как девушка первого свиданья.

В эти тяжелые часы она была больше всего нужна Эдварду, и сознание, что она может помочь ему одним своим присутствием, наполняли Лелде своеобразным чувством счастья.

Она выпила чай, который Марта приготовила отцу и стала думать о старшей дочери. Она вспомнила, как спокойно была Марта, как уверенно помогала, как продуманно и ловко она действовала, не испытывая ни страха ни отвращения к отцу. На детском личике не отражались ни страдание, ни смущение. Словно все, что случилось в этот вечер, было столь же обычными семейными буднями, как готовка матери у плиты.

Лелде встревожили эти воспоминания. «Наверно, я неправильно ее воспитываю. Наверно, в те дни, когда Эдвард валялся пьяным, надо врать ребенку, что папа заболел, что у папы болит головка. Как делают многие женщины, как делала моя мама. Но ведь все равно этого надолго не скроешь. Марта вырастает и сама все поймет, так же, как я поняла задолго до того, как мать об этом догадалась. Зачем она мне врала?»

(Продолжение следует)

АНДРА НЕЙБУРГА

СВЕТИЛО СОЛНЦЕ

РАССКАЗ

Иду домой. Бреду Задвиньем и вот как странно: на глазах исчезает уютный скверик, на месте новых безликих домов снова обшарпанная будка из досок, дворы окружают высокие, давным-давно снесенные заборы, безлюдно и тихо стало на улицах. И вот я у Агенскалинского рынка, а здесь начало шестидесятых, разгар лета. Здесь, именно здесь я когда-то жила.

У рынка, спрятав голову в мешок с овсом, стоит запряженная в телегу лошадь, в рыбном отделе свободно покупай красную икру. Я проталкиваюсь сквозь длиннющую очередь за мукой, застреваю у киоска с булочками и самым замечательным какао в мире в стаканах, липких от сладости. Высоко, под застекленным потолком, летают голуби; драчливые, задиристые воробьи суетятся внизу. Грохот, гомон, запахи.

Прохожу цветочный базарчик, пересекаю улицу, миную Вовкин двор, вот Садик, а в нем ни травинки, только поблескивают в кустах груды пузырьков из-под «Березовой

воды», еще пара шагов, волнение, радость, и — вот я дома.

Это самый что ни на есть заурядный доходный дом — четыре этажа, каменные стены, небольшие окна, желтый, облупившийся фасад. С трудом открываю тяжелые парадные двери детскими руками, режущий жалобой скрип, я протискиваюсь внутрь, пружина пугающим выстрелом захлопывает дверь — трах!

После уличного шума и яркого солнечного света меня обволакивают темнота и тишина. Обычная сырость нашей лестницы. Даже в самые знойные летние дни, когда красная громада Агенскалинского рынка пышет жаром, словно перетопленная печь, когда рыночная площадь потрескивает раскаленной сковородкой, входящего сюда встречает прохлада. Пахнет подвалом, кошками, блинами и жареным луком, квартирными запахами.

Я поднимаюсь по ступенькам, стертым ногами многих людей, кладу руку на перила и тут же вздрагиваю:

— Не цепляйся за поручни! — слышу я голос Ма-
мы. — Кто только за них не хватался!

Мама со мной нет, но я послушна. Что бы ни окружало
меня — новые районы, величественные дома центра,
клубы, театры, больницы, вокзалы, школы, рестораны,
дачи — везде меня сопровождает сотни раз слышанное,
повторяемое — не цепляйся за поручни! Я смиренно от-
дергиваю руку и украдкой лезу за носовым платком.

Я поднимаюсь наверх.

А мне навстречу култыхает Чижик, инвалид. Мы, дети,
боимся его. Ободранный, грязный, с зобом, заросшим
синеватой щетиной, распространяющий вокруг себя от-
вратное зловоние, он кажется нам воплощенным исча-
дием ада. Вечерними сумерками, когда мы, приткнувшись
меж двух сарайчиков, повествуем друг другу о Золото-
ножке, о жутком Красном Плаще, о Черном рояле, Инта
уверяет нас, что Чижик не кто иной, как сам Кашей-бес-
смертный. Кто знает! И все же, наперекор страху, а, мо-
жет, как раз из-за него, нас так влечет, слышав знакомый
стук деревянной ноги, встретить старика, шагнуть ему
навстречу и поздороваться, вежливо приседая.

— Добрый день! — чист и звонок детский голосок,
а лестница вторит ему гулким эхом.

— Добрый день, очаровашка, здравствуй, ландыш мой
прекрасный! — звучит нам в ответ все то же. Чижик пря-
мо-таки выпевает приветствие на своем странном наречии,
на сморщенном лице — ехидная ухмылка, вскидывает в
причудливом поклоне свои костыли, словно черные
крылья.

Это знак — пора удирать!

Во всю прыть — на улицу, во двор, на солнце! А там,
наконец, переведа дух, упиваясь собственным героизмом,
можно с удалью грянуть:

Чижик-пыжик, где ты был!

На Фонтанке водку пил!

Сказ таков: Чижик для нас — целое приключение.

Поднимаюсь выше, показалось окно в коридоре, зате-
ненное раскидистой липой, растущей во дворе. На цемент-
ном полу и стенах прыгают солнечные зайчики. Сквозь
них гигантской рыбиной с выпученными глазами и огром-
ным ртом плывет госпожа Альтберг. Как роскошный плав-
ник, перо попугая на шляпе, на руках, ошетилившись и
скорчив морду в извечной гримасе презренья и недоволь-
ства, восседает Феликс. Госпожа Альтберг работала некогда
в цирке кассиршей, муж ее был знаменитый силач — ах,
какими чугунными гириями жонглировал он на зависть
взрослым, на радость детям! Ныне вместе с ней лишь
старый, чахоточный обезьяна. У Феликса скверный
нрав, в присутствии хозяйки ведет себя прилично, но,
когда мы резвимся во дворе, он, томясь на своем подокон-
нике второго этажа, выставляет нам зад, а будучи совсем
не в духе, старается написать кому-нибудь из нас на го-
лову. Фи! Госпожа Альтберг в таких случаях плачет и бра-
нится, кидая нам в окно «Золотой ключик».

Давно, давно они вдвоем почивают на кладбище Мар-
тина, мечтая, возможно, о далекой Африке, где все обезья-
нки благоденствуют.

Шурша и шаркая, как старая швабра, по ступеням
слетает Мирдзочка. Пожелтела, высохла, не сегодня-
завтра развалится, но все вокруг дивятся — до чего шустро
она перемещается. А помолчать Мирдзочка не может
ни минуты.

— На то, слава те Господи, и рот у человека, — тарато-
рит она, и — цап! — любого встреченного малыша за пуго-
вицу, а ну, отвечай на тысячи вопросов — как мама, что
папа, не пьян ли снова дядя Криш, что вчера за гости были,
где покупает бабушка картошку — у частников или у госу-
дарства? Откуда мне знать, ничего не знаю.

— Ох, эти спекулянты, они нас по миру пустят! — пла-
чется Мирдзочка.

Мне скучно, терпение того и гляди лопнет, во дворе
полным ходом играют в «казаки-разбойники», а Мирдзочка
все стрекочет, трещит без умолку... А я, увы, хорошо
воспитана.

Изредка столкнешься на лестнице с отцом Янки. Ни-
когда он не отвечает на наши приветствия, очень угрюмый,
не от мира сего. Не узнавая, не признавая, взглянет —
и дальше. На нем черное длинное пальто, восьмиугольная
кепка с козырьком. И разве что темные, тусклые глаза,
а вот лицо припомнить не могу. Однажды в квартире у
Янки случилось нечто из рук вон, взрослые обсуждали
событие шепотом, только и уловила, мол, отец Янки попал
в милицию, сам Янка в больнице, никто не ведает, когда
вернется.

— Вот тебе раз, — ворчливо пыхтит Бабушка со сле-
зами на глазах, шмыгая мокрым и вспухшим вздернутым
носом. — Я ж ей говорила, ведь говорила...

Никогда мы больше Янку не увидим.

А вон спускается папаша Толика! Трам-тарарам! Трам-
тарарам! Он офицер. Подтянут, строен, всегда приветлив
и улыбчив.

— В армии, в полиции и на почте все такие, бравые, —
говорит Бабушка. Известное дело, ее первый муж был
царский офицер, второй служил почтмейстером. В Ба-
бушке живет гимназический восторг тех времен перед
формой и блестящими пуговицами.

Папаша папашей, а сын его Толик — наглый пацан, од-
нажды во дворе он обозвал меня фашистской свиньей.
Я смолчала и распустила нюни, зато ответ, не мудрствуя,
нашел букстановский Ингус. Во дворе созрел крупно-
масштабный политический конфликт, двор немедленно
раскололся на два враждебных лагеря. Ребята постарше,
распаясь от злости, взлохмаченные и раскрасневшиеся,
полезли драться, мелюзга мешалась под ногами, не сооб-
ражая, что происходит, девчонки повизгивали в сторонке.
Пыль столбом, дым коромыслом до самой крыши, у ребят
чумазые рожицы — пот да слезы перемешались с серой
землей двора...

Девчонки, как водится, все донесли взрослым, дошло и
до папаша Толика. Толик не появился во дворе три дня,
зато потом вел себя вполне сносно. Вскоре досадный
инцидент был забыт.

Легко и бесшумно по лестнице поднимается, нет, взмы-
вает, Балерина. Нас, малышню, она вообще не замечает,
величаво шествует, задрал нос, спина что доска, носочки
вытянуты.

— Не сутулься, посмотри на Балерину, — то и дело на-
поминает Мама. Я стараюсь спрятать свои острые лопатки,
а они, хоть ты тресни, топорчатся, как цыплячи кры-
лышки, будто вознамерились проткнуть старенькое бума-
зейное платьишко.

Чего уж там, нам тоже нравится Балерина. Сидит она,
бывало, на подоконнике и поет, перебирая струны на-
строенной гитары. Мы, осмелев, подпеваем ей, беззвучно
шевелия губами, запоминая мотив и слова, а назавтра во
дворе на всю катушку грянет:

— Дунай, Дунай, а ну, узнай... — или же, — где-то на
белом свете, там, где всегда мороз... — Но больше
всея я обожаю вот что:

Крутится, вертится шар голубой...

Весь вечер напролет я распеваю дома, сама пою, сама
танцую, но не выдерживает Папа:

— Прекрати, наконец, выть! — в сердцах крикнет он,
хлопнув дверь мою комнату, и — кончен бал. Ему не
по душе, должно быть, эта песня.

Да, Балерина. Вообще-то она нам нравится, все меч-
тают походить на нее. Но как снесешь подобное зазнай-
ство! И время от времени можно видеть, как следом за
Балериной, деревянно выпрямившись, шутовски вытя-
нувшись и ужасно кривляясь, гуськом, на цыпочках, тор-
жественно семенят трое-четверо гадких утят в сползших
хлопчатобумажных чулках. Балерина не сразу замечает
нас, потом, как бы почуяв недоброе, резко обернется,
сверкнет красивыми, накрашенными глазами и прошипит:
— Брысь, замухрышки!

А маменька у Балерины — просто прелесть! Колет
обычно дрова для плиты, присядет перевести дух, и если
уж какой малыш снует под боком, ласково и складно
поговорит с ним, прямо как со взрослым.

А в двух квартирах нашего дома всегда полно народу. В одной живут уже упомянутые Букстаны. Живут они, правда, впятером — Букстан, его жена Ольга, Ингус, уже большой мальчишка, и две сопливые девчонки — Алма и Элина, но все равно — проходной двор, как есть, народ толчется день и ночь. Громогласные тетки — платья в обтяжку, ярко намалеванные губы, и бодрящиеся дяденьки в жеваных, запорошенных перхотью пиджаках. Все они пахли гадко и одинаково. Поднимается такой дяденька по лестнице, так час спустя еще вдыхаешь его ароматы... Встречая этих людишек, мы норовили отскочить в сторонку. Мама велела приветствовать всех встреченных на лестнице, так ведь поди пойми, что ты от такого встречного услышишь в ответ на свое «здравствуй».

У Букстанов обычно страшный кавардак — поют, смеются, гомонят, бранятся осипшими до хрипоты голосами. Случается, просыпаясь, вижу с утра поставленную в большой комнате раскладушку, «бричку», как мы ее называем. Моментально догадываюсь, — Мама ночью забрала у Букстанов их карапузов.

— Хватили лишку, черт-те что устроили, — ворчит Бабушка, — в два часа ночи сидят на ступеньках замерзшие девки и хнычут.

Все это кажется ужасно романтичным, мне ни за какие коврижки не позволят так долго не спать. Я не могу простить Маме, что она не будит меня в таких случаях.

А Ингус гордый, к нам никогда не заходит, сестренки забирает ни свет, ни заря, не дав им даже позавтракать с нами.

— Мальчишка неплохой, — вставит Бабушка, — только мозги набекрень. И шибко вспылчив, ой, добром не кончит...

Во второй квартире живут Клявниеки. Вот где народу — тьма! Бабушка говорит — пять поколений, это ж стыд и срам, когда все друг у друга болтаются под ногами, еще и прабабку Господь к себе не забирает. Что за стыд! Кому срам! Не понимаю. Зато — весело! Шурум-бурум, хиханьки да хаханьки, шутки без конца. Младенец Маменьки орет, старшая Мама, возясь у плиты, тянет свои божьи песни, бабка надрыдается, мол, с нее, наконец-то, достаточно, по горло, пора кончать с этим старым придурком! Но все не всерьез, а бестолковый старик знает себе наярявает посреди кухни во весь дух на гармонике, от души отбивая ногою такт, а четверо мал мала меньше Клявниеков и толпа чужой шантрапы, распевая, водят хоровод, и что-то непрестанно бухтит в своем углу почти неприметная прабабка, как будто не видит, не слышит ничего вокруг. Еще Жанис — он учится на инженера — тоже этаким тихий дяденька. Когда ему совсем невтерпех в комнате, он берет свою книжку, отправляясь зубрить в коридор или уборную. Там тихо и светло. Но однажды дворничиха устроила скандал:

— Ишь, умники сыскались, — орала она, — торчат здесь часами со своими книжками, а что за книги, что там написано, никто не знает! Расселись, электричество транжирият, а оно в уборной — государственное!

Жанис смеется. Нечего ржать! Вот пожалуется, будешь знать, кто смеется последний.

Вряд ли Жанис ее боялся или принимал всерьез, к тому же, он вскоре перешел в общежитие.

К этому времени и Маменька утихомирилась. Давно ли вместе с нами носилась, ей ведь всего шестнадцать, теперь не до беготни, хлопот — полон рот, малыш у нее. Вид у нее чаще всего весьма невеселый.

— А где же у Маменьки муж! — интересуюсь дома.

— Муж — объелся груш, — бурчит Бабушка, — таких мужей...

Мама прерывает ее:

— У Маменьки муж в армии. Служит, — сообщает она, а что мне эти объяснения. Зачем! Служит — так служит, мне-то что за печаль!

Муж большой Мамы тоже не живет у Клявниеков. Он является раз в месяц, весь такой солидный, опрятный и душистый, котиковая шапка зимой, соломенная — летом.

Приносит торт, печенье, конфеты, новую игрушку малышам, цветок Маменьке. Вдобавок еще конвертик. Сама, правда, не видела, но знаю точно, из разговоров. Мелюзга в восторге от его визитов, но большая Мама и ухом не поведет, только громче поет свои странные песни, гремя в сердцах кастрюлями и сковородками. Дед поначалу вроде как сердился, скорее, для порядка, зная прекрасно — из лоснящегося кожаного портфеля извлечена будет бутылка сладенького пунша, которая увенчает все предыдущие благодеяния. Тогда и Дед нисходит от радушия:

— Мать, вари кофий, вишь, человек пришел, вишь, и поговорить можно.

Да, славно у Клявниеков. Я охотно жила бы у них дни напролет, но Мама запрещает: меня там только не хватает, — бранится она, — в этих двух комнатенках.

Иногда Мама сзывает всех клявниековских ребятишек к нам обедать, тогда и у нас, почти как у них, царит веселье!

Уживаюсь я со всей нашей ребятней, но самая моя подружка — Наташа. Играя с ней, я сызмала научилась лопотать по-русски, взрослые радуются — у меня светлая голова. Голова-головой, но другого выхода у меня просто нет. Наташа по-латышски, ну, напрочь ни в зуб ногой.

Наташа живет рядом со мной, в ее квартире тьма удивительных вещей. Полки, полочки, комоды и тумбочки застелены красивыми вышитыми и кружевными салфеточками, на салфеточках восседают зверюшки. Пушистые кошечки, красно-коричневое семейство косуль, зайчики и собачки, слоники и шишечные мужички — жаль, с ними играть не дозволено. А кровати! Ну, прям тебе громадные сугробы — с десяток подушек возлежат одна на другой, ажурная накидка сверху, все лучится, сияет неописуемой белизной. А вот сидеть на кроватях, как дома, нельзя. На стеле у одной кровати вышитый коврик. На нем изображена здоровая, розовощекая красавица, держащая за руку столь же румяного молодца, за ними синее озеро и белоснежные лебеди, а еще дальше — дворец златоглавый. Мы с Наташей, играя, ссоримся, кому быть девицей с ковра, а кому ее стройным кавалером.

Одна печаль, — чтобы попасть в квартиру Наташи, в это сказочное царство, надо пройти узким коридором, где у них круглый год стоят два бочонка — соленые огурцы в одном, грибы в другом. Мне мерещится их жуткий смрад, мурашки по спине, случись мне в темноте нечаянно наткнуться на склизкие стенки бочонков.

Еще на нашем этаже живет Горбунья. О ней, я слышу, говорят, мол, «совсем молодая женщина», «бедный человек» и «детский паралич». А мне она не кажется ни молодой, ни бедной, скорее, старой и страшной, похожей на ведьму. Единственного сына почем зря она дубасит в коридоре, наполняя своими воплями дом.

В конце коридора, от дверей Горбуньи, мне нужно повернуть направо. Тьма в узком ответвлении сгущается еще сильнее, приближается самое опасное место на лестнице, которое миную, что ни день по десять раз, и столько же раз сжимается от страха девчоночье сердечко. Да, это здесь, в маленьком, темном, узком коридорчике с дверями в уборные... И ты не ведаешь, кто там таится и, знай себе, ждет, чтобы схватить в охапку, затащить неведомо куда и затем... Да мало ли что! Мы тоже слышаны о перемолотых в жутких подземельях маленьких детишках. И единственно по найденному в котлете ноготку родители прознали об участии своего сокровища, честное слово!

Бегом, бегом мимо страшного места, сердце вот-вот выпрыгнет, на шее шарахается ключ, повешенный на синий сутажный шнурок, в темноте от волнения невозможно найти замочную скважину, но от, слава богу, попала. Поворачиваю ключ, налегаю на дверную ручку и — я дома.

С закрытыми глазами, я уже по запаху сразу признаю — это наша квартира. Узнаю по только ей присущему аромату, если хотите — вони. Во многих квартирах пришлось побывать за прошедшие годы, у каждой особый, личный, неповторимый запах. Помимо желанья, возможно, даже

не заслужив того, любое жилище и его обитатели сначала нравятся или не нравятся моему носу. Мне напрочь безразличны квартиры, которые не имеют запаха.

Наш дом полон запахов. Пахнет нафталином, бабушкиными сердечными каплями, старым деревом, пылью, книгами, больницей (моя Мама — медсестра), красками (мой Папа — маляр), кофе, дымом папирос, костюмами дядюшки Криша. Они перемешиваются, стекаются, вливают друг на друга, обрушиваясь на меня тяжелой, пьянящей волной. И я ощущаю — я дома.

Стою в передней. Длинное, темное и узкое пространство, заваленное пальто, чемоданами, обувью, всевозможным старым, но (а вдруг!) вполне годным хламом. В полумраке одежда, грудой сваленная на вешалки, будит призрачные образы в моем воображении. Там, в углу, поблескивают меднопуговичные глаза дядюшки в черной шляпе, — вон полузакрытый зонтик распростер нечто вроде крыла летучей мыши, таинственно и угрожающе скрипывают двери черного шкафа. Не прячется ли там кто-нибудь! Да, здесь не вполне уютно, пройду-ка лучше дальше.

В коридоре не только дверь на улицу — идешь прямо — попадаешь на кухню, налево — к Бабушке и дядюшке Кришу, направо — к Маме с Папой. Из маминной комнаты попадаешь еще в одну, совсем крохотную каморку, это — моя. Личная. Остальные дети нашего дома не имеют своей комнаты, и я своим закутком очень горжусь. Как и телевизором, — мы единственные в доме, у кого таковой есть. Телевизор — это громадный ящик с маленьким окошечком, в котором можно увидеть все, что на свете творится. Вечерами, когда начинается программа, к нам зачастую захаживает Горбуня. Повертится, покрутится, перекинется с Мамой парой слов о своих житейских печалях и вдруг, этак ненароком, уставится в телевизор.

— Ах, смотрите! Как же, как же. И что там показывают! Да. Ага... — И она все ближе и ближе придвигается к чудо-ящику. Мама предлагает стул, теперь уж Горбуня просидит до конца программы. Иногда она приводит с собою и сына, он свернется комочком рядом с мамашей, прижавшись выстриженным круглым затылком к впалой груди Горбуни, а та обнимает его, и мне они кажутся едва ли не милыми, такими счастливыми. Но программа кончается, Горбуня вскакивает, и, ах, батюшки, засиделась, стыд один, ничего не сделала, и ты, бестолочь, марш домой, беда мне с этим ребенком!

Если не через день, то через два-три она опять тут как тут.

Мне Мама не позволяет подолгу смотреть телевизор, это портит зрение. Ной и канючь сколько влезет, не помогает, и я отправляюсь на кухню.

На кухне мне всегда очень хорошо, с нею связаны самые приятные воспоминания. Она похожа на коридор — такая же узкая и длинная, одно окно, выходящее на улицу. Радостно смотреть на игру светового пятна, падающего на облезлые доски пола. Не менее приятно, чем резвиться, не делать ничего, а просто сидеть в уголке между гладильной доской и газовым баллоном, наблюдая за кружением танца миллиона пылинок в солнечных лучах. Они никогда не достигают другой половины кухни, где в таинственном полумраке скрывается старая дровяная плита, излучающая зимою потрескивающий уют.

Когда никого нет в доме, мы любим сидеть с Наташей на кухонном окне, предаваясь своим «тайным играм», например, — берем нитку, скатываем ее в комочек, оставляя один конец в руках, а комочек глотаем. Затем вытягиваем назад за конец, которые держим в руке. Ничего приятного, раздражает, чуть-чуть страшновато. Мы соревнуемся, кто проглотит нитку длиннее, ужасаясь друг дружкой, а время пролетает совсем незаметно. Есть игра и гораздо проще — мы плюем на головы прохожим. Мимо нашего дома редко идут люди, мы плюем по очереди, отмечая мелком попадания на подоконнике, каждая со своей стороны. Мне иногда неохота плевать, а Наташа говорит в таких случаях, что я трусиха, но это неправда, и я беру обязательство плюнуть на троих подряд.

Мне и одной нравится сидеть на окне, я не плюю и не глотаю нитки, я мечтаю. Я люблю грезить о спящей царевне, о знаменитом певце и о Боженьке. О Боженьке мне рассказала тетушка Элла, сестра Бабушки, и напрасно теперь вся семья старается выбить его из моей головы. Вечерами в постели я шепчу «Отче наш, иже еси на небеси», а днем, сидя на подоконнике, прошу у него конфеты, мороженое, братика или сестренку, красную ленту для волос, такую же, как у Юты. Не получая того, о чем мечтаю, я не обижаюсь, понимая, что и я должна дать Боженьке что-то взамен, хоть примерное поведение, а оно у меня далеко не так похвально, чтобы Боженьке не к чему было придаться. Ничего, главное, можно просить все, что пожелает сердце, не слыша в ответ вечное «ишь, чего захотела» или «ты должна понять»...

Однажды я задремала, сидя на подоконнике, домой вернулась Бабушка, ее чуть удар не хватил — сами понимаете, как-никак четвертый этаж! Вечером мне выпали единственный раз в жизни, а к окнам Папа приделал хитрые шуковины, которые мне не открыть при всем моем сильном желании.

Рядом с окном кладовка, из нее зимой тянет холодом, и Мама не разрешает мне открывать в нее дверь. А за этой дверью мед и варенье, хрустящая, подмерзшая клюква, кто устоит перед таким соблазном! Бабушка все больше на другой половине, возле плиты, готовит обед, моет посуду или возится со своей «косметикой». Бабуля стара, но за лицом следит, без «подготовки» на улицу не выйдет. Не себя ублажить, уверяет она, а чтоб добрых людей не пугать бледным, старым привидением. Бабушка худая-худая, щеки морщинистые, как сушеные сливы, а под глазами подобие мешков, больших и гладких.

— Не горюй, дитя, — говорит она, — будут и у тебя в старости глаза, как у меня.

Вдобавок еще и волосы, пепельно-серые, реденькие, без усилий взлетающие вверх, вздернутый маленький носик и отвисшая нижняя губа. Чаще всего она выглядит комично суровой.

Волосы Бабушка накручивает на тряпочки, а посреди головы, надо лбом, прикалывает жалкий серый пучок, сплетенный из собственных выпавших волос. Затем повязывается платок (Бабушка предпочитает сиреневый цвет), слегка тонирует губы и щеки, вот и можно выходить. Бабушка не позволяет себе покупать в магазине губную помаду, она у нас очень бережлива. Соберет огрызки маминной помады, сложит в особый котелок, зальет водой, подкинет еще что-нибудь для здоровья и варит этукую лилово-красную гущу, отличающуюся ото всего когда-либо виденного и нюханного.

«Бабушка варит румяна», — вздыхает Мама, учуяв странный запах после работы. Папа молчит, шмыгая носом и вертя головой.

Бабушку не проймешь и с места не сдвинешь. Она прожила до седых волос, на все имея свою ясную и незыблемую точку зрения, капусту варят так и никак иначе, кто себя не бережет, того и бог не спасет, фигурное катание — сплошной обман зрения — где это видано, чтоб человек кружился, вертелся... Гагарин! Почему бы и нет! Летают ведь в самолете, чего ж не полететь в ракете! Бабуля не против. Зато она недовольна — всякие ракеты да телевизоры можно выдумать, а вот зубы, чтоб у человека во время еды не выпадали, куда там, не могут. Бабушке эти пластмассовые зубы — одна помеха, она таскает их в кармане передника и вставляет, когда надо разжевать жесткое или ждут гостей.

Здесь же, в кухне, Бабушка по утрам занимается гимнастикой. Маленькая и высохшая, живот, как круглый мяч, клочок волос соскользнул на ухо, в широких подштанниках, войлочных шлепанцах и теплых наколенниках; черная блузочка из тафты, остаток «лучших времен» — она сама сосредоточенность. Пара неглубоких приседаний, придерживаясь за дверную ручку, три-четыре воодушевленных замаха руками, слышен хруст старых костей, бег на месте, и утренняя зарядка закончена.

Что делать, мы привыкли.

Обычно на кухне обитает и Мама. Она сутки на работе, а потом три дня дома. Моя Мама красивая. Она не варит обед, не моет посуду, я вижу ее за вязанием, за швейной машинкой. Денег у нас не слишком, а Мама любит хорошо одеваться, всего лет десять назад она вернулась из-за границы, где прожила всю войну и несколько послевоенных лет. До сих пор в нашем доме что-то перешивается, перелицовывается — из старого пальто создается куртка, из костюма — платье, из платья — блузка. Почти из ничего наколдует кокетливую шляпку. Только обувь Мама не может ответить сама, с этим ей трудно примириться, она так хочет видеть свои ноги обутыми в изящные туфельки.

— Без туфелек и сумочки самая элегантная одежда ломаного гроша не стоит, — говорит Мама.

Иногда за кухонным столом Мама рисует для меня кукол, наряды у них — один восхитительнее другого, меняются вместе с модой. Мама смеется, это коллекция ее грёз.

Но чаще всего я вижу Маму с книгой в руках. То стоя, поставив локти на стол, то примостившись с ногами в кресле, рядом неизменная чашечка кофе, в руке вечная папирота «Беломор-канал». Зеленый шелковый халат, черные чулки, густые рыжие волосы, падая, закрывают лицо, как бы отгораживая ото всего мира. Мама углубилась в очередной роман на английском, французском или немецком языке. В такие минуты я могу спрашивать о чем угодно, Мама отговаривается: да-да, или мычит глубокомысленное: мм-м. Иногда я нарочно спрашиваю что-то недопустимое, например:

— Мама, Ма, я схожу за мороженым, ладно!

— Да, да...

Я никуда не иду, прекрасно зная, что мне это строго запрещено, я ведь болезненный ребенок. Болезненный и некрасивый. В этом я могу когда угодно убедиться у зеркала. Слишком большой нос, слишком маленькие глаза, обвислые уши, жиденькие белесые волосы, а брови и вовсе отсутствуют, не то, что у Мама. Конечно, ведь я — папина дочка. За что, спрашивается, такая несправедливость!

— Мне нравится запах твоей работы, — говорю я.

Но Мама старается как можно быстрее его смыть, это не так-то просто у примитивной раковины. У этой же раковины происходит еще одна интересная процедура после маминых дежурств — Мама ловит блох. В диспансере, где работает Мама, возвращается всякий народ, вот и бывает, что принесешь домой одну-другую «божью тварь». Поэтому Мама, вернувшись, сразу осторожно снимает с себя одежду, тщательно трясая каждую вещь над раковиной. Если попадает блоха, она тут же погибает под сильной струей воды. Меня эта охота до смерти привлекает, я, как вкопанная, стою рядом, не слыша, что Мама сердится и гонит меня прочь.

Папа в кухню заходит только поесть. Папу я вообще вижу редко. Днем он работает, по вечерам «халтурит», приходит и уходит, когда я сплю. Зато по воскресеньям он всегда дома, вот почему воскресные утра мне кажутся ярче и краше других. На завтрак всегда яйца всмятку, геркулесовая каша и кофе. [Ах, божественный запах кофе! И любимый Папа, освещенный зарей, тщательно умывает, выбрит, в чистой, прямо из-под утюга рубашке садится за стол и с завидной ловкостью орудует столовыми приборами!]

Как-то Мама выглядит заплаканной с утра. Папа не уходит на работу, хотя это обычный рабочий день. Я бы скакала от радости, что мы вместе, но выражение лиц родителей сдерживает меня. Я тихо залезаю на колени к Папе, но Мама говорит странным голосом:

— Не подходит так близко к Папе, доченька. Папа болен.

Через пару дней Папа отправляется в больницу, на операцию, у него обнаружили туберкулез.

Пошли больницы, санатории — несколько лет я Папу считала, и не видела. Мама одна ездит навещать его, при-

возя мне гостинцы, — лукошечки из прутьев, туески, деревянные бусы. Все это, тоскуя по своей дочурке, Папа смастерил сам. Летом лукошко наполнено лесной земляникой, еще прилагается письмо, написанное печатными буквами, чтобы я смогла прочесть сама.

Мама ходит печальной.

— Конечно, это проклятая работа, — говорит она знакомым о Папе, — и эти годы в Сибири...

В это время Мама не шьет себе платья, она расшивает воротнички и рукава у народных костюмов. Знай крести стежки да дежки — можно и подработать что-то. Денег не хватает — ребенок часто болеет, ему летом полезно жить у моря, ягоду на рынке купить не мешает... На взморье, правда, у нас что-то вроде дальней родственницы, тетушка Калене, да она к себе жить не пустит, хорошо если осенью подарит корзину полусгнивших яблок. Свое добро она возит сюда же, на Агенскалнский рынок, на продажу. Тетушка Калене — сморщенная старуха с желтовато-седыми прядями волос в грязном фартуке, один зуб у нее кривой и длинный, а еще она всегда странно хрипит.

— Скупа, как мертвец, — говорит Бабушка, — ради других пукнуть пожалеет.

В свою очередь, у тетушки Калене свои резоны не жаловать Бабушку, они обе имели виды на того офицера, за которого Бабушка вышла замуж. Но, встречаясь, обе сидят с умильными рожами, только и слышится: «милая Луизочка» да «милая Анеточка».

После рынка тетушка Калене с хрипом вскарабкивается на нашу верхотуру с большой черной сумкой, в нее вперемишу сброшены и копейки, и рубли. Она любезно здоровается сразу со всеми, сует мне в руки кулек с передавленной малиной и пристраивается на низком чурбаке у плиты, здесь она и пересчитает наторгованные деньги. Но сначала она сетует и ропщет на дурные времена, на то, как трудно ей достаются эти денежки. Что тут поделывать:

— В поте лица своего этот хлеб зарабатываешь, — плачется она. — Не то что некоторые, — пялятся она на Маму, — ткнут иголочкой — и пятак в руке. Уж коль эта денежка так легко достается, так и профукать без следа — раз плюнуть, не болит, не печалит, а ведь почитать следует. — Причитая этак, ее взгляд скользит по маминим черным капроновым чулкам.

— Разве порядочная женщина, верная жена, хорошая мать выставит напоказ свои лытки в такой паутине?

— И старые туда же, — на этих словах ее взгляд застывает на бабушкиных новых тапочках в клеточку, — прямо-таки в детство впадают, никак им не смириться с той малостью, что имеют, подавай им еще и подавай. Как будто не навьяжались молодыми, к позору родителей своих, нет ведь, глянь, опять в новых нарядах... Давно уже самое время приспело деньги на гроб копить, чтоб деткам не пришлось после похорон нищенскую торбу на шею вешать, после всех-то убытков...

После столь длинной речи тетушке Калене следует немало отхрипеться, за это время ее взгляд ползет в сторону Мама:

— Правда, кое-кто ничего не платит, швырнет в яму, как собаку, и зароет. Вот так.

Она вываливает содержимое своей сумки на пол, склоняется над ним, принимаясь пересчитывать. Монеты она складывает в аккуратные столбики, а потом заворачивает в бумажки, бумажные деньги — пачками, перетягивая потом резинкой. Время от времени она выпрямляется, чтобы перевести дух, откидываясь к плите, разве легко старому человеку так долго продержаться согнувшись. Хрипы, ритмично звучащие все время в кухне, переходят в неритмичный храп, тетушка Калене спит. Минут через пять она вновь встрепенется, резко завертит головой, словно перепуганная курица, пока уразумевает, где находится, и, успокоившись, примется вновь за работу.

Мама тетушку Калене на дух не переносит и сердится, когда та приходит в гости. Бабушка тихо хихикает про себя, успокаивая, бог с ней, ну ее, что ты с родичей возмешь.

В одном лишь Бабуля не уступит — попробуй только тетушка Калене заикнуться о дядюшке Крише. Гром и молнии! Дядюшка Криш — бабушкин сын, мамин брат, он живет с Бабушкой в комнате рядом с кухней. Бабушка его обожает и ненавидит, поносит и жалеет, иногда, расплаясь в гневе, пытается перевоспитать его палкой, но чужой пусть не порывается помянуть все святое имя дядюшки Криша.

Дядюшка Криш красивый, дядюшка Криш умный, дядюшка Криш общительный, у него табун друзей и нет недостатка в подружках. Редкими вечерами, когда он дома, в комнате, где среди темной мебели из дубового дерева тускло мерцает старый немецкой работы рояль, разгул вздымает свой девятый вал. Циркачи и актеры, «каучуковые девочки», непризнанные поэты и художники, девочки из оперетты и brave моряки! Шампанское льется рекой, Папа смастерил из пробок спасательные пояса для всей семьи. Такси то подвозит, то увозит веселые компании, денег у дядюшки Криша — куры не клюют (угодишь ты в конце концов в каталажку, греховодник этакий, причитает Бабушка), но и без денег он был бы душой этого общества, идол женщин — такой молодцеватый, такой эрудированный (гуманитарное образование — золотая медаль), такой музыкальный (абсолютный слух)! Какая женщина останется равнодушной, когда он, словно молодой бог, садится за рояль, нимб над высоким лбом и голос, что тебе Вилис Фрицис!

Жизнь прекрасна! Женщины прекрасны! Бабушка часенко спит на кухонном топчанчике. Бывают и такие, что приходится не по нраву Бабушке, тогда она берет свою палку, и, рано ли, поздно ли, одна из вспугнутых красавиц, раскрасневшись до белого каления, рванется в сторону входной двери, прижимая к груди свою сумочку.

Мне это все, разумеется, видеть не следует, и Мама с Папой отмежевались от этой красивой жизни, хотя я замечаю и понимаю больше, чем они себе представляют. Бывает, я тайком приникаю в темноте к двери дядюшки Криша и чутко вслушиваюсь в голоса, так весело звучащие там, за дверью, жадно ловлю обрывки разговоров Бабушки и Мама, прерывающиеся сразу, как только я появляюсь поблизости. Сколько соблазна в этой жизни, столь не похожей на нашу, в этих перешептываниях, в этих переглядываниях!

Конечно, приходят гости и к Мама с Папой, но редко, на дни рождения, именины и прочие праздники. Я ожидаю гостей с великим нетерпением; еще более чудесными, чем сам прием гостей, мне кажутся большая подготовка и хлопоты перед вечером. На кухне уже спозаранку начинается кутерьма и волнения, жарится, парится, варится, рубится, режется, крошится, сбивается, чистится. То и дело нужно сбегать за нужными продуктами, без которых, ну, никак не обойтись. Наше жилище мало-помалу наполняется запахом званого вечера — я могу унюхать и различить в хаосе запахов — яйца вкрутую, соленые огурцы, жареные отбивные, кильку и клюквенный морс, в кастрюле пышет паром картошка в мундире — для салата. Меня то и дело гонят с кухни, но я все время проскальзываю незаметно назад, пока не получу дело по плечу. Ближе к вечеру на пару с Мама вытаскиваем из бабушкиной комнаты круглый стол, его надо протереть и с помощью досок, обычно живущих за дверью, удлинить. Это растягивание — превеселенное дельце. Папа тащит в одну сторону, мы с Мама, напрягшись и надувшись, в другую. Как бы мы ни старались, Папа нас ведет со столом прокатывает сквозь всю комнату. Наконец, стол устроен, — накрывай его просторной льняной скатертью, белоснежной и сверкающей, придающей комнате ощущение праздника. Мне позволено расставить на столе посуду — тарелки, ножи, вилки. С раннего детства я знаю настоящее место всем столовым приборам, никогда не спутаюсь. Потом несем холодные закуски, яркие и соблазнительные, в больших плоских тарелках, в продолговатых селедочницах и круглых мисках. В стаканы наливаем красный морс, это наивысшая точка в накрывании стола — все све-

тится, переливается, сверкает, сияет и звенит. Фарфор, серебро и хрусталь — мое наследство от умершей прабабушки. Я, понятно, не могу определить его стоимость в деньгах, но вся эта красота ослепляет мне глаза, наполняя сердце тихим восторгом. Я больше не узнаю нашу комнату.

Я уже почти не узнаю Мама. Бог весть за какое время она успела вытащить бигуди из волос, накраситься и переодеться, вдеть в уши дивные коралловые сережки и заколоть брошь. Вот она берет маленький стеклянный флакончик и душится, странный, горьковато-сладкий запах внезапно разносится по квартире, и я догадываюсь — званый вечер вот-вот начнется.

Гостей много, молодые, веселые, громкие, веселятся до утра. Посидев сначала вместе со взрослыми за столом, я тихо пристраиваюсь в сторонке и без усталости наблюдаю за людьми, слушаю их непонятные разговоры и представляю себя их ровесницей. Но если кто-то из них случайно замечает меня, я смущаюсь, краснею и убегаю на кухню.

Но вот мне и пора идти спать. Когда у Мама гости, я сплю у Бабушки, что тоже почти приключение, как и весь прошедший день. Мы вместе спим на широком диване «Лиры», одна перина внизу, другая сверху, и играем в «подружек». Эта игра — бесконечный поток диалогов, превращения и чудеса творятся со сказочной легкостью, достаточно мне прошептать:

— Я теперь принцесса, а ты принц, и ты мне говоришь...

Бабушка послушно повторяет, что ей наказано, смотришь, мы уже в волшебном замке, на мне серебряный наряд, и мы танцуем последний вальс перед двенадцатью.

Чудеса не прерываются и во сне, и наутро я просыпаюсь усталая и капризная.

День, следующий за званым вечером, печален. Мама тоже в дурном настроении, лучше не путаться у нее под ногами. Моют, прибирают, чистят. Комната родителей быстро приобретает свой обычный облик, круглый стол отправляется назад к Бабушке, красивая посуда прячется в шкафы, и глаза, на мгновение смущенные обманчивой роскошью званого вечера, снова глядят на привычную серость — выцветшие ковры, потолки с подтеками, обшарпанная мебель с обтрепанной обивкой.

После полудня, ближе к сумеркам, все дела, наконец, переделаны, и наступает тишина.

У Бабушки гудят ноги, она прилегла и чуть слышно посапывает в своей комнате. Папа дремлет в кресле с «Ригас Балсс» в руках. Мама в облачке сизого папиросного дыма снова перелистывает страницы очередного романа, жалобно вскрипывает иногда кресло под нею. Я брожу по этому заколдованному царству тишины и мне кажется — всегда так было, всегда так будет. И Папа, и Мама, и Бабушка, и я. И все эти родные, старые вещи, и эти запахи, и загаженная мухами лампа под потолком.

Я — дитя, и снова дома.

Я пока не открыла лишь одну дверь — в свою комнату. Тихонько, чтобы не потревожить спящих, я открываю ее. Вот мой потертый плюшевый диванчик, вот потемневший от старости письменный стол, в ящиках которого хранятся сокровенные коллекции камушков и птичьих перьев, вот маленький ящик с игрушечной типографией с допотопных времен, с помощью которой когда-то печатались карточки «Фантомас» и забрасывались в открытые окна подвальных квартир. А вот мой кукольный театр и мой грузовик, в этом углу ночуют куклы вместе с моей первой, целлулоидной голышкой Гитой, а на детском столике выставка моих работ из пластилина. А вон в том углу, у самого потолка, как раз там, где рыжеватое пятно подтека, однажды ночью, проснувшись, я увидела ангелочка...

На столе раскрыт мой первый дневник, в нем корявым детским почерком вписано:

«1 сентября 1964 года. Сегодня я пошла в школу. Светило солнце».

Перевод ЮРИЯ БЕХТЕРЕВА.

АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО

СУММА ЭЛЕГИЙ

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЭЛЕГИЯ

Пусть бегают мышь по камню.
АЛЕКСАНДР ВВЕДЕНСКИЙ

«Что связует, скажи, в некий смысл нас, сводит с ума?»

Тьма
быстролетящего облака, след стекла, белизна.
Циферблата обод.
Величие смерти и ее же ничтожность, парение мусора
в раскаленном тумане стрекоз,
никуда не уходим.
Колодцы, откуда в полдень звезды остри,
Но книгой к чужому ветвясь — и всегда остается возможность,
песок
и стоять.
И какое-то слово, словно слепок условия
мир раскрывает зеркально по оси вещества.

в неустанной тяжбе свобод,
отслоением.
Можно — «бессмысленно» — в сумраке призм, где прямые зимы
вдруг взрываются льдом
и безраздельным огнем его ветер колеблет и сыплет горстями.
в тяжбе парения между зенитом, надиром, окном
и небритой щекой,
охрой и вереском
в мусоре быстротекущих высот . . . Неуловима в образе зримом
родина этих вещей. Что за ними?
То, что за нами, что прежде.

Прихоть прогулки. Волосы. Словно смех вдалеке,
не помнить — как паутину воткать в слуха основу,
в соответствии мельчайших регистров, —
Тьмы мерцают их,
Тьмы,
подстать пульса виткам, оплетающим русла сухие запястья.
И
продолжение нелепо.
И преодоление (чего?) сродни фотографии, скань расточающей
в растре,
ибо все начинать как ни в снег, ни в огонь не глядеть,
будто бритвой скрести по щекам в полынье на стене отражаясь,
и неизвестна природа заката опять,
средостений пространства его созидающих — время?
тело?
память? строка? — сроков мелькнувших случайно,
когда книгой к чужому ветвясь.

* * *

Сказано лампа, а скажется: «громы весны».
Свет промолвится ломко и тотчас услышишь,
как у карты невнятной на кухне мерцает сухой
сельдерей,

серебрясь
хрипотцой
сродни травам подводным запястья,

кран сочится.

Но кофейные зерна в горсти уготовь к переходу
в душистые пустоши пыли
перед тем
как в кипенье вовлечь,
«чет» и «нечет» смолов, прекращая бег смол во вращениях,

и к сплетенной неуязвимо воде обратиться,
ибо вот разбивает она свое плавное время паденья,
ловит блеска осколок воспоминанием тысячи «я»,
возвращается цепко —
так птичий плавник ловят детские руки невольно
на кухне скрипящей, наверно . . .

Я не помню.
Я был отодвинут на шаг
от себя, ото всех, в том числе и от Бога
в приближеньи к отечеству облаков,
отсекая глаза ото вспышек песка и деревьев.

Лето шло,
ничего не тая в синеве,
погружаемой веткой веселья
в рассудка кристальные соли,

«что же тает в нас, или связует, ответь?
В чередѣ дней и дней, сменяемых изредка ночью . . .»

вывода за пределы ума к тишине
в каждом звуке
случайном,
разъятном желаньем стяженья.

КУХОННАЯ ЭЛЕГИЯ



Догадайся, кто прислал тебе
эту открытку!
(текст поздравительной открытки)
посвящается Майклу Молнару

Агония лучистой кости в шипящем снеге,
по ветру изогнут полыни куст,
он красноват и колок — не слушай звон его,
вомни в тропу столой.

Рука, шип повстречав кизила,
не в силах «совершенство формы» почтить
неспешной каплей крови.

Мороз.
И воздух. В блеске и разрывах. Пустырь.
И, мнится, небу столь же трудно
изгнать звезду из уравнений света,
как мне припомнить сколько зим до лета
или позволить памяти свернуться,
вернув меж тем ей совершенство формы —
не ртутной капли —

А игры бессонной,
что разрешит (не требующий нити) скользнуть бестенно,
более не встретив всеотражающей и вязкой капли,
как довелось ветвям, руке открывшим пламя
в соединении с разрывом точки.

Сера убога поросль рассвета.
Чай жил птенцом в узорной клетке чашки,
в окне пустырь кружил, — в его оправе,
вгрызаясь в холод быстрыми зубами, купались псы
в сугробах,
плаваньѣ ворон напоминало отпечаток в угле.
И пепел папиросный медлил падать . . .
И веял в волосах сквозняк, мешая утренней науке
зеницы, суженной побегом лучевым,
рот обучать опять терпению предмета,
узлы вязать и не читать по ним.

ЭЛЕГИЯ НА ВОСХОЖДЕНИЕ ПЫЛИ

... восходит медленно
течет однообразно.

Пока, одетый глубиной оцепененья,
невинный корень угли пьет зимы
(как серафимы жрут прочь вырванный язык,
стуча оконными крылами)

и столь пленительны цветут — не облаков —
системы сумрачные летоисчислений,
весы весны бестенны, как секира мозга,
и кровь раскрыта скрытым превращеньем
как бы взошедшего к зениту вещества,

откуда вспять, к надиру чистой речи,
что в сны рождения уводит без конца
и созерцает самое себя в коре вещей
нерасточимых.

Да будет так: в скольжении стрижа...
в мгновеньи ящерицы, прянувшей из тени, —

разрыв как вдох тогда, не знающий греха,
двоенная нить пряма в единство уводима;
разрыв как выдох или различенье,
чьи своры означающих дрожа, и неосязаемом
и хищном равненьи
узоры исключений сухо ткнут.

Пока все равенство не тронута громами,
червями молний, раздражающими ткани
на рыбы пряди жажды, комеди и гари
у дельты севера дотла прозрачных рек,

озер
запавшие, дичающие чаши
извечным сочетаньем капиллярной влаги
срастили, похищая, знаки дня и дна,
сосну повергнув в пристальность песка
и паутиною подобий связав бездонный
ветра свод

с ресничной колкою войною
в труде скалистом животворной ночи,

морские травы чьи издревле проникают
слои богов изустные в смешении стихий,
а также бирюзы преграду меж огнем и домом,
что наваждением восторга вновь томим.

Весна истории... История весны! —
куда как дар сей bestолков и скуден,
и несмотря на то величием сравним
подчас в могучей статье раскаленной пыли,
с блистающей, язвящей чешуей
в зеркальных брызгах воскресенья
(признание следует: элегии... закон...)
Или со смыслом, пренебрегшим мыслью, —

в лавине шелеста и жадных величин,
простертый сетью инея, числом неодолимый,
он веществу конец догадкой окна,
в котором пьяные от зноя облака
стоят в предвосхищеньи темных
ливней.

В теченьи шелеста, в скольжении стрижа...

«Я не ищу пощады.» — Теплится едва
по краю наслаждения строкою,
сшивающей не это и не то,
пусть будет Бог следа, прозрачный как слюда,
опущенная в ночь. Пусть будет Бог залива,
как холст, что равновесием расшит —
слюною шелка с коконов

умерших,
но тождества весны!
Сны
языка огромны.
И пыль, по ним скитаясь вне имен,
восходит медленно простым

развоплощеньем,
неуловима и бессонна как «другой»,
в словесном теле чьем «я» западной застыло.

ОБУЧЕНИЕ ЧИСТОТЕ В СМЕШАННОМ

Как черное в провалы белизны
летит очнуться гибельным цветеньем, дым разостлав
по мятежу снегов подземной мелью промедлений
(какая сила недостатка гонит?
и к узкогубой мгле клонит, подобно записи, что

впитана веками —
кипит опять в несносном толкованьи,
И кроме букв бестенных в жерновах порядка — ни городов
в знобящих ветра каплях,

ни басен о природе;
нет
в помине и драгоценного как эхо вещества,
любовниками бывшего когда-то,

когда
«поэты были всем» однако...
но чаще смертью (смехом?), чтобы не делить мозг
с лабиринтом корневой

системы,
всплеск
разночтений — тысячи! —
в единственном сцепленьи с прелестной перстью временных
сращений,

под стать материи
возлюбленных —
телам, плывущим тьмою в реках, низведенных
к колодцам тлеющим ума...

2

Жизнь шелушится речью. Странствует кора, юродствуя
вдоль тока смол,

идут холмами зимы
и дерево стареет по часам,
как состраданья кольца в неусыпаном шуме), как черное
росою белизны,
ночь претворяет в плазму соты звезд

и осы —
заколосятся пламенем богов. Кружит туманом строй равнин
и гор,
чьи камни венами опутывают месяц, и золото где: сирий
на суку.

Но перемен развитие — незримей дыма,
витающего радугой венца над кроной сизого не инея,
но льда,
подобно смерти, протекающей к началу.

но и к концу
сквозь мысль (... о гребни промедлений!), однако мысль
и есть в окрестности сомненья, где

вечно ждет,
что б узнанною быть,
стерев себя как запись в обновленьи,
как борозду весной сотрет распад зерна,
волокон обращая тесноту

в суть сердцевины — в немоту,
в безбрежность острия
(о лезвий промедленье...)

Ель тяжела глазами.
Стволов и хвои травленная чернь.
Тропой прямится бирюзовой берез сверкающая траурная тень
и, желтизною женственной затянутый, огонь
изломы веток обнажает нежно.

И здесь стоять водою о себе. Без берегов. Под настом
трав
настоя терпко нетерпенье, горячечное, будто муравьиный рот
кого-то,
искривленный на стакане, когда в лекарственном, хмельном чаду
пол с потолком меняется местами
и холодок кривой игрой у губ — брат бестелесный лба,
сухого созерцанья

в семях неведеньи неслышном, точно невод,
способном ум обрушить косностью значенья
в истлевший, пресный час зари. Но даже память здесь —
не боле, чем изъян,
впивающийся центром круга... Не уходить.

Склонись.
и слушай гул. Бурьян. Он гол, безвиден.
Слух — это ждать, когда в ответ не ждать,

Такой удел струне завиден...

Нас разделяет пестрый искры миг
золою мотылька, расправленного в коготь свободной радугой
ресниц,
нас, разлучив, венчает вспышка век — гарь десяти секунд глаз
в совпаденьи,
отсекшем на хрусталик как побег, так и безлюдья
тростниковый стебель
и крыш асбестовый лежалый цвет,
забитый падалью размокшей голубиной,

вымышленной вещью
в единственном из вымысла числе) — руки восстание провидит
уже вторжение туда, где «в» и «вне»
пульсируют смиренно
в купели накопления «ни-что».

Светает.

Оттепель.
Лицо.

3

но плавное восстание руки,
вторгаясь в остов геометрии предвечной (не дерево заката,
что прожжен дырою кружев маслянистых,
а несколько расправленных прямых,
готовых слиться

Прилив рассвета
равен всем прорехам.

Снег не меняет направленья ветра,

и первый лязгает трамвай.

Фонарь, как тварь морская высыхает, скребя лучом
по слякоти камней.

МАЙКЛ МОЛНАР

О ПОЭЗИИ АРКАДИЯ ДРАГОМОЩЕНКО

Выдержка из доклада, прочитанного в кембриджском университете

... Названные выше поэты (Виктор Кривулин, Елена Шварц, Олег Охупкин) сразу же приходят на ум, если речь заходит о современной ленинградской поэзии, не исключая и таких ее признанных фигур как А. Кушнер, либо присутствующих в отсутствии Л. Аронзон и И. Бродского: в контексте данной традиции Аркадий Драгомощенко выглядит совершенно изолированно. Подобное его неприятие ленинградской поэзией, как официальной, так и неофициальной, привязанной к идее поэтического голоса и личности, никоим образом не удивительно. Гораздо трудней вообразить теплый прием, оказанный А. Д. той частью американской культуры, которая вовлечена в деятельность поэтической ШКОЛЫ ЯЗЫКА.* Весной 1988 года он провел в США серию поэтических выступлений, организованных Лин Хеджинян, Клейтоном Эшманом, Дональдом Веслингом и другими писателями и представителями культуры, относящимися с сочувствием к подобного рода письму. Начиная с 1984 года, стихотворения А. Д. начинают периодически появляться во всевозможных литературных журналах США и Англии, а весной 1989 года издательство Сан энд Мун Пресс намерено выпустить его поэтическую книгу («Описание») в переводах Лин Хеджинян. И что нельзя назвать односторонним процессом, поскольку с 1984 года А. Д. начинает работать над переводами современной американской поэзии, включая переводы Лин Хеджинян, одновременно сотрудничая с ней над поэмой «Небо соответствий». Такие взаимоотношения с практикой и теорией американского авангарда в какой-то мере оказали определенное

воздействие на его собственные произведения последних лет...

... Такое письмо нарушает ожидание, установленное психологическим реализмом, чье господство обусловлено особой логикой и концептуальной непрерывностью тона. Беспрестанные разъединения понуждают читающего сосредотачивать иной уровень внимания на языке. Каждое предложение как бы отступает от смысла, полагаемого предшествующими, вместо того, чтобы продолжать их, выстраивая себя из них, как того требует преобладающая манера. Вместе с тем, разрушение непосредственно очевидных логических звеньев между предложениями не обязательно свидетельствует о разрушении разума, ибо подобные нарушения [...] могут являть тончайшие сплетения резонансов, вибраций, отголосков. Что, прежде всего, и представляет с точки зрения «системы» самую опасную ересь, поскольку посягает на определенный тип унифицированного дискурса, по большей части предназначенного служить основанием обществу. Такая поэзия в своей деятельности полагает новую модель «Я» или, по крайней мере, новые предпосылки субъективного, не согласующегося с общепринятыми предубеждениями. В этой связи роль такого вида поэзии видится сегодня подобно той, которую играли в свое время Романтизм и Сюрреализм, выражавшие желание разомкнуть различные идеологические системы ограничений, предлагая более объемные и существенные модели индивида. По сути дела, поэзия ШКОЛЫ ЯЗЫКА отвергает психологию во имя восприятия через язык... язык здесь

берется в ином ракурсе, будучи одновременно как материалом эмоций, так и восприятия...

... смысл (стихотворения) в его воздействии, напоминающем воздействие живописи де-Кирико, в чем-то вроде предчувствия, предвосхищения приближающегося откровения, которое постоянно откладывается. Стихотворение в этом случае не является объяснением, оно — проявление зияний в восприятии, отсутствий и уклонений. Ожидать здесь [...] возникновения цельного образа с точки зрения дескриптивного либо интеллектуального содержания, означает постоянно подвергаться обескураживающему разочарованию. А поскольку большая часть читателей ожидает дескриптивной и психологической континуальности, сам этот фактор вполне способен объяснить неприятие подобной поэзии и непонимание ее природы. И это неизбежно: произведение предстает как интеллектуальное требование, и настаивает на том, чтобы читатель забыл «реальный мир», возведенный из таких широкопопятных идей как цельность языка и «я». Вместо этого надлежит переориентировать себя на непреклонный, почти геометрический мир, сконструированный вокруг очевидно иератических предметов и абстракций, и на их связях...

... Это поэзия отношений, но не сущностей, следовательно в ней нет случайных описаний чего бы то ни было. Предметы, размещенные в схематические пейзажи, здесь не самодостаточные понятия, но математические символы, дефиниции которых зависят от того, каким

Майкл Молнар — английский исследователь в области феноменологии языков, лингвист, переводчик с русского (Е. Шварц, В. Кривулин, А. Парщиков, А. Драгомощенко), французского, немецкого и фарси. Автор ряда работ, посвященных творчеству Андрея Белого. В настоящее время работает научным сотрудником в музее З. Фрейда, живет в Лондоне.

образом они устанавливают равновесие с другими фигурами на странице...

... Один из первых критиков, упомянувший А. Д., Михаил Эпштейн включил его в поэтическую школу, которая определена им как «метареализм» («Октябрь», № 4, 1988 г. — М. Эпштейн. Концепты... Метаболы...) вместе с Ольгой Седаковой, Еленой Шварц, Иваном Ждановым, Владимиром Аристовым и Виктором Кривулиным. Весьма странно обнаружить в этом обществе А. Д. А совершенное разнообразие поэтических манер упомянутых писателей, пробуждают подозрение к категории, их объединяющей [...] В определении М. Эпштейна метареализм не отрицание реализма, но расширение его в области многомерных невидимых реальностей. Как полагают критики, приставка мета — добавляется лишь из-за явной узости того, что принято понимать под реализмом. Как я уже говорил, идея такой новой школы сомнительна, однако в популяризации ярлыка содержится реальная опасность того, что в скором времени А. Д. сможет обнаружить себя «метареалистом», и, следовательно, необходимо обсудить в какой мере допустима подобная классификация или вовсе не допустима в его случае. Мое несогласие изначально связано с понятием **реальность**, применяемым к принципам поэзии А. Д. Не потому, что у него нет такой реальности — в стихотворениях определенно присутствуют смыслы некоего реального предмета восприятия — но потому, как использование такого понятия в качестве ярлыка несомненно смещает акцент с воспринимающего на мир, остающийся в стихах неразрешаемой гипотезой. Идея «истинной природы мира» либо непостижима, либо нерелевантна, в результате чего речь идет о природе восприятия либо языка, либо любого другого феномена. Следовательно, в центре работы А. Д. не объект, а проблематично констатируемый субъект, и обращение к нему, как к идее уже установленной реальности, будь-то видимой или невидимой, отвлекает внимание от приоритета неопределенной, дисконтинуальной субъективности, являющейся ведущим принципом его поэзии...

... Метареализм или же иной другой вариант термина «реализм» является неадекватной формулой для описания того, что происходит в стихотворениях А. Д. Все версии реализма, психологического, религиозного или социального требуют стабильной перцептивной основы в логически связанном отдельном субъекте. Едва ли этот термин может быть применен к мерцающему, дискретному восприятию, в поле которого ощущения не могут быть отделены от деятельности языка...

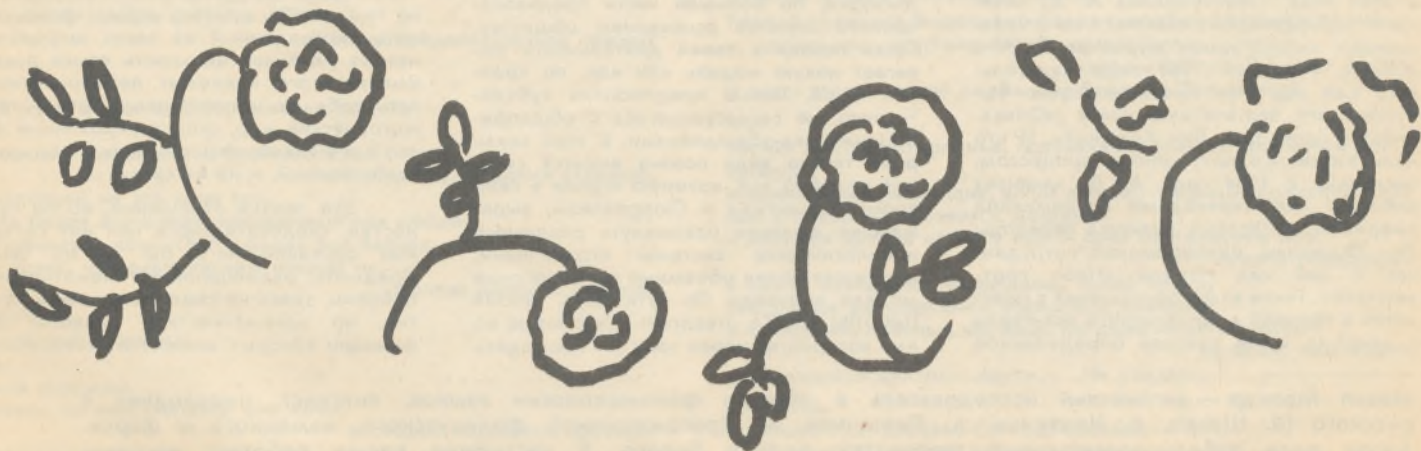
... Порой даже кажется, что весь текст упорно сопротивляется сведению к какому-либо уже организованному, существующему значению. И, постепенно осознавая эту тактику, читатель вынужден принять один из двух вероятных подходов: рассматривать текст, как взыскующую разрешения загадку, мистерию или допустить, что «ответ» присущ форме вопроса, а, значит, следует изучать собственно технику, являющуюся равно как скелетом содержания, так и его материалом. Первый подход принят большинством читателей и критиков. Сбитые с толку тщетными попытками обнаружить общий принцип организации или удовлетворительный мета-язык, — т. е. решить загадку, — они склонны не принимать эту поэзию, определяя ее как барочное позерство или маньеризм. С их точки зрения игра языка должна указывать на нечто вне языка, язык не может означать самое себя, и потому сцена действия упускается ими из вида. Лишь второй подход, должно быть, ведет к более удовлетворительному и удовлетворяющему чтению. «Загадка» неразрешима, противоречивость и парадоксальность неотъемлемы от мысли и выражения, переживание их природы требует отрицания ответов, которые бы служили выходом из тупика ощущений. Благодаря всему метафизическому орнаменту, стихотворения существуют как переживание, или, точнее, как перцептивно-экспрессивные опыты — попытки атомизации мгновений времени или описания. Задача состоит в том, чтобы снимать слой за слоем, следовать раздвоениям идей или образов, но не для того, чтобы обнаружить сущности,

но чтобы найти скрытые взаимодействия, отголоски. Согласно общепринятому представлению, стихотворение — это то, что движется от некоторого конкретного примера или ситуации к общему выводу, завершению в идее ли, в чувстве... А. Д. озадачивает привыкших к такой норме, начиная со смеси абстрактных элементов и действительного ощущения, а затем переходя по спирали к детальному описанию не поддающегося определению состояния...

... позиция читателя становится результатом описания. Усилие размещения себя или гипотетического «себя» в сценарий является действием, связывающим читателя и писателя в интерпретации языка и феномена (одновременно языка как феномена и языка, как подступа к феномену). Область такого взаимодействия в высшей степени не знакома русскому читателю, привыкшему полагать идеи и эмоциональность основными поэтическими темами...

... Однако А. Д. в действительности восстанавливает определенную связь с русской литературой, прерванную в 20-е годы. Речь идет о некоторых отголосках В. Хлебникова и философии ОБЕРИУ и, главным образом, о некоторых, пренебрегаемых по большей части, аспектах работ О. Мандельштама, связанных с сомнением в языке, см. стихотворение «Нашедший подкову». Между тем, поиски алиби в истории менее важны, чем вопрос о соотношении поэзии А. Д. современному литературному процессу в Советском Союзе. В данное время (и вопреки Эпштейну) он работает фактически один, поскольку о школе или поэтическом направлении такого рода в пределах смешанного русского авангарда не приходится говорить. Создается впечатление, будто прочно-обоснованная эпистемология (не взирая на то, отрицает ли она ортодоксальные системы либо их обслуживает) не оставляет места для неопределенности в современном культурном контексте. Но каковы бы ни были обстоятельства, эта поэзия ожидает того, чтобы ее новые перспективы были приняты...

* Language School.



АНДРИС БЕРГМАНИС

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ЦВЕТОЧНЫМИ СЕМЕНАМИ

Почти правдивая история

К этому путешествию Криш из Почей, а на самом деле вот уж два года, и по паспорту и по прописке, всего-навсего Кришьянис Пелите, готовился чуть ли не месяц.

А от нового колхозного поселка до Иернести топтать и топтать — так сказать, переход длиной в пять папирос, считая парочку остановок, чтобы унять одышку.

Перед женой он решительно отговаривался недосугом, ранней весной и еще тем, что никак ему не переправиться через бывшую Вежупите, а ныне — безымянную мелиорационную канаву. Да разве в канаве без моста все дело? Да разве не стыдно ему, бывшему хозяину хутора «Почи», а потом — бригадиру, идти клянчить цветочные семена у Маде из Иернести?

О цветочных семенах старая хозяйка Почей наслушалась в новом поселке — хотя таким чудачеством, как цветоводство, там не баловались. Можно бы у кого, кто собрался ехать в городишко, попросить, но старуха надумала посадить под окнами акkurat такие, как у Иернестинихи.

Вот уже и время сажать цветы — на носу, и никуда теперь Кришу не деться.

Два года избегал Криш этой дороги, а точнее — бездорожья. Теперь в Иернести ведет лишь тропа, лежащая между мелиорированных полей. И на том собрании, когда последних хуторян заманивали в новый поселок, председатель колхоза выразился так: «Кому охота, пусть гниет на своем хуторе, а мы маленькие дорожки распашем. И будет там колыхаться ржаное поле!»

Именно того, что не будет дорог, старые хозяева Почей тогда крепко испугались. Как доставить молоко на молокозавод? Как сыновья на своих жигулятах-трындычатах доберутся сюда из городишка? А как докторше сообщить, что кому-то из стариков травяные настойчики и чай уже не помогают?

Молодежь тоже подбивала перебираться в поселок, и старые хозяева Почей, ликвидировав домашнюю живность и получив от колхоза компенсацию за дом, переехали в новый поселок, в эту железобетонную клетку, которая называется квартирой со всеми удобствами. Так поступило большинство хуторян, и в конце концов из всех бывших соседей остались жить поблизости от Почей только Маде из Иернести и Рудис из Сауши.

По правде говоря, настоящим соседом старики Рудиса не считали, но если не хочешь по дороге в бывшее имение, а ныне — поселок, промочить ноги, переправляясь вброд через Вежупите, и шлепать по лугу или засеянному полю, как последний подлец, приходится сделать крюк и идти через Сауши.

И теперь, шагая в Иернести, Криш придерживался тогдашнего пути.

Но Кришу хотелось потратить на дорогу больше, чем пять папирос, и он, как собачонка, останавливался чуть не у каждого столба, сам себя уговаривая, что замучала одышка.

Уже тогда, два года назад, когда старики собрали пожитки и он в последний раз поглядел на свой родной дом, на липовую аллею, когда он превратился в Кришьяниса Пелите, он знал, что не захочет сюда возвращаться.

Но вот же пришлось идти, пришлось возвращаться, потому что на старуху из-за этих цветочных семян такое упрямство напало — мужа и главу семьи ни в грош уже не ставит.

Кришьянис знал, что от Почей остался только фундамент, что мелиораторы загубили липовую аллею. Такие покинутые человеком пепелища он видывал и раньше, но тогда их созерцание не вызывало боли, а теперь, каждый шаг по направлению к бывшему местожительству отца, деда, прадеда как точильный брусок по косе, скреб по сердцу.

Не раз в бреду и холодном поту видел он пепелище Почей. Прадеды до седьмого колена по ночам и дразнили, и издевались: «Осквернитель родного очага! Вот и смерди в своей клетке, где даже сверчка нет, и попивай голубое магазинное молоко! Ни твое семья, ни семья твоего сына, упав в землю, не принесло плодов! Расставляй ноги — сейчас кастрируем!»

В таких случаях Криш вскакивал среди ночи, сидел и слушал, как за тонкой стеной пьяный сосед Волдис костерил свою

жену, что, мол, и ног толком расставить не умеет, или еще за что-нибудь в том же духе.

У Кришьяниса Пелите на душе потеплело, когда он, взобравшись на пригорок, увидел Сауши.

«Эх, теперь — поболтать малость с Рудисом. Всерьез этого Рудиса никто не принимает, но он мужик ничего, хотя и простак», пробормотал про себя Криш и побрел по косогору вниз.

Рудиса из Саушей знали все. Он забрел сюда еще до последней войны, построил домишко, хлев и стал разводить пчел. Тогда, невзирая на молодость, Рудис не заглядывался на девчонок, и среди соседей держался особняком. Ни в латышскую, ни в немецкую, ни в большевистскую армию его почему-то не взяли. Возможно, именно тогда, а может, и после войны пошли слухи, что у Рудиса не все дома.

В колхоз он не вступил. Никто к нему с колхозными делами и не совался, потому что колхозное начальство, видимо, решило, что раз уж без него три армии обошлись, то колхоз на своем славном пути к вершинам тоже как-нибудь обойдется.

И все же за помощью к индивидуалисту Рудису из Саушей обращались. Его всюду знали как хорошего пасечника, и когда председатель счел пчелок выгодной рабочей скотинкой, Рудиса пригласили на должность колхозного пчеловода. От должности Рудис категорически отказался, а помочь наладить пасеку — почему бы и нет?

И вот он два года возился с коллективными ульями, ни гроша за это не получая, пока в колхоз не прибыла девица с дипломом Вецбренского совхоза-техникума.

Когда Рудис, как человек из будущего, работал без вознаграждения, опять поползли слухи, будто он не в своем уме, поскольку многие уже забыли, что в первые годы колхозной жизни и колхозники зарабатывали столько, сколько кот на-чихал.

После войны личных пасек было мало, но со временем чуть ли не в каждом саду появилось по улью. И не без участия Рудиса. Если у кого-то пчелиная семья собиралась роиться, то посылали за Рудисом. И он без лишнего слов вялялся. То же самое — если у кого пчелы болели или гибли. А если кто вообще без меда оставался, Рудис сам, без просьбы, давал знать — пусть бедолага запрягает лошадь и едет в Сауши — там другой улей с хорошей семьей всегда найдется.

Еще в конце шестидесятых никого такая помощь особо не удивляла и с деньгами к Рудису не приставали, вот разве что змийой, кто воз хвороста привезет, кто поможет с кормом для коровенки и овец, которых Рудис сам обихаживал.

А потом пошли богатые времена, и немощные старушки, кому соседский сынишка наколот дров, выпутывали из платочков двадцатипятирублевки и выставляли на стол бутылку водки, а тракторист не заезжал на присадебный пятачок, который приличный пьяница, употребив сколько надо пива, перехлестнет весь струей мочи, без десятички.

Но Рудис из Саушей за все пчелиные дела и как бы лишние ульи все еще не брал ни гроша.

Отправляясь помочь на сенокосе, он всегда прихватывал с собой туесок с медом — мол, отдавай, сосед, работу моих пчелок.

Отправляясь на пасеку, Рудис никогда не прикрывал сеткой лица и обходился без дымара.

Редкая пчела жалила его.

Пронесся весенний ветришко. И Криш почувал, как потянуло падалью.

Что-то проворчал, насчет павшей лесной скотинки.

Пошел дальше. С каждым шагом разило все сильнее, и Криш рысцой вбежал во двор Саушей.

... рыжий цепной пес, уже наполовину облезший, с выклеванными глазами, и солнечный луч упал как раз в одну глазницу, где собралась жидкость...

... двери нараспашку и на пороге — Рудис с лицом цвета

тухлого мяса, а черви и насекомые ползают по лицу, и глаз нет, и из хлеба разит, и ворона на гребне крыши — кр-ра...

Криша вырвало. Ему казалось, что это длилось вечно. Слезы катились и живот дергался. Голова кружилась. Он бы потерял сознание, кабы не мысль, что и он может здесь рухнуть и остаться на корм червям, на корм лесным зверям и в вороне — кр-ра-а...

Не разбирая дороги, через бесстыже зеленые озими, провалившись по пояс в мелиорационную канаву, Кришьянис Пелите ковылял к колхозному центру, ощущая лишь нелепый запах гниющего мяса. И пот, что ручьями тек по его лицу, смердел так же.

Кое-как Кришьянис Пелите очухался только в колхозной конторе, когда да него, словно издалека, донеслись голоса, стыдившие его, старика, среди бела для заявившегося во хмелю и блевотине, что позорит моральный облик советского человека. Голоса призывали Пелите устыдиться и топтать домой, но Кришьянис требовал председателя.

Председатель явился, и Пелите с пятого на десятое рассказал, что там, в Саушах, Рудис помер и отдал концы, нет, не отдал концы, а гниет, и скотина гниет, что у собаки и Рудиса стертятники выклевали глаза, что в доме безобжно смердит. Председатель колхоза понял лишь часть этого рассказа и стал расспрашивать у столпившихся конторских трещоток, что тут происходит.

Трещотки наконец сообразили, что Кришьянис Пелите вовсе не навеселе и что умом не тронулся, а действительно случилось несчастье, и кое-кто заголосил о грабителях и убийцах, а Пелите только жалобно зывал: «Какие грабители? Какие убийцы? Все мы, и я тоже, и вы тоже! Никто же к нему с осени не заглядывал. Сам он помер, и скотина с голоду подохла! Мы же теперь все гнилым мясом воняем...»

Председатель колхоза позвонил прокурору района, почуяв, что дело неладно, и придется объясняться и оправдываться, что наедут следователи, пойдут расспросы, и все это накануне сева.

Вдруг лицо председателя прояснилось и кое-кому из присутствующих даже показалось, что начальство улыбнулось. Да, он улыбнулся, но про себя, а всем прочим сказал суровым, не допускающим возражений голосом: «Живший на хуторе Сауши Рудольф... Рудольф, как там его по фамилии, впрочем, это сейчас неважно, никогда не был членом нашего колхоза».

Так сказал председатель, и дав некоторые деловые указания конторским трещоткам, в коих ни звука не было про жуткую кончину Рудиса из Саушей, ушел в свой кабинет.

Или после бултыханья в мелиорационной канаве, или же с великого перепугу, но Кришьянис Пелите свалился в горячке.

Старая хозяйка Почей в свободные минуты рассказывала ему про несчастье в Саушах. Да, верно, как сказали милицейские доктора, Рудис упал на порог этак в конце октября, в начале ноября. Потом, вплоть до того рокового дня, никто и не заглянул в Сауши. Колхоз отказался хоронить Рудиса, потому что покойный не состоял в колхозе. И поскольку родственников у него не было, то, что осталось от Рудиса, собрали в мешок и увезли в городишко, а Сауши спалили.

Но Кришьянис Пелите как будто не слышал болтовни жены. Смотрел в потолок и время от времени бормотал.

Никто не приходил навестить страдальца, да Кришьянис никого и не ожидал. Дни и ночи он бодрствовал — боялся, что, кроме прадедов, будет мерещиться еще и Рудис.

Но теперь, похоже, впервые в жизни, у него было довольно времени, чтобы вспомнить прошедшую жизнь, распотрошить ее, взглянуть на себя как бы со стороны.

Прожитые годы сбились в беспорядочную кучу, как сваленный с воза хворост. Он пытался вытаскивать по одному, чтобы сложить в поленицу, но иные не поддавались — или силенок не хватало, или никак не хотели укладываться друг с дружкой рядом. И дни тоже. И не было особой разницы между тем временем, когда он звался хозяином Почей, и тем, когда гнул спину на колхозных полях. В хозяйские годы он точно так же на работу выходил, и только ночью обнаруживал рядом округлости жены. Вексель давал за векселем, и, когда в сороковых землю национализировали, только и было горя, что утрата почетного хозяйского звания.

Военные годы тоже кое-как прошли. В Почах разместились хозяйственная часть немецкой армии, но ни одному беженцу в крове не отказывали, пока в комнатах Почей оставался хотя бы пятачок для соломенного матраса. С немцами в Почах особо не братались, хотя они одно время притворялись такими понимающими людьми — детей сладостями угощали и на каждом слове приговаривали «*Entschuldigen, sie bitte!*»

А потом ни с того ни с сего взяли и пристрелили придурковатого беженца Екоба. Вытащили за бороду из банки, где богом обиженный обитал, и шлеп — нет больше Екоба. А через минуту стрелок опять кормил детей конфетами и «*Entschuldigen*, Екаб ест *beriht*, а все *feriht* — пиф-паф... Хайль Гитлер!»

Разве мог тогда Криш бороться с немцами? Разве что Екаба ночью в освященной земле похоронить.

После войны кое-кто честил Кришу из Почей кулаком, но в Сибирь его не выслали. Многих увезли, а семейство Пелите оставили в покое. Потом был пушен слух, будто было назначено определенное количество людей из каждой волости для отправки в Сибирь, и пока дошло до Почей, план по вывозу уже выполнили.

Вспоминая все это и глядя на себя как бы со стороны, Кришьянис Пелите подумал, что со стороны он смотрит на какого-то совсем чужого человека, который, в свою очередь, тоже на все смотрит со стороны.

Потом был колхоз. Семейство Пелите одним из первых туда вступило. И не потому, что боялось Сибири и обожало новую власть. За годы войны земля истощилась, а Криш ну никак не мог бросить ее в беде.

Сперва Поч работал в полевой бригаде, потом председатель уговорил его пойти в бригадиры. Криш не хотел в начальники, но уговаривали так лстыиво, так лстыиво: «С бывшим хозяином Почей земля никогда не артачилась, и людям он ни при какой власти не осточертел...»

Ну и ад же это был — людей нет, техники нет, лошадей — и тех не хватало!

Глубже всего впечаталась Кришу в память та сумасшедшая молотья возле самого дома. Работы было невпроворот — клевер еще не в сарае, рожь ложится. Председатель говорит — дам тебе молотилку «Иманта» на три дня, «Беларусь», и чтоб справился! Люди? А их ты, голубчик, хоть из-под земли доставай!

В то лето в Почах понаехали городские родственники. И у соседей тоже дачники бездельничали. Всех заманил на ржаное поле, не говоря уж о собственных сорванцах! Колхозников только и было, что двое на жнейках, сам встал подавальщиком к «Иманте», тракториста с прицепщиком приставил возить зерно. Исцарапанные горожанки вязали снопы, дети ставили их в суслоны, были за кучеров на возах, одну городскую дамочку даже на конные грабли помощницей усадили. И так провел Криш молотью, что ни колоска на поле не оставил.

Все работали за угощение, и то самое — из почского погреба.

А толоки, когда пилили дрова и дранку драли?

Сосед помогал соседу. И хоть бы кто заикнулся насчет рубля старыми деньгами! Ну, выпьют после работы по фляжке водки, но никто не мерил, сколько кубометров кто из толочан напил.

В те тощие годы люди как-то больше держались вместе.

А теперь вот допустили, чтобы сгнил Рудис со своей скотиной.

В новом поселке все вроде и рядышком, как телята в хлеву, а на деле — хуже, чем за тридцать земель.

Взять того же соседского Волдиса. Работает за семерых. Скалит зубы с Доски почета. А как навеселе — женку лупит так, что слушать — и то жалко. Сквозь тонкие стенки каждый чих слышно. А разве Криш с супругой хоть слово драчуну сказали? И бое упаси — в чужую жизнь соваться!

Вот так и прошла вся жизнь — ни во что не совались. Прошли сквозь эту жизнь, сгорбившись и голову опустив, потому что недосуг было голову поднять и людям в глаза посмотреть. Разве что в бригадирские годы...

Оказалось, и остальные сгорбившись ходили, раз допустили, что сгнил Рудис из Саушей вместе со скотиной.

Старуха на днях сказала, что улы Рудиса отвезли на колхозную пасеку.

Так Кришьянис Пелите размышлял целыми днями и ночами.

Задумался о том, что у обоих сыновей — по дому в городишке, по жигуленку-трындычонку. Трудятся, не разгибая спины, света божьего не видя. Какой там свет, они и друг дружку-то, наверно, толком разглядеть не успевают. Старший, правда, той осенью одолжил младшему полтысячи на покупку какой-то музыкальной ерундовины, а расписку со всеми печатями взять не забыл. Так сказать, на всякий пожарный случай...

А потом, как-то ночью, когда жар унялся, когда чуть ли не всю жизнь перебрал, вспоминая, Кришьянис Пелите, вспомнилось минувшее лето.

Ничего этакого не происходило — работали вместе со ста-



РИСУНОК КРИСТИАНА ШИЦА

рухой, откармливали племенных бычков, да ели столовские супчики, которые приносила старуха, оправдываясь отсутствием времени. Да, разболталась в поселке старуха. Да еще этот цветной агрегат по производству физиономий, который сыновья привезли из городишка. А еще...

Да еще эти чудачки, о которых Кришьянис тогда больше всего размышлял.

Как-то субботним утром, идя с фермы, увидело семейство Пелите, что на старом кладбище, посреди которого стоит церковь, а последний раз богослужение в ней было лет двадцать назад, полно молодого и странного народа. Парни бородатые, девичьи полуголые, обихаживают могилы и церковь. Стайка колхозных старушек стоит, рты разинув и крестясь. Один бородач подходит к местным жителям и объявляет, что завтра, после заката, в церкви будет концерт. Все приглашаются, и афиша уже вывешена возле правления колхоза.

Кое-кто из женщин перекрестился и все единодушно решили, что никто в эту церковь не пойдет.

Но вечером следующего дня старшее поколение колхозников стыдливо и крадучись направилось все же к кладбищу. Криш, сказав жене, что сходит к озеру закинуть перемет, сделал немалый крюк и тоже оказался на кладбище, которого было не узнать — сухостой вырублен, прошлогодняя листва убрана, дорожки посыпаны гравием. Зайдя в церковь, где уже было достаточно народу, Кришьянс обнаружил в первом ряду свою благоверную, и непонятно почему, поздоровавшись со старухой, сел рядом.

Да, людей было немало, только никто из колхозной молодежи не пришел. Жена сказала, что прискакала было к церкви компания на мотоциклах, но, узнав, что дискотекой и не пахнет, молодежь укатила в соседний колхоз, в тамошний «сарай культуры».

Горели свечи, церковь была украшена березками, пол усыпан аиром, и пахло Яновой ночью.

Первым говорил маленький, очкастый усач в шейном платочке. Он увлеченно рассказывал, что построена эта церковь в каком-то там допотопном году, что она теперь памятник архитектуры, что во всей Прибалтике второй такой не найти, что на кладбище похоронен ученый с мировым именем, а также родители известной писательницы. Еще он рассказал, что они, приезжие то есть, толочане, что церковь необходимо реставрировать, а после реставрации сделать из нее концертный зал, что их группа в свое свободное время разъезжает по всей респуб-

лике и что очень важно спасти разные памятники, а самое главное — человеческие взаимоотношения.

В ту ночь, вспоминая толоку, Кришьянис больше всего думал, как там было сказано про спасение и про людей. Да, коцерт тоже был, молодежь пела народные песни. Все выглядели трезвыми, и Криш тогда пытался вспомнить, когда же он в последний раз пел на трезвую голову. Разве что на Лиго в колхозе, когда, хлебнув пива, подтягивал прочим, а песенка была про то, что всем нужно отправляться в финскую баню, хотя Пелите за всю свою жизнь ни разу там не парился.

Пока Кришьянис перебирал все это в памяти, на душе у него наступило такое горестное прояснение: «Глянь, как мы сами оставили могилы предков зарастать ольхой. Наверно, и кто-нибудь из рода Почей там погребен. А эти, молодые, к великому нашему стыду, в свое свободное время приехали и все прибрали. Да еще напомнили, что мы-то сами свои народные песни забыли».

И казалось Кришьянису Пелите, что он слышит, как поют толочане, что они прошлым летом куда-то не уехали, а обихаживали не кладбище с церковью, а его самого — бывшего Криша из Почей, теперешнего Кришьяниса Пелите, бывшего хозяина, бригадира, теперешнего телятника и обитателя нового поселка. Да, в те беспамятные годы он был как запертая церковь, как заржавевший колокол, как засорившийся орган...

И с мыслью, что хорошо бы, чтобы все эти толочане были его детьми, Пелите после долгих бессонных суток впервые уснул.

Во сне он увидел себя на старой молотилке, а вокруг стояла та самая молодежь. Только у одного парня было лицо его отца, а у одной девушки — лицо его матери. В прочих Кришьянис опознал своих прадедов. Он искал взглядом сыновей и внуков, но нигде их не замечал. По ступенькам молотилки к нему поднимался усатый очкарик с туеском меда. Чем ближе он был к платформе молотилки, тем больше делался похож на Рудиса из Саушей... Этот усатый очкарик с лицом Рудиса из Саушей протягивал Кришьянису туесок с медом и что-то шептал...

Пелите проснулся от шума за стеной. Жена Волдиса кричала: «Помогите... По-мо-ги-и-и-te-e!»

Перевела ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ

СТО ЛЕТ ЭПОСУ

В отличие от других эпических памятников народов нашей страны — «Манаса», «Давида Сасунского» и т. д. — «Лачплесис» родился не на устах безымянных певцов, а под пером выдающегося латышского национального поэта и вошел в сокровищницу мировой культуры вместе с точной датой своего рождения (1888 год) и с именем своего создателя Андреяса Пумпура.

Свое творение Андрейс Пумпур скромно назвал героической поэмой, но оно сразу заняло место народного эпоса. Спор был решен самой жизнью. Это произошло в ту же историческую эпоху, когда Элиас Леннрот собрал карело-финские руны о древних временах в единую композицию под названием «Калевала» (1835—1848), представив ее как народный эпос, а Фридрих Рейнгольд Крейцвальд создал из эстонских лиро-эпических песен, сказок и преданий эпос «Калевипоэг» (1857—1861).

Появление «Лачплесиса», как и «Калевалы», и «Калевипоэга», было продиктовано самим ходом жизни — историческим процессом общественного пробуждения народов древней Балтии, возникновения в народных низах стремления к героизации исторической биографии предков.

И когда в условиях развивающейся консолидации национального самосознания латышского общества возникла историческая необходимость в героическом повествовании о судьбе народа, эта задача была решена в жанре народного эпоса.

... Легенды о затонувшем замке, в котором хранились оставленные первоначально латышей свитки с записями великих законов человеческого счастья и справедливости, о доброй фее Стабурадзе — дочери Латвии, о сотворении латышской земли — гор, долин, великой реки Даугавы, о зловещих шабашах ведьм, замысливших зло против людей, о фантастическом крае Сунпури, о черте-Вэлне и другие повествования составляющие сюжетную канву «Лачплесиса», тесно связаны со стихией народной художественной фантазии.

Латышская сказка о юноше по прозвищу Лачплесис оплодотворила творческий замысел Пумпура, создавшего образ бесстрашного и самоотвержен-

ного народного героя, который, несмотря на свою сверхчеловеческую, исполинскую силу, погиб в единоборстве с Черным рыцарем, став жертвой предательства коварных изменников.

... Древние латышские мифы, поверья, обычаи, так называемые Яновы песни, а также своеобразная топонимика Латвии (Буртниецкое озеро, Синяя гора, Кангарские горы, река Даугава, скала Стабурагс на берегу Даугавы, Балтийское море) — все это органически вошедшие в повествовательную ткань «Лачплесиса» компоненты составляют фольклорную основу латышского национального эпоса.

В пору рождения «Лачплесиса» устная народная поэзия все еще занимала господствующее положение в словесном искусстве латышского народа. В то же время из недр фольклора уже выростала письменная литература, и на общественную арену один за другим выходили национальные поэты и писатели, знакомые с достижениями мировой культуры. Латышская письменная литература развивалась в одном идейно-художественном русле с устной народной поэзией и была сходна с ней как по языку, так и по своим историческим задачам.

... Многие эпические памятники древней устной поэзии народов нашей страны до сих пор продолжают устное свое бытование, живут на устах народных певцов и исполняются не только во время народных праздников, но и на сценах государственных филармоний. Многие эпосы, такие как «Давид Сасунский», «Гургули» и др., живут одновременно и на страницах письменной литературы. Но и те и другие являются неисчерпаемым кладом, откуда профессиональное искусство черпает образы и мотивы для создания новых произведений литературы, живописи, музыки.

Эта же миссия выпала и на долю эпоса Пумпура. Здесь можно вспомнить такие произведения по мотивам «Лачплесиса», как героикоромантическая драма Райниса «Огонь и ночь», как опера «Огонь и ночь», Яниса Мединьша, как многие замечательные произведения живописи и скульптуры, обогатившие национальную культуру.

А. ПЕТРОСЯН

АНДРЕЙС ПУМПУРС

ЛАЧПЛЕСИС





АНДРЕЙС
ПУМПУРС

Из песни второй.

В землях балтийских в древнее время,
Где льется Даугава в русле узорном,
Где новь под лен и ячмень выжигали, —
В счастье латышский народ жил, в довольстве.
Там, где под брегом пенится Кегум,
Где Румба, в Даугаву шумно впадая,
Ущелья в скалах прогрызла глубоко, —
Высился славных Лиелвардов замок.

В солнечный, яркий день это было,
Когда земле улыбается Зиедон,
Когда, от зимнего сна пробудившись,
Весело звери резвятся на воле.
Юношей, девушек смех, ликование
Утром сливаются с пением птичьим,
Радостью жизни сердца их трепещут
Бурно, привольно в Зиедона пору.

Лиелварды куниг с юношей сыном
В поле гулял, теплым днем утешаясь.
Шел восемнадцатый год его сыну,
Отпрыску древнего славного рода.
И поучал старик молодого,
Как близко боги себя нам являют
В чудесных силах щедрой природы,
В долах, лесах, в небесах и на водах.

Так говоря, потихоньку добрались
Они до опушки тенистого леса.
Уселся старый, усталость почуяв,
На мураве под раскидистым дубом.
Выбежал вдруг медведь из дубравы,
На старца бросился с ревом сердитым.
Поздно уж было тому защищаться,
Смерть свою видел он пред глазами.

Но подбежал к ним юноша быстро,
Отважно он разъяренного зверя
Схватил за челюсти пасти раскрытой
И разорвал его словно козленка.
Видя, какая мощная сила
Таилась в юноше, куниг воскликнул:
«И впрямь ты избранным витязем станешь,
Как про тебя напрогночено было!

Лет восемнадцать с тех пор миновало . . .
К берегу челн одинокий причалил.
Вышел оттуда старец почтенный,
Бережно нес на руках он ребенка.
Юной походкой направился к замку
И мне судьбы объявил повеленье,
Что должен этого мальчика взять я
И воспитать, словно сына родного.

Вайделот был мой гость благодатный.
Сказывал он, что в лесу был им найден
Малютка этот, кормящийся мирно
Грудью молочной медведицы дикой.
Сказывал он, что волей бессмертных
Ребенок станет героем народным,
Чье имя ужас посеет повсюду
Средь супостатов края родного.

«Мощные духи с Запада стали, —
Молвил он, — Перкона власть ненавидя,
Словно сполохи крестопадобные
В небе Востоку грозят . . .
Боги сразятся. Выживут боги!
А наш народ потеряет свободу,
Полягут славные витязи наши
В бранях неравных с врагом чужеземным.

Вайделем бывши, прожил я долго,
У Крива — в Ромовой роще священной.
Много вестей и отрадных и скорбных
Я приносил вождям и народу.
Но не с последней горестной вестью
К тебе пришел я, Лиелварды куниг!
Не приходилось вестей тяжелее
Мне приносить на веку моем долгом.

Но не печалься, славный в народе!
Пройдут столетья, — народ наш проснется
И вновь свободу себе завоюет,
Подвиги предков своих вспоминая.
Судьбы решили: я не увижу
Ярма на шее народа родного.
Садится солнце, меня призывает,
Балтии солнце златое заходит».

Высказав это, он в челн свой уселся
И вдаль умчался вниз по теченью.
В глубоких думах, взволнованный сердцем,
Вслед ему с берега долго глядел я.
Глухо гремел в отдалении Кегум,
И челн швыряли свирепые волны;
Лучи последние солнца померкли,
Скрылись и челн и пловец за стремниной . . .

Канули в вечность быстрые годы,
Свято исполнил я Судеб веленье.
Прекрасным юношей вырос младенец,
Вайделем данный мне. Ты — этот юноша!
Лачплесис будешь ты зваться отныне,
О дне великом сегодняшнем в память,
Когда отца от гибели спас ты,
Когда свершил ты первый свой подвиг.

Конь быстриногий в бранном убранстве
И ратный меч тебе подобают.
Копье и щит, и блестящие шпоры,
И кунью шапку в цветах дам тебе я.
Так снаряженный, в путь отправляйся
К нашему славному Буртниека замку,
К доброму другу лет моих юных,
К старому кунигу в Буртниека замке.

Ты поклонись ему! Ты ему молви,
Что, дескать, Лиелварда ты наследник,
Что ты отцом сюда послан учиться
Разуму в школе премудрости древней.
Буртниека любовно там тебя примет,
Откроет он сундуки пред тобою,
Где наши древние свитки хранятся, —
Вести в них есть о судьбе сокровенной.

Древние свитки правде научат,
Восточных стран расскажут преданья,
Споют про наших латышских героев,
Вечного неба раскроют глубины.
Ты, семилетье там пребывая,
Обогатишь свой разум наукой,
Как войны надо вести, ты узнаешь,
Как побеждать супостата в сраженьях».

Убран, оседлан конь на рассвете
Ржал у ворот высокого замка.
Тяжким мечом опоясался Лачплесис,
Принял свой щит и копье боевое.
Кунбего меха шапку надел он
И, перед старцем, отцом своим, вставши,
Молвил ему: «Да хранят тебя боги!»
Было коротким, сердечным прощанье.

«Лиелвардов племя славно в народе, —
Сыну отец говорил поучая, —
Героями нашими прадеды были,
Никто о них слова дурного не скажет.
Лачплесис, сын мой, эту же участь
Вершитель судеб тебе уготовил.
К великой цели стремись неуклонно,
Боги тебя охранят и поддержат.

Мира соблазны юношей губят,
Но сами они в том бывают повинны:
Живи не так, чтоб тебя поучали,
А чтоб ходили к тебе за советом.
Ведать всю правду — трудное дело,
Но высказать правду еще труднее.
Кто эти трудности преодолет —
Всех выше будет великой душою.

Чти неизменно обычай народа,
Храни ревниво отцовскую веру.
Лести лжецов коварных не слушай,
Помни — они ненавидят свободу.
Только корысти низкой алкая,
С именем бога в устах выбирают
Жертву они, — приблизятся тайно
И адским зельем смертельно отравят.

В вольной отчизне вольный народ наш
Досель владык наследных не знает;
В пору войны вождей выбирает,
Мудрых старейшин — в мирное время,
Лучших венчая этою честью.
Кто заслужил уваженья народа.
Твердых мужей народ выбирает,
Славу поет им в песнях прекрасных».

Выслушал молча Лачплесис старца,
От этих слов вдохновенно сердечных
Мужеством сердце его наполнилось.
Чуял: растут в нем дивные силы,
Обнял отца, пожал ему руку,
Блюсти поклялся отцовы заветы.
Прыгнул в седло он, шапку приподнял,
Щитом помахал отцу и умчался.

Звери да птицы в старину умели
Говорить по нашему; сошлись, зашумели,
По приказу Перкона все собрались в стаи —
Даугаву великую рыть вместе стали.
Лапами копали, клювами клевали,
Рылами рвали, клыками ковыряли.
Только пава не копала, на горе сидела.
И спросил у паву черт, бродивший без дела:
«Где же остальные звери-птицы пропадают!»
«Птицы все и звери Даугаву копают».
«А чего ж тебе идти копать не хочется?»
«Да боюсь — сапожки желтые замочатся».
Столковались Черт и пава и под Даугавой прямо
Стали рыть и вырыли бездонную яму.
А как воды Даугавы в яму покатались,
Звери с перепугу говорить разучились,
Стали разбегаться, начали бодаться,
И кусаться, и лягаться в свалке, и клеваться.
Кони ржали, кошки жалобно мяукали,
Каркали вороны, совы гукали,
Волки и собаки выли, а волы мычали,
Свиньи хрюкали, визжали, медведи рычали.
Филины ухали, кукушки куковали,
Мелкие птахи песни распевали!
Поглядел на землю Перкон в изумленье,
Видит суматоху, драку и смятенье.
Он ударил черта громовой стрелою,
Даугаву заставил течь стороною.
Яму окружил крутыми берегами,
А павлин с тех пор гуляет с черными ногами.
Люди этой местности до сих пор чураются,
Ночью там виденья путникам являются.
Расплодилось нечисть разная в пучине,
Ямой Чертовой зовется местность та донине.

ЛАЧПЛЕСИС

В Риме старом, вечном Риме,
Где святой отец живет,
Войско рыцарей сзывали
Для похода в Балтию.
Балтию Марии-деве
Посулил отец святой,
Кровопийцам и убийцам
Дал он отпущение
Всех грехов; чтоб к правой вере
Обратить могли они
Балтии народ несчастный,
Гибнущий в язычестве.
Им на новые убийства
Дал благословение,
Строить каменные замки
Он велел им в Балтии.
Много всяческого сброду
На призыв откликнулось,
Много нищей, безземельной,
Хищной рвани рыцарской,
Всюду ужас наводящей,
По дорогам грабящей.

Сам святой отец сегодня
Принял войско рыцарей,
Полководцев им назначил,
Дал своих епископов.
Под конец отцу святому
Двух людей представили.
Это Дитрих был и Каупо,
Что пришли из Балтии.
К целованью туфли папа
Допустил паломников,
Через толмачей любезно
С Каупо он беседовал.
Спрашивал его о нравах
И о людях Балтии,
Захотят ли христианства
Благодать принять они.
«Люди нашей веры — братья
Меж собой! — он сказывал. —
Так и новообращенным
Братьям предоставлено
Будет, наравне со всеми,
Пользование благами
И щедротами земными,
Что увидел в Риме ты
И в других местах обширной
Западной империи.
Но все эти блага мира —
Прах, пустяк, ничтожество
Пред блаженством, после смерти
Верных ожидающим! . . .»

Каупо и на самом деле
Ослеплен был сказочным
Блеском и великолепьем,
В Риме им увиденным.
Слабыми ему казаться
Стали боги прадедов
Пред могучим, щедро льющим
Миру счастье господом.
И душой пред чуждым блеском
Славный лив не выстоял.
С племенем своим креститься
Дал он обещание.
И святой отец за это
Щедро одарил его;
Милостиво князя ливов

Посвятил он в рыцари;
И к себе его приблизил —
В свиту знати избранной.
Наконец отца святого
Выслушав напутствие,
Рыцарское ополчение
В край балтийский двинулось.
Юношей, что в Рим с собою
Вывез Каупо-вирсайтис,
По монастырям монахам
В обучение отдали,
Был меж ними — ставший позже
Знаменитым — Индрикис.

Зиедон вновь пришел. Оделись
Горы, доли зелья зеленью.
Бурно ожила природа,
Славя бога щедрого.
Но с природой не делили
Люди ликования,
Не видали, не слышали,
Как цветет, шумит земля.
Их желания иные
И иные страсти жгли:
Обирать народ несчастный,
Праздно жить и пьянствовать.

Там где Ридзиня впадала
В Даугаву, там тьмы людей
Рыли, сваи забивали,
Новый город строили,
Окружали крепким валом.
Посредине каменный
Встал собор, покрытый круглым
И тяжелым куполом.
Был у Ридзини возникший
Город назван Ригою.
Под броней с соборных черных
Стен епископ Альберт там
Властвовал. Попов с войсками
Рассылал оттуда он.
Убивать, крестить и грабить
Начали в стране они.
Замок Икшкеле и замок
Саласпилс построили.
Ужасом объята были
Жители окрестные.
Люди поняли, да поздно,
Что они обмануты,
И оплотом стала Рига
Чужаков и хищников.
Не тогда ль о ней сложили
Песню эту горькую:
«Рига, сколько ты убила
Наших юных сыновей!
Рига, сколько породила
Ты рыданий, стонов, слез!
Рига, сколько отравила
Ты зеленых наших нив!
Рига, сколько ты спалила
Наших гумен и домов!
Рига, сколько осушила
Бочек нашей браги ты!
Рига, сколько истребила
Ты богатства нашего!
Рига, сколько погубила
Ты народу нашего!
Так скажи: чего же больше
Пожелать могла бы ты!»

Перевод М. ДЕРЖАВИНА

МИХАИЛ ЭДИДОВИЧ

— Господи, помоги вам,
ходите по могилам . . .

Нет на бульдозере креста.
Есть, крест свалился на бульдозер.
Отмстил ему, почивший в бозе.
Второй — воздвигнулся в кустах.
Бульдозерист дал задний, но
уперся в дерево и дрогнул:
покойник заступил дорогу,
скребнул кабинное окно.
— А ну, дай мне! — и бригадир,
ярься, рванул, как ворот, дверцу —
сограждане с «собачьим сердцем»
не верят в ирреальный мир.
Крест хрястко рухнул на горбыль,
поддался тросу, взятый волоком.
Горисполкомовскую «Волгу»
запорошила густо пыль.
Парк разбивали третий год.
Могилы разбирали в сумерках.
Чтоб те, в ком стыд еще не умер,
не баламутили народ.
Потом доказывай верхам
что всё по плану и пристойно.
Ах, как с землей во время оно
не токмо склеп ровняли — Храм! . . .
А тут — останки буржуа.
Потомки — в швейцариях и штатах.
Мир праху?
Парк при мини тратах!
И прах белесый на лопатах
летит, кружа . . .
Спасли студенты «Англетер?»
Постфактум их признали правыми.
Но сколько правых стали травами
в степях и тундрах СССР . . .
Поставив города, зальем
асфальтом колышки над ними
или вернем безвинным имя,
чтоб память не взялась быльем . . .
Барон и пахарь, наш — не наш,
землей став, равно беззащитны.
Отвал бульдозера, вскрыв плиты,
на новый заходил вираж.
И школяры — урок труда —
тащили смятому ограду,
стаханили, седьмую кряду,
в труде не виделось вреда.
А в чём? И почему молчком
учитель их шел мимо мэра
в часовню? Покачнулась вера?
Мэр был его учеником.
И если б не боялся впасть
в сентиментальность, то услышал
догнав, как тот зовет всевышнего,
но мэра присушила власть,
не впал . . . И старый педагог,
безбожник, обтерев распятыя,
просил у неба (что?!) — некстати
бульдозерист подвел итог,
всадив отвал часовне в бок.

Чайки взмывают — полет их высок.
Ложатся на ветер и божьи коровки.
Коровки в полете ужасно неловки
и падают сотнями сотен в песок.
Но тысячи тысяч с придюнной травы
отчаянно пробуют крепнущий ветер.
Наползались досыта — хватит и детям.
Успеть налетаться бы — божьи правы.
Хотелось и смелось из грязи в князья.
Но вышло — высокими делает дело.
И если уж божьим коровкам приспело,
то нам и подавно промедлить нельзя.

Григорию Кановичу

Над сизой прутьикой изгойного куста
раскосый ветер листья судит.
Читаем, словно Книгу Судеб,
скупую накопись офортного листа.
И взгляд, подсвеченный нездешней глубиной,
вспять обращается игольно.
И оба ежимся невольню,
уже догадываясь, что тому виной.
Не зря художник Гутман тенью даль означив,
над медной плашкой ворожа,
возвысил стену гаража
до той, единственной, стены Молитв и Плача.

В семь лет

Убитожил ножницами проклятую курчавость,
но одноклассники все равно таскали меня за волосы.
В девять упросил отца,
стыдясь его картавости,
не заходить в школу,
но меня с упоением дразнили: кукуррруза . . .
В тринадцать переправил в отчестве «и» на «ы»,
но меня уже прочно окрестили Давидкой.
В пятнадцать избили,
как единоверца еврейских врачей-отравителей —
стало быть, и я — жертва культа.
В девятнадцать из Прибалтики махнул на Чукотку,
придумал себе национальность «снеговосточник».
Но мне и в снегах напомнили, кто я.
В тридцать — вернулся.
Похоронил отца.
Сдал, как макулатуру, собранные еще дедом книги.
Читать на родном не умею до сегодня.
Мне за сорок.
Будет ли внучка просить меня
не заходить за ней в школу . . .

РАССКАЗ О ТОМ, КАК В ДОМ ПРИШЛИ РАЗРУШИТЕЛИ

В дверь постучали. На пороге стояли двое: толстый и тонкий. Они выглядели усталыми, но бодрились, смотрели приветливо. Минуту молчали. Потом толстый заговорил быстро, вежливо приподняв шляпу.

— Вы, конечно, знаете, кто мы.

— Да, — вздохнул хозяин. — Я понимаю. Ну и ничего. Должно же было это когда-нибудь случиться.

И пригласил их войти.

Вошли в комнату. Толстый поспешил нарушить неловкое молчание.

— Сегодня было так много работы, — пожаловался он. — Но теперь, пока мы еще не принялись, нельзя ли нам по кружечке чаю?

— Крепкого, — вставил второй. — И с коньяком. Мы понимаем все ваши огорчения. Но коньяка ведь не жалко. Все равно ничего этого теперь больше не будет. А какая хорошая у вас квартира!

Они пили долго и с наслаждением, внимательно пробуя на языке каждый глоток. Им нравилась красивая посуда.

— Как хорошо! — сказал толстый, бережно вертя в руках теплую большую чашку из дорогого фарфора. — Какая прелесть!

Чашка, отливая красным, пузатая, блестела на ладони.

— Мы начнем? — скромно обратился толстяк к хозяину. — Можно!

Тактично выждав, пока хозяин согласно кивнул, он надавил на чашку осторожно холеными мясистыми пальцами. Потом сильно щелкнул ногтем. Что-то хрустнуло.

— А вот и хрусталь, — сообщил его напарник. Он как раз держал в руках большую вазу, изумительно стройную и тонкой работы.

— Я ее, пожалуй, об стол. Попробую. Он тонкий, полированный.

И сильно ударил по блестящей доске. Брызнули стекла. Обломок стекла сверкал на свету каждой гранью. Тонкий зажмурил глаза и зашвырнул его сразмаху в зеркальный бар с бокалами и рюмками. Зеркала посыпались и зазвенели. Тонкий взял со стола горчицу и, вооружившись кисточкой, теперь мазал ею обои. Он не пытался ничего рисовать, просто мазал медленно и старательно.

Толстый, встав на стул, снял со стены картину. Примерился, чтобы нарисовать кому-то рога. Картина ему нравилась. Он осторожно поворачивал ее в руках, ласково погладил раму.

— Тициан, — сказал из другого угла длинный. — Кажется, подлинник. Чувствуется рука мастера.

— Именно. Тициан, — с тоской подтвердил хозяин. — Ранний.

Толстяк кивнул с пониманием и принялся соскабливать крылышки с голого малыша. Лицо его светилось радостью — чувствовалось, что он по-настоящему горд своей работой. Затем внезапно в порыве вдохновения он вдруг подскочил и сразмаху посадил картину на голову хозяина.

— Тициан. Ранний, — сказал хозяин. И отер одеколоном расцарапанный нос.

— Извините, — обернулся длинный, работая с паяльной лампой над остатками картины.

— Порядок! — объявил он через минуту, довольный, и

опустил остатки холста в блюдо с какой-то едой. — Разрушил. А еще я здесь где-то видел аквариум. Ей-богу, видел. Мне всегда так нравятся золотые рыбки. Они такие холодные и маленькие.

Толстяк не отозвался. Он стоял молча у окна и размышлял. Он рассматривал стекло, где зияла огромная почти что круглая дыра. Как в теле — рваная рана.

— А здорово, правда! Как я его разбил! Хорошо я его разбил! Тебе нравится!

У стены царил рабочий беспорядок. Там стоял секретер, стол с бумагами, карандаши. Толстяк подошел, полистал книгу.

— Как много бумаг! И на всех что-то написано. Это для вас очень важно, да! Вы ведь очень заняты своей работой.

Толстяк собрал все книги, сложил аккуратной стопочкой, большие и маленькие — все вместе, потом вынул из пухлой папки наудачу один лист с какими-то длинными записями, внимательно осмотрел, чиркнул спичкой.

— Мне всегда хотелось забыть здесь бумагу. Вот так случайно забыть — и все.

Из кладовой донесся радостный победный клич. Там хозяйничал длинный.

— Ты только погляди! Этакое чудо я здесь нашел. Здоровенный бочонок красного вина. И — какое! — он облизывал смоченные густой темной жидкостью пальцы. — Какая-то редкость. Правда, хозяин! — весело поинтересовался он.

Хозяин промолчал. Губы его вздрогнули, он всхлипнул и отвернулся.

— Редкое! Берег для шефа...

И заплакал. Звучно так, громко, бесстыдно совсем. Как никогда в жизни. Длинный в это время катил к окну, как бочку, стиральную машину.

— Ты чего, — участливо спросил он.

— Ничего... — ответил сквозь слезы хозяин.

— В каком смысле! — поинтересовался длинный, сбрасывая машину через перила балкона.

— Только в одном... Вы здесь не видели большого ангорского кота? Мой любимец. Ему шесть лет, и его зовут Вадик.

— Он здесь, — объяснил длинный, указывая на летящий вниз белый цилиндр. — А в стене я пробил дыру. И пианино... Уже... Вон видите — там... Разрушил...

— Я это для тебя, — сказал толстый доверительно. Он только что вышел из кухни, где поработал на славу. — Специально берег. Гляди, какой красивый...

На его пухлой ладони молодо сверкал хрустальный стакан.

— Понимаешь, — будто оправдывался он. — Я бы мог... Я бы славно разрушил его и сам. Это, в конце концов, наша работа, и мы не должны перепоручать ее никому. Мне и хотелось. Да еще и сейчас хочется... Но я тебе... Берег... Чтобы не было обидно. А что не умеешь — ничего. Профессиональный навык приходит быстро. Это же так просто. Мы тебя живо научим.

В другой руке у него был зажат камень. Он приветливо протянул ладонь.

— Вот! Возьми...

Хозяин взял камень, зажмурился, как по команде в сердцах поставил стакан на пол, размахнулся и... Потом он взял другой стакан.

— Спокойнее, — посоветовали ему двое, — работа спешки не любит. Не суетись. И смотри на то, что делаешь. Береги силы: мы тебе всю кухню оставили. Учти, что это очень тяжело. Ты быстро устанешь.

Хозяин медленно бил стаканы. По одному. С каждым разом это у него получалось все увереннее. Глаза его блестели странно и дико, и немножко это было похоже на радость.

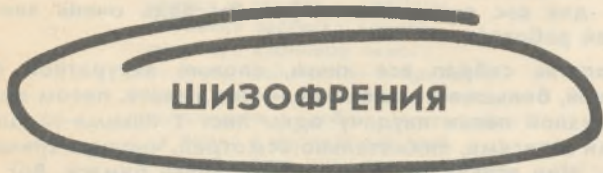
— Пойдем, — сказал толстый, мягко улыбувшись. Двое шли по холодной мостовой. Заходило солнце. Лучи его, спускаясь, тоже шли по шоссе, шли вместе с ними.

— А под конец, — сказал длинный, — мне стало казаться, что ему уже нравится. Да! По-моему, он под конец понял...

Они пошли по лучу. Две маленькие фигурки поднялись и исчезли за облаками. Под ними остался большой красного кирпича дом, где по-прежнему не умолкал звон. Там, в квартире, не переставая, в поте лица трудился с булыжником в руках хозяин.

— Нам повезло сегодня. Было приятно работать. Квартира была такая хорошая. И хозяин попался — ничего... Веселый. Такого легко научить.

— И все-таки, хорошая у нас работа, правда!



ШИЗОФРЕНИЯ

Она не знала, что такое стыдливость. Она умела бесшумно пролезать между стульями и целовалась с вещами. Ее никто не укорял. Когда ей в рот набивался пух от кресел, она жевала его, потом заедала какой-то жидкостью из плевательницы. А больше всего она любила, раздевшись, скользить спиной по прохладному полу у всех на виду. Это было не страшно, потому что ее все равно никто не замечал.

Однажды она слышала, как человек сказал:

— Это все гадость, гадость...

Он не сумел ничего объяснить и не пытался, но она все равно поняла. Так поняла, что для того, чтобы не закричать, она раздражала себе соски грудью руками. Человек сказал еще что-то про мелкую чувственность, но это было уже не то, совсем не то, и она поняла и это, и тогда она поднялась из-под стульев и начала ползть между шкафами, люстрами и шкафчиками. Но ее все равно никто не замечал.

Однажды была дождливая погода, и она заметалась по дому в тоске, а потом разбила форточку и вылетела на улицу. Люди сказали, что в окно попал камень. Она влетала во влажные облака, гладила их руками, и ей было хорошо, а потом спускалась вниз и смотрела на людей, выбирала из них одного, потом присаживалась к нему на плечо, потом шла за ним шаг в шаг и смотрела жадно, потом слышала его мысли и чувства, запахи, скрип его ботинок, словом, все до движения самой мелкой голубенькой илочки, потом стелилась ему под ноги, а потом хватала его за руки, выходила ему навстречу, и улыбалась, и заглядывала ему в лицо умоляюще, и человек замедлял шаг, шептала ему на ухо нежные слова и даже начинала расстегивать на себе кофточку, но человек не мог понять. Ему только становилось от чего-то на мгновение не по себе, он вздрагивал, мрачнел, но уверенно шел дальше, проводя рукой по рукаву, стряхивал с себя минутное оцепенение, щурился, думал: «Что же это такое со мной! Только бы не заметили...» Как будто ему на рукав села муха. А она валялась перед ним, трогала его колени. Прохожий считал, что мерещится. Или просто ему под ноги попала кошка. Он не останавливался никогда.

Люди шли спокойные и веселые, общительные, говорили друг с другом, смеялись. Иногда кто-нибудь спрашивал у других: «А вы ничего такого не замечали!» Но нет, Ее никто не замечал.

Тогда она вернулась домой. Она обжила квартиру и превратила ее в образцовый порядок. От нее оставался повсюду пресный запах мыла и свежестырированных мужских кальсон. Человек возвращался домой и говорил: «Батюшки свет!» А потом ложился спать и включал свет. Она оставалась одна. Она любила его. Она пробиравалась к его кровати и слушала его дыхание, гладила его волосы, а потом забиралась к нему под одеяло, сбрасывала юбку и замирала, свернувшись котенком у него на груди. Он запрокидывал голову и плакал во сне. А потом вставал с руганью, чертыхался, сбрасывал одеяло и бежал в ванную, чтобы подставить голову под холодный душ. Потом натягивал брюки. Однажды, решившись окончательно, она отбросила всякий стыд (а она никогда не знала стыда), пришла и стала в дверях, выпрямившись во весь рост, такая, как она есть. Ей даже захотелось закричать во весь голос: «Вот я какая!» — но, во-первых, она не могла (не умела) говорить, а во-вторых, ее голос был бы наверняка заглушен простым шумом радиоприемника за стеной. Там передавали «Битлз». Своим излюбленным (коронным) жестом она начала уже расстегивать кофточку (кофточки на ней не было, потому что она была абсолютно нага), но вдруг увидела, что человек как-то странно реагирует. У него изменилось выражение лица, он привстал на кровати, потом вскочил и бросился к ней. Она сразу, смутившись, выбежала, раскрасневшаяся, а человек принялся искать ее по всему дому. Про себя она решила, что когда-нибудь непременно отдастся ему. И это, конечно же, будет интересное, захватывающее ощущение. Тем более для нее интересно, потому что она ни разу еще не принадлежала ни одному мужчине. Но это когда-нибудь в другой раз. А в тот раз он нигде ее не нашел, хотя осмотрел весь дом очень тщательно. Просто не заметил. Потому что ее никто никогда не замечал.

Мужчина теперь все дни слонялся по дому за несуществующей девушкой. А она по-прежнему наводила во всем тщательный несомненный порядок. Она перебрала все его вещи. Ей нравился их вид, запах. Особенное внимание она обращала на пуговицы. Она их даже пробовала на вкус: клала под язык и основательно до блеска обсасывала. Ходила вечерами и ночами. И мужчина ходил, мрачный и злой. Все время плевался, бил фарфор и искал несуществующую девушку. Но не находил. Потому что ее вообще не замечали люди: никогда и никто.

А у человека хуже пошли дела на работе. Он долго болел, и к нему приходил доктор. Спрашивал, успокаивал, говорил чужими длинными фразами, странным непонятным языком. Мужчина отвечал, что ему совсем плохо, и он не знает, что с ним, и наплевать ему на все, и он умоляет помочь ему. А потом мужчина умер. И она осталась на целый день с ним дома одна. Делала все, что хотела. На следующий день труп уже стал пахнуть, а она обошла еще раз дом, разбила все зеркала и плакала. Люди пришли, и она стала плакать еще больше. Выла и визжала отчаянно, во всю мочь. Будто нарочно хотела, чтоб услышали. Ей было больно оттого, что ее никто никогда не замечал.

«Очень хочется любви,» — сказала она, когда люди ушли. У нее не было никакого имени. Она ползала по полу на карачках, как хотела. И съела все в холодильнике. Пила нашатырный спирт, уксус, крем «Прохлада», различные лосьоны для притираний, вина, деликатесы. Снова ползала по полу и кричала. Она научилась кричать хриплым голосом, и люди, проходящие мимо, часто жаловались, что в доме живет призрак.

А потом она забеременела от ножки роаяля. И у нее родился маленький крокодилчик. Она не была с ним достаточно ласкова и не была достаточно осторожна, потому

однажды поднесла его слишком близко к губам, чтобы поцеловать, а он впился ей в глаз. Она выругалась матом, вцепилась в него обеими руками и умерла. Она лежала на полу, юбка разодрана, а изо рта струйкой бежала розовая слизь, и вообще, выглядело все чрезвычайно непристойно. Как хорошо, что даже когда в дом снова вселились люди, они ничего этого не заметили. И ее не заметили. Ее вообще никто никогда не замечал.

ИСТОРИЯ

про одно доброе, но очень беззащитное божество, и про то, как все с ним плохо кончилось

Взвод уходил. Лошади вяло, но тяжело ступали в пыль, взбивая из нее серое облако и шевеля серыми задами. Громко выли какие-то женщины, а по деревне шныряли босоногие дети, кто-то волочил за конем на веревке страшное мертвое тело, а эхо еще, казалось, хранило память про все те выстрелы, что звучали здесь так недавно, и тоскливые смертные крики.

На самом краю деревни, где, зарывшись по голову в песок, кренилась под ветром чья-то хижина, красноармейцы нашли сухонького щуплого старичка. Он стоял возле дороги, голыми коленями уткнувшись в пыль, и смотрел вверх, а руки воздел к небу. Когда лошади подошли, он вдруг наклонил голову и резко заползал по земле, выбрался на дорогу и, разведя руками, загородил ее.

— Ну, — сказал комиссар. Говорить он не хотел и посмотрел на старика долгим взглядом.

— Мне ничего не нужно, — объяснил тот, сильно коверкая слова. Голос звучал скрипуче и немного визгливо. — Я хочу не для себя. Для стариков, Максумов, прошу тебя. Там у тебя, я знаю, — он указал на серый полотняный мешок, болтавшийся на боку у лошади, — я знаю, там черный шар. Дай его мне.

— А, — хмуро припомнил комиссар. — Пустяки. Сейчас есть много других дел кроме черного шара. Вокруг развал и до полного упадка доведено народное хозяйство. Басмачи, гады, что ни день не дают покоя. Ты взгляни — все мои люди едва одеты. И ребятишки, вон, босиком бегают. Мы знаем, как тебе тяжело. Но шар все же сдадим в музей как вещь редкую и культурную ценность.

— Ты — чужой, — с сомнением покачал головой старик. — Что ты можешь понять про наших людей. Вчера один твой человек хотел задира́ть девушкам паранджу. Это стыдно.

— Я, — холодно повернулся к нему Максумов, — понимаю нужды и чаяния трудового народа. Великого и непобедимого рабочего класса. Я сам из него. Но такие как ты — несознательные нытики и оппортунисты. Они мешают нам жить и портят картину. Ну, пусть, ну, с девушками в этот раз переборщили. Поспешили. Красноармеец Пентюхов уже предупрежден и скоро получит свое заслуженное взыскание. Но мы будем учить. И беспощадно бороться с этими вашими культу́ми, духовным засто́ем и массовыми религиозными предрассудками.

— О, — возразил старик. — Это не простой шар, а дом. В нем живет бог Онну. Иногда мы вынимаем шар из мешка, и тогда бог говорит с нами. Но тебе он не сказал ничего, потому что ты не знаешь нашего языка и не понимаешь, когда я говорю тебе про нашего бога.

— О! — размечтался он снова, ерзая по песку на коленях. — Если на окне стоит черный шар, то кажется, что там всегда солнце. Даже когда ночь. И тогда к нему собираются все старики. Они просто сидят и смотрят, и у каждого так тепло и хорошо на душе. Все как будто вместе. Если человеку плохо живется, он беден, зол, его никто не любит, то заглянув в шар, он может

увидеть всю только хорошую жизнь, которой заслуживает, вкусную еду и напитки, если только воображит, а если же ему хорошо и он возгордился, забыл про людей и о долге, то плохую. Когда шар узнает человека, он его любит. И тогда он становится светлым и веселым, прозрачным и белым, как стекло.

— Ты, — привстал в седле комиссар, — стар уже и ничего не понимаешь. Тебе мешает разлагающее влияние религии, с которым ты никак не можешь совладать. Тебе, я скажу, рано или поздно придется уйти прочь с дороги истории. Уйди, я прошу тебя, не держи коня! А ну!

— Максумов, — вздрогнул старик. — Мы сообща уже все решили. Мы дадим тебе золото. Много золота, все, что у нас есть. А мы знаем давно про старинные клады. Там лежат золотые монеты в больших кувшинах. Хватит на всех. И тебе, и твоим людям, у которых нет бога. А нам нужен наш бог. Только один черный шар. Отдай нам его, мы все его очень любим.

— Нет, — усмехнулся комиссар, — не надо мне твоего золота. Меня теперь не купишь, потому что я для себя уже все понял, и дороже всего мне теперь мировая революция. Чтобы все были сытые и грамотные и смотрели на этот шар вот так, как я. Как на печальное наследие прошлого и спешили бы от него избавиться. Если же ты сознательный, то должен сам пойти в город и там добровольно отдать все свое золото. Оно тогда пойдет на большое и всем нам нужное дело. Но как же ты не поймешь этого всего! Ох, старик, — мечтательно вздохнул комиссар. — Надо бы тебе учиться. Я и сам уже давно мечтаю о том времени, когда буду много знать. Пока же я емен и совершенно безграмотен. А шар — вот он, — и он показал, взвесив на вытянутой ладони, черный смоляной сгусток. Под солнцем шар сиял, раздувая бока, весело и довольно вертелся, ярко светился изнутри красным, будто горячий уголь. Чудная штука!

— Дай же, — отчаянно заголосил старик, внезапно вскочив на комиссарову лошадь да так, что комиссар поспешно отдернул руку, — отдай мне его! — он всадник отбросил его властным движением руки, он шлепнулся на колени и заскулил опять. — Максумов! . . Шар говорит старикам, как жить, наделяет нас мудростью, которой мы будем лишены без него по сравнению с молодыми, а когда надо, то шар утешает и советует целебные травы. Он — один из нас, но только умнее и лучше. Он хороший, хоть и из камня. Бог Онну сидит в нем, и мы без него не можем, не можем совсем. Это такой добрый и маленький и очень беззащитный бог.

— Довольно, — сердито оборвал его комиссар. — Взгляни лучше сюда. И я тебе покажу, что его нет, твоего бога. Вот я беру твой любимый шар. Посмотри, что я с ним сделаю.

Он подбросил на руке матовый темный кусок стекла, схватил от пояса маузер и выпалил в него, почти не целясь. В воздухе брызнули осколки, и шар растаял, облако тяжелой пыли осело вместо него на землю.

— Ну вот, — облегченно вздохнул комиссар, тронув коня. — Вот и все. Нет больше никакого шара и никакого бога. Не люблю богов. И не стоит плакать и принимать так близко к сердцу. Пойми и меня . . .

Старик закачался, закашлялся и стал медленно оседать на песок в лужу из золотистых зеленых осколков. Так, как будто это в него попала пуля. Было похоже, что внутри у него сломалась какая-то большая важная деталь.

Кони пошли. Взвод двинулся, оставляя за собой пыль. А еще — запах крови и лошадиного пота. Кое-где лежали на песке мертвые тела гадов-басмачей, сразмаху разрезанные напополам шашкой.

А в середине блестящего зеленого пятна позади где-то далеко на дороге остался старик. И пока взвод был виден вдали, да и потом еще долго он сидел там на голых коленях и плакал.

Ш²

(ШИНКАРЕВ И ШАРАПОВ)

- Не будем мы сегодня пить.
- Как, Максим, совсем ничего не будем?
- Совсем, Федор.
- И завтра?

Владимир Шинкарев «Максим и Федор»

Ложку окуну в вымысел, откушу кусок, закушу правдой.

Игорь Шарапов «Рассказы о нечисти и ее повадках»

Благая весть о Митьках слетела-поднялась из недр андерграунда-котелен, в которых более десяти лет настаивался культурный бульон ленинградской люмпининтеллигенции, именно как весть, обросшая по пути множеством слухов и кривотолков. Авторство — право на индивидуальную трактовку жизни — было сразу отторгнуто и забыто, так что «Митьки», если их создатель и вспоминался, были Митьками «от Шинкарева», но — не более того. Причин возникновения столь странного явления можно найти несколько. Но выступающие на первый план — мифологизация реальных персонажей одной из питерских тусовок, превращение их в героев художественного произведения — как раз не главные. Все дело в самом способе превращения, при котором, волей или неволей автора, существование митьков предстало житием, их деятельность — практикой провозвестников и воплощений нового мироощущения, а читатель замистицифицировался до такой степени, что текст Шинкарева как литературу не воспринимал, считая его сводкой с места событий.

Не знаю, как жили митьки до канонизации, но то, что после начали жить по писаному, точно. Да и не в них суть (хотя, конечно, только ленивый Митька не обижает). Даже не в победе искусства, заставившего действительность подчиниться своему закону. Суть в типе литературы, которая сформировалась и получила название «новой».

Она прикидывается чем угодно, только не литературой. Упаси бог, не литературой. Научным трактатом, расшифровкой магнитофонных или видеозаписей — пожалуйста. Она бежит от сложившихся жанровых структур, как стремится выскользнуть из размеченного социального пространства. Она столбит участки, на которые еще не ступала писательская нога.

Подобно митькам, она обитает там, где жесткость социума дает брешь, где возникают=создаются зоны неструктурированных общественных отношений. Митькообразно она парит над бытом аки ангел=снует под ним с деловитой уверенностью тролля. Она смешивает жанры примерно так же, как остроумный митёк готовит еду впрок на три месяца.

Единое повествование в «новой» литературе [будь то «Митьки», «Максим и Федор», «Папуас из Гондураса» Шинкарева или «Рассказы о нечисти и ее повадках» Шарапова] то и дело рассыпается на анекдоты, байки, притчи. И не напрасно. Притча — форма косвенного языка, того, что и вне, и под, и над речью. [В отличие от беллетристики — формы красноречия.] Новая литература — не беллетристика, хотя с успехом пользуется всеми наработанными ей приемами. Она пугает и притягивает «заниженностью» языка, ломающего привычные формы красноречия, выпутываясь, вырываясь из стилистических=социальных догм, потерявших семантическую наполненность. Она создает новый грязный стиль, не чурается ни верха, ни низа, но и не обожествляет их, а скрещивает между собой, образуя то, что Шарапов определил как насущную необходимость: «Для меня это достаточно серьезная проблема, как приготовить для меню мешанину, этакий компот из ерунды пополам с научной строгостью».

Тот же компот готовит и Шинкарев, только цели у него иные и в большей степени программно направленные. Если пользоваться определением Б. Юхананова, разделившим искусство на «старых старых», «новых новых», «новых старых» и «старых новых», то Шинкарев принадлежит к тем «старым новым», кто отвоевывал пространство, меняя героя, разбирался с традицией, больше тяготел к концепции, поскольку создавал

вокруг себя новую зону, придумывал и конструировал жизнь. В «Митьках» Шинкарев структурно отрефлексовал язык и идеологию, в «Максиме и Федоре» — традицию и героя, в «Папуасе из Гондураса» — маскульта в виде телесериалов. Распространение митьковства с легкой руки автора и было связано с художественными установками, имеющими характер идеологем. Шинкарев оформил речения митьков в язык, внятный посвященным и символический. Он дал им словарь, многосмысленность, полисемантическую возрастала в обратной геометрической прогрессии общему количеству слов, подводя к пределу информативного наполнения двух основополагающих текстов («Дык» и «Елы-палы»). Слово митька начало выступать именно как текст, автоматически дешифруемый и видоизменяющийся в процессе коммуникации, т. е. развернутый во времени, в пространстве же свернутый знак-символ, «гиероглиф-тайнственный», содержащий в себе основное знание о мире, которой при наличии нескольких сопровождающих уточнений=комбинаций (около 20) и охватывает все сферы жизнедеятельности митька. Тэк-с. Ну, тут еще атрибутированное, регламентированное, ритуализованное, но не мотивированное принятой логикой поведение=общение митька, форма одежды, вибрирующей весь универсум социалистического общежития, осознание себя оным как народного героя, национального типа, мифологического персонажа, который, собственно, и не существует вовсе.

Во всем этом много иронии, еще больше игры. Что не удивительно. Удивительно, сколько здесь наивного простодушия или простодушной наивности (не неопита от литературы — литературой и своей, и чужой, Шинкарев владеет мастерски) сугубо личного свойства. Автор свято уверен, что просветлится, например,

можно неоднократно и с высокой частотностью. Его герои только и делают, что пьют и просветляются, просветляются и пьют. Причем пьянство их лукаво-литературное — только и виду, что заглатывают портвейн, как герой Вен. Ерофеева «Москва—Петушки», который все пьет да пьет, а разумом все трезвеет и трезвеет, — их родной отец, от которого митьки родились. (Они, быть может, были теми сладкоголовыми ангелами, которых, за постоянное Венечке потакательство, сослали на землю, и они, приняв имя митьков, теперь горе мыкают и по примеру Венечки портвейном его заливают.) Ни одного всерьез пьяного митька в литературе не найдешь. Это автор все настаивает — пьют, мол. То ли на жалость берет, то ли реальность отражает (должна же реальность отразиться хоть где-нибудь).

Посмотреть на мир незамысловатым взглядом митька — «художника поведения», который вместе с Шинкаревым хоть и художничает над миром-то, а все ж его по простоте — широте душевной принимает, — Шарапов не способен. Он не наивен и не простодушен. Не страдает помитьковски за всех разом и не рефлексировать по-шинкаревски. Просто делает. Впрочем, не ищите его в произведениях. Он там и не ночевал. В крайнем случае, Шарапов подсунет фиктивного рассказчика, который, то с видом озабоченного судьбами науки профессионала, то с усложняющей мимикой шизофреника, будет плести с доходящей до абсурда логикой очередную словесную сеть. И будьте уверены, Вы в нее попадетесь. Незаметно, жаркой волной в голову и холодом по позвонкам, докатится до Вас мысль, что избавиться от сбивчивого, горячешного шопота в самое ухо, доверительного до маниакальности, введливого и навязчивого в простодушии (таких имитаторов еще поискать!), невозможно.

Шарапов — «новый новый» — странство не отвоевывает, с героями, традицией не разбирается. Есть — и все. Земля ему «скачет навстречу», а всякий прохожий норовит обернуться вампиром, вервольфом, водяным или упырем. Мир у Шарапова выворачивается наизнанку сам и скользит куда-то, где неловко, неудобно и не то, чтоб совсем страшно, а — не по себе.

Шарапов даже не выдумывает (над вымыслом у него «слезами не обольешься»), даже не скрывает, как это делает: «Здесь все дело в явлении, немного похожем на боковое зрение: если Вы хотите внимательно рассмотреть предмет, точно оценить «на глаз» его размеры, цвет, освещенность и пр., Вам лучше всего перевести взгляд с него на

что-нибудь соседнее, сам предмет Вы при этом увидите в отраженном свете боковым зрением».

Оно и отражается напрямую в «косвенной речи». Не в маленьких «шедеврах» вроде «Если к вам в дом пришли разрушители» или «Игры в бирюльки». Там — субстрат, модель, молекула мира, вывернувшегося наизнанку. Но — в «Рассказах о нечисти», где главное для автора — не сюжет, не истории — добавления-оборотки, так сказать, — («Вставки эти совершенно ни к чему не нужны и имеют причиной только мою излишнюю словоохотливость, им можно не придавать никакого значения») — т. е. то, что имитирует обмолвки, оговорки, случайные слова в обыденной речи, которые выдают человека с головой. Они-то и есть «боковое зрение». Под углом его рассказчик как бы сам выворачивается-выговаривается, и все, что внутри-за-там-по-д проступает.

Быть критиком Шарапова (как и всей «новой литературы») — сущее наказание. Критикам он не верит, про себя все сам понимает (и «новая» литература тоже) да к тому же сам и описывает: «Ну, каждый сходит с ума по-своему, так вот я больше всего свихнулся на том, что очень люблю сложную и в то же время красивую многообещающую форму, и форма эта — «рассказ в рассказе» — всегда неоправданно без всяких оснований стремлюсь протащить ее повсюду да еще насытить при этом, что совсем уже лишнее, маленькими всевозможными рефренчиками — вроде «ну», «каждое предложение — заново с красной строки», «эти-вечные-тире-и-дефисы-ни-к-селу-ни-к-городу-на-каждом-шагу-в-ущерб-другим-знакам-препинания-что-так-так-сильно-затрудняет-чтение» и так далее, что еще удастся придумать я сразу же и вволю по ходу дела, не упуская возможности», — только успевай вслед.

Ну, сложную-то форму Шинкарев любит не менее, а, может, и более, чем Шарапов. (До чего ж с митьками мильми хорошо и просто. Хотя, конечно, только ленивый теперь митьков не любит). Но не сплавил — переварил Шинкарев привязанности внутри себя, еще слишком склонен демонстрировать предмет воздыханий, еще слишком погружен в любование им. То-то и горестный вздох слетает в финале «Папуаса из Гондураса», одного из последних — чего! — ... вещей — «брета в двух частях», — у автора: «Я, наверное даже не развлек тебя: но, может быть, увижу твою добрую меланхолическую улыбку? А не вышло, так и хрен и ним». Нет, не хрен. Это — тоска, самая настоящая тоска по тому, что маячило... идеалом, по любви своей, по нежности своей, по тоске своей, наконец, которые и

рождаются, и изнемогают в тяге к Литературе, но стать ей (Литературой — Богом нашим) не могут. Потому и возникает странная вина перед читателем от невыполнения обязанностей (кем, когда, зачем на себя принятых!). Потому и есть свобода от других, но нет и не может быть свободы от себя — того Шинкарева, который читал и читал книжки и дух захватывало, как нет свободы от города Литературы — «Петербург: у-уу! Ожесточенный город! . . . Вот уже рассвет, вот он движется глубокой волной по соседним улицам, мелькая в просветах проходных дворов. Вот он погружает город на свое темное дно, мнет и коржит шпиль — кресты и кораблики с которых давно всплыли». «Что же это! Ночь или кошмар! Безумная сказка или скучная повесть, или это — жизнь! . . . Почему я знаю! Я хочу думать. Я хочу быть один... Фонари тонут в тумане. Глухие, редкие выстрелы несутся из-за Невы...»

Узнаете? Нет, не одна цитата «Папуаса из Гондураса». Даже не две — одного автора. Это то, что на самом деле вдруг прорывается в шинкаревских вещах тянущим скрипом двери, которую не распахивали без малого сто лет. Это — Иннокентий Анненский. Это — из «Виньетки на серой бумаге к «Двойнику» Достоевского». Это — интонация, быть может, самого петербургского из течений — символизма, острадавшего Достоевского в себе, сделавшего его составом крови. Это — то, от чего не может (не хочет!) избавиться Шинкарев. Все-таки не может. Уж больно любит, литературу-то. Вот и берут митьки всю культуру махом под покровительство, защищают (Пушкина ли, Лермонтова ли, Маяковского ли — от пули) или порицают («Мюссе — гад такой») как родного и всеми обижаемого Митька. Потому-то они — «старые новые» — пуповинка еще не оборвалась, привязанности остались. И слава богу!

Шарапов, тот родился сразу с зубами и волосами, и говорить начал тут же, без младенческих гуканий. И на родителей смотрит со снисходительностью — то ли поиграть, то ли сказку страшную рассказать на ночь. Сам-то не спит никогда — некогда, только глаза для вида прищуривает. Ночное зрение у него, видите ли. И слух сверхчувствительный — стенки не помогают. Этот перепугать может до смерти. Его, для спокойствия, иные не вполне нормальным считают. А он и не возражает, так в «Рассказах о нечисти» и признается — сумасшедший, мол. Поди — докажи. Добро бы наоборот.

С «новыми новыми» — сложно. С их произведениями — еще сложнее, поскольку никакой вины перед читателем они не испытывают. Вот и остается принимать, как есть. А есть.

Без всякого кокетства можно утверждать — то, что произошло 1 и 2 июня на пленуме правления Союза писателей с участием руководителей и экспертов союзов архитекторов, дизайнеров, кинематографистов, композиторов, художников, театральных деятелей, журналистов нашей республики, могло стать фактом реальности только теперь — на начальном этапе «ренессанса» нашего государства.

Следует отметить: пленум мог реально состояться потому, что он созрел в глубине души, в думах интеллигенции и, надеемся, народа уже много лет. И в мыслях многих из нас он, вероятно, давно уже состоялся.

И вот мы пытаемся говорить в полный голос, учимся пониманию того, что, только назвав все явления СВОИМИ ИМЕНАМИ, мы можем разрушить тот идеализированный миф о нашей действительности, магическая сила которого крылась в мифистическом замалчивании всех проблем и наболевших вопросов, когда закрываются глаза на подлинные беды. Словом — карточный домик крепко перекошило.

Мы, можно сказать, только начинаем вместе разбираться, каким образом, чьими руками и для чего он в свое время был построен. Естественно, что точки зрения оказались разными. Так будет и впредь. Но, чтобы понять друг друга, надо научиться слушать. Такова закономерность наших дней. Мы должны научиться думать о нашем существовании вместе, если не хотим возврата к политике страуса — до того момента, когда кому-то подпалит хвост. Но жить-то хочется всем. И потому мы, прежде чем требовать уважения к себе, призадумаемся — а уважаем ли мы других?

Поэтому мы предлагаем читателям ознакомиться с резолюцией объединенного пленума творческих союзов и с вступительной речью председателя правления Союза писателей Латвийской ССР Яниса Петерса, с которой начался двухдневный (точнее, длившийся двое суток!) пленум в Доме политпросвещения. Началась работа, которая не окончится с завершением пленума. Не должна окончиться.

РЕЗОЛЮЦИЯ

ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ С УЧАСТИЕМ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОЮЗОВ АРХИТЕКТОРОВ,
ДИЗАЙНЕРОВ, ХУДОЖНИКОВ, КИНЕМАТОГРАФИСТОВ,
КОМПОЗИТОРОВ, ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ,
ЖУРНАЛИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ

Заслушав доклады членов творческих союзов Латвийской Советской Социалистической Республики, а также специально приглашенных экспертов по теме «Актуальные проблемы культуры Советской Латвии накануне XIX Всесоюзной партийной конференции», пленум выступает со следующими выводами, выявленными проблемами и конструктивными предложениями.

Главными и решающими на данном историческом этапе считать радикальные реформы в области экономики, гласность, демократизацию и новое мышление, способствующие преобразованию облика социализма и отвечающие подлинно научным постановкам и этическим идеалам.

Считать курс перестройки единственной гарантией как общности всего СССР, так и национальной государственности каждой союзной республики.

Оказывать поддержку разработанной в результате инициативы Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева политике, максимально содействуя ее претворению в жизнь.

Обращение против курса перестройки, демократизации и гласности рассматривать как наступление на социализм, интернационализм, национальные права народов и права каждого гражданина в отдельности.

В ходе перестройки поддерживать последовательные усилия общественности по радикальной реорганизации системы выборов и дальнейшей демократизации жизни партии и кардинально повысить роль Советов народных депутатов в полной реализации мероприятий, изложенных в Тезисах ЦК КПСС, превратить Советы в полноправные органы по решению государственных дел.

Поддерживать предложения по выдвижению на руководящую работу также беспартийных.

При выработке исторических концепций решительно отказываться от сталинских трактовок, которые продолжают наносить вред советскому народу, в том числе латышскому, и истории Латвии. Констатировать, что вступление Латвии в состав Советского Союза и смысл ее существования в составе СССР были скомпрометированы условиями культа личности Сталина.

Попытка после XX съезда партии вернуться в Латвию к более или менее суверенной экономической и социальной политике была пресечена в 1959 году якобы разоблачением так называемого национализма, что еще более усилило экстенсивное развитие экономики в республике.

Поддерживать в этой связи предложение, высказанное на майском (1988 г.) пленуме ЦК Компартии Латвии по переоценке содержания и выводов июльского (1959 г.) пленума ЦК КПЛ.

Надо учиться смотреть правде в глаза, насколько бы трудна и порой горька она ни была. В противном случае все наши нынешние надежды неизбежно обречены.

АСПЕКТЫ СТАТУСА И ПРАВ РЕСПУБЛИКИ

Требовать в законодательном порядке и на практике восстановить ленинскую концепцию о союзной республике. Считать, что кроме общих формулировок в Конституциях СССР и Латвийской ССР государственные права нации республики не нашли в законодательстве четкого определения и изложения. Участие Латвийской ССР в экономическом и социальном развитии СССР происходит не на паритетном принципе суверенного государства в союзе свободных государств, и это привело к тому, что коренной народ Латвии — латыши — в пределах собственной этно-географической территории становятся национальным меньшинством.

Так как подобное положение меньшинства на всем протяжении многовековой тяжелой истории латышского народа создалось впервые, призываем считать в качестве одной из приоритетных задач Компартии Латвии и правительства республики сохранение и развитие латышской нации. Выполняя эту задачу, руководству республики и каждому гражданину в отдельности следует в то же время обеспечить соблюдение принципов интернационализма и уважение к правам и человеческому достоинству проживающего в Латвии гражданина любой национальности.

Признавая статус прав гражданина СССР, разработать также статус прав гражданина союзной республики.

Устранить ситуацию, когда предусмотренные Конституцией права не могут быть использованы потому, что нет соответствующего закона, который определял бы способ реализации этих прав.

Добиться строгого регулирования и контроля процесса миграции. Вопрос о каждом приглашенном (и его семье) на работу в Латвию из другой республики должен решаться местными Советами, с определением для предприятий и организаций платы, которая полностью покрывала бы все расходы на его социальные и коммунальные нужды. Расходы должны быть обеспечены также лимитами строительного-монтажных работ.

Во имя осуществления политической перестройки призываем правительство Латвийской ССР и СССР активно реализовать такую политику и дипломатию, чтобы статус республики на практике мог иметь международное признание Латвии как суверенного и национального государства в составе Советской Федерации. Добиться приема Латвийской ССР в члены ООН, ЮНЕСКО, в олимпийское движение, в спортивные и другие федерации с правом участия в политических, культурных, научных, спортивных

форумах, причем с использованием государственно-национальной символики нашей суверенной республики.

Обратиться в Верховный Совет с предложением по конкретному решению этого вопроса.

Считать само собой разумеющимся и необходимым радикальное расширение всех видов сотрудничества с латышами, проживающими в других республиках и за рубежом, издавать печатный орган на латышском и русском языках для латышей, живущих в других республиках СССР.

Учредить в составе правительства Латвийской ССР постоянную (освобожденную) должность министра иностранных дел, как в других союзных республиках.

Выделить штатные места постоянных корреспондентов в некоторых крупных политических и культурных центрах за рубежом представителям латвийской прессы, радио, телевидения и кино.

Считать необходимым и обязательным добиться аккредитирования прессы, радио, телевидения и кино Латвийской ССР во время визитов зарубежных руководителей и делегаций в Москве и других городах и республиках СССР. То же отнести и к привлечению работников средств массовой информации Латвии для освещения визитов правительственных делегаций СССР в зарубежных странах.

Предусмотреть для граждан Латвийской ССР право свободного выбора работы и учиться за рубежом.

При реализации этих вопросов практически опираться на мысль, высказанную в Тезисах ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции:

«Децентрализация и максимальная передача на места многих управленческих функций в полной мере относится ко всем формам нашей национальной государственности и автономии. Здесь требуется неукоснительное выполнение положений Конституции СССР и советских законов, гарантирующих права союзных и автономных республик, автономных областей и округов».

Совет Национальностей Верховного Совета СССР из чисто репрезентативного органа превратить в действующую парламентскую палату, которая реально представляла бы и защищала интересы нации, народности или национальной группы и препятствовала бы таким мероприятиям, которые угрожают существованию коренной нации, ее равенству, гарантировала бы подлинную национальную государственность республики в составе Союзной Федерации.

Постоянно изучать общественное мнение в области национальных отношений, открыто и регулярно информировать об этом общественность.

Материалы переписи населения по всем позициям широко публиковать в печати.

Предложить включить в Конституцию Латвийской ССР (как это имеет место в Конституциях Грузинской, Армянской, Азербайджанской ССР) статью, закрепленную за латышским языком статус государственного языка республики. Русский язык, как и в настоящее время, должен использоваться как средство межнационального общения как в республике, так и в СССР в целом. Но и язык коренного народа для жителей республики должен стать средством межнационального общения.

Владение другими языками считать показателем профессиональной пригодности для работы в государственных и советских учреждениях, особенно в отраслях, связанных с социальной сферой: в области здравоохранения, в учебных заведениях, в учреждениях охраны общественного порядка.

Полностью обеспечить возможности получить на латышском языке как начальное, так и профессиональное образование (среднее, высшее — по всем изучаемым в республике специальностям).

Обеспечить возможности использовать латышский язык во всех сферах материальной и духовной жизни республики, включая делопроизводство, создав тем самым

основу для существования и развития всех функциональных стилей латышского языка.

Обеспечить возможность получить образование на своем родном языке представителям всех других проживающих в республике национальностей, открывая в местах их концентрации школы или классы. Создать общественные организации и культурные центры, которые решали бы вопросы культуры постоянно проживающих в республике русских, украинцев, белорусов, поляков, евреев, литовцев, цыган и граждан других национальностей, а также латгальцев и ливов.

Реализовать мероприятия по преодолению культурной и общественной изоляции нелатышского населения Латвийской ССР. Всесторонне поддерживать формирование чувства патриота своей республики и органическое вращение в культуру Латвии всех национальных групп Латвии, сознательное изучение истории Латвии и ее культурных традиций и уважение к ним.

Обеспечить гарантию государственного закона по вышеперечисленным предложениям.

Исходя из имеющегося в республике опыта, отказаться от механического и искусственного увеличения числа школ с двуязычными потоками, реорганизуя их лишь в тех случаях, когда родители высказывают такое требование. Исследовать результаты опыта таких школ, анализировать последствия создания этих школ в формировании национальных отношений.

Учитывая то, что латышские красные стрелки являлись первой, наиболее сознательной частью Красной Армии, и в целях преемственности в Вооруженных Силах интернациональных традиций рассмотреть возможность создания воинского формирования на территории Латвийской ССР (в виде подразделения или военного училища), в котором наряду с русским языком была бы обеспечена функция латышского языка и латышской культуры.

Это формирование можно было бы комплектовать из молодежи, свободно владеющей русским и латышскими языками.

В политической жизни республики, средствах массовой информации и в идеологической работе полностью изжить попытки подменить объективное исследование конкретных фактов и событий безответственными обвинениями в национализме.

Считать недопустимой и несовместимой с принципами гласности такую идеологическую деятельность, которая не исследует социальное и национальное недовольство широких общественных слоев, чтобы выявить и искоренить причины экономических, демографических и экологических деформаций, а представляет их как результат зарубежной пропаганды или идею реставрации капитализма.

Бороться с попытками представить появление национальных проблем как отрицательные последствия политики перестройки.

Отделить законодательную власть от исполнительной. Создать систему финансовых отношений, обеспечивающих Советы необходимыми средствами их деятельности.

В планах социально-экономического развития предусмотреть специальные разделы о профилактике правонарушений, в том числе преступлений, с учетом соответствующего материального обеспечения.

Предавать полной гласности статистику преступлений и других правонарушений, систематически публиковать ее, чтобы общественность могла активно и целенаправленно включиться в искоренение этих отрицательных явлений.

Изменить законодательство об обжаловании решений должностных лиц, предоставив право оспорить в суде и решение любого коллегиального органа, а также право руководителям любого ранга в судебном порядке защищать свое право на труд (в случае незаконного увольнения подать в суд иск о восстановлении на работе и т. д.)

Просить Верховный Совет Латвийской ССР эффективнее контролировать деятельность Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности, а также

армейских, флотских и пограничных воинских подразделений, затрагивающих законные интересы республики (в хозяйственной жизни, в области охраны природы и т. п.). В законодательстве четко определить понятие государственной тайны, ее содержание и пределы.

Поддержать предложение Совета Министров Латвийской ССР Совету Министров СССР отменить постановление ЦК ВКП (б) и Совета Народных Комиссаров СССР от 14 мая 1941 года и ЦК ВКП (б) и Совета Министров СССР от 23 января 1949 года об административном выселении отдельных групп населения из республик Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии как незаконные, противоречащие Конституции СССР, и в юридическом и моральном отношении необоснованные, ибо эти постановления являлись основой для дальнейших репрессий и потребовали огромного числа невинных жертв. Назрела необходимость и в таком законодательном акте, который запрещал бы депортацию.

В целях восстановления исторической правды ознакомить общественность республики с секретными протоколами пакта, подписанного Риббентропом и Молотовым 23 августа 1939 года.

Реабилитация незаслуженно репрессированных жертв сталинской политики органически включает в себя и общественное порицание конкретных виновников и исполнителей репрессий, в случае необходимости с привлечением их к уголовной ответственности. Этим лицам следует лишить присвоенных им социальных привилегий, почетных званий и права быть символами достижений Советской власти (например, в наименовании городов, улиц, учебных заведений и т. п.).

Обеспечить фактическую неприкосновенность почтовых отправлений, корреспонденции и телефонных разговоров.

Открыть широкому кругу читателей доступ к материалам спецфондов в архивах, музеях и библиотеках, как это предусмотрено государственными законами.

Определить срок действия всех документов партии и правительства. По истечении этого срока документы сдавать в архивы, где они также должны быть доступными.

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ПРИРОДЫ

На протяжении почти 50 лет Латвия рассматривалась в основном как территория, на которой выгодно располагать эффективные производительные силы. Концепция послевоенного развития промышленности опиралась на одностороннюю экономическую политику, с опережением развития производства средств производства и на урбанизацию республики.

Такая политика организации промышленности принесла необратимые потери в области культуры, существенно затормозила развитие социальной инфраструктуры, замедлила темпы роста благосостояния населения.

Примитивная технология, абсурдная стандартизация и всеобщая унификация, а также беспредельные производственные программы привели к вульгаризации производимых промышленностью изделий, их моральной и технической недолговечности. Экстенсивная политика продолжается. В 1987 году прирост населения за счет межреспубликанской миграции достиг 18,8 тысячи.

Осуществляя перестройку в экономике, градостроительстве и сельском хозяйстве республики, необходимо:

— Ввести принципы хозяйственного расчета и механизм его реализации также в региональном аспекте, предусматривая его осуществление в масштабе союзной республики.

— Пересмотреть целесообразность и обоснованность нового строительства или реконструкции промышленных объектов всеобщего подчинения в республике, и прежде всего в Риге, Юрмале, Лиепае, учитывая постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 567 от 18.06.81 г. «Об ограничении промышленного строительства в крупных городах». Запретить любое экстенсивное расширение

производства, связанное с использованием дополнительной рабочей силы.

— При планировании капитальных вложений для развития промышленных отраслей или ведомств обеспечить приоритет интересов комплексного территориального развития.

— В соответствии с новыми экономическими условиями совершенствовать схемы планирования районов республики, развития и размещения производительных сил, направленные на резкое улучшение экологической и социальной ситуации в республике и на ограничение численности населения Риги, для контроля за этим создать комиссию экспертов.

— Опираясь на традиции и достижения в промышленности и в сельском хозяйстве, на высокоразвитый научный, инженерно-технический, культурный и общественный потенциал и учитывая всю ведомственную структуру республики, необходимо консолидировать промышленность и в дальнейшем развивать технически сложные отрасли с небольшой материалоемкостью, с использованием безотходных технологий и высококвалифицированной рабочей силы, ориентированные на производства современных и конкурентоспособных товаров.

— Наряду с развитием крупного промышленного производства следует поддерживать качественный труд ремесленников как образец и школу логики вещей. Утраченный народный опыт компенсировать созданием Института культуры национальной среды, который систематически занимался бы изучением проблем ремесленничества, дизайна и архитектуры и предоставлял бы подлинно научную информацию для организации и руководства промышленностью.

Определить, что естественное развитие народного хозяйства республики должно опираться исключительно на местные трудовые ресурсы. Учитывая санитарное состояние Риги и положение в жилищном строительстве, в Риге также следует ограничить выделение жилой площади вышедшим в отставку военнослужащим и приравненным к ним отдельным категориям граждан, как это уже сделано в Москве, Ленинграде, Киеве и курортных городах Кавказа.

Прекратить выделение в Юрмале участков под застройку всесоюзным ведомствам, а также любую застройку прибрежной зоны Балтийского моря, входящей в территорию республики. На средства республиканского бюджета выкупить у всесоюзных ведомств принадлежащие им в настоящее время объекты отдыха и передать их на баланс республики.

— Пересмотреть и радикально изменить существующую политику строительства, обеспечить формирование функционально и эстетически полноценной, выразительной в эстетическом отношении, качественной и отвечающей нуждам человека среды обитания как в городах, так и в сельской местности.

— При реализации вышеупомянутых мероприятий градостроительства в генпланах народного хозяйства республики предусмотреть отдельные, по-настоящему независимые от строительных комплексов, градостроительство и архитектурные объекты, с подчинением их Совету Министров Латвийской ССР.

— В сельском хозяйстве предоставить хозяйствам полную самостоятельность при выполнении ими государственных заказов, чтобы впоследствии совсем отказаться от любого административного регулирования и полностью обеспечить государственные закупки при помощи рычагов ценообразования.

— Главными хозяевами земли считать Советы народных депутатов, которые сами должны принимать решения, одобрять или отвергать указания вышестоящих исполкомов, постоянно сохраняя за собой право наложения вето.

— В случае банкротства колхоза или совхоза или в случае их ликвидации после проведения референдума работавших в них членов землю передавать в распоряжение местных Советов с правом сдачи в аренду. Под-

держивать создание кооперативов свободных арендаторов.

В хозяйствах поддерживать семейные подряды с передачей земли в пожизненную аренду и с правом ее наследования. Обеспечивать традиционную для Латвии форму хозяйствования и восстановление структур в сельскохозяйственном производстве и включение их в социалистическую кооперацию. Механизм конкуренции выявит, какая из форм жизнеспособнее — семейный подряд, кооперативная или настоящее производство, находящееся в государственном подчинении.

Учитывая опыт Академии наук Эстонской ССР, предложить Академии наук Латвийской ССР организовать конкурс на оптимальный вариант перехода экономики Латвийской ССР или всех трех прибалтийских республик на принципы хозрасчета и самофинансирования.

В Латвийской ССР без учета экологических особенностей края и ее культурно-исторического типа непродуманно развито промышленное производство. Для его обеспечения ввозится сырье, механически пополняется рабочая сила. Использование отсталой промышленной технологии привело к тому, что лишь незначительная часть всех ресурсов перерабатывается до готовой продукции, большая же их часть оседает в виде различных отходов, засоряя воздух, почву и воду. На территорию республики с осадками выпадает около 400 тысяч тонн содержащих серу соединений, что приводит к деградации почв, стремительной коррозии металлов, уничтожению лесных посадок и вызывает заболевание людей.

Положение угрожает стать катастрофическим и вынуждает оценивать деятельность Совета Министров и Госплана Латвийской ССР в области социально-экономического развития как явно неудовлетворительную и подлежащую кардинальному пересмотру.

В этой связи следует:

— принимая во внимание, что народное хозяйство Латвийской ССР является составной частью единого народнохозяйственного комплекса СССР, заботиться о том, чтобы национальные богатства, и прежде всего природные, использовать в интересах коренного населения.

— Предпочтение отдавать такому направлению развития народного хозяйства, которое не противоречит международным конвенциям и нашему культурно-хозяйственному типу.

— Остановить гигантоманию урбанизации, разработать научно обоснованную программу экологического оздоровления республики, а также генеральную концепцию развития производительных сил и передать их на рассмотрение общественности республики.

Расширить научные поиски решения региональных экологических вопросов, непосредственно сотрудничая со странами Балтийского бассейна, и конкретизировать международные обязанности, которые зафиксированы в договорах по Балтийскому морю и бассейну в целом. Учитывая катастрофическую степень загрязненности Лиелупе, устья Даугавы и Рижского залива, создать систему заповедников и заказников, до полного введения в эксплуатацию очистных сооружений прекратить уже начатое расширение рижских заводов, которое происходит в противовес постановлением 1982 и 1984 годов, и одновременно привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении указанных постановлений Совета Министров СССР.

— Разработать и внедрить целевую программу расширения лесного хозяйства, исходящую из нынешнего состояния лесов и опирающуюся на экологически обоснованную структуру лесопосадок.

— Последовательно отклонять экстенсивные амбиции всесоюзных ведомств, которые, нарушая права местных Советов, законы и этику, навязывают расширение производства и строительство новых объектов в городах с драматически напряженной экологической ситуацией.

— Запретить строительство любого промышленного

объекта, если он не обеспечен необходимым очистным сооружением.

— Запретить применение химических веществ, токсическое воздействие которых не выяснено или не определена крайне допустимая мера их концентрации, а также те токсические вещества, концентрация которых в естественной среде не определяется.

— Регулярно публиковать все данные о степени загрязнения среды в каждом территориальном подразделении.

Оптимизацию среды считать главным стратегическим направлением в деле сохранения здоровья людей.

— Исследовать и определить экологическое соответствие и экономическую целесообразность строительства АЭС в Лиепайском районе, а также Екабпилсской АЭС. Закрывать предприятия, угрожающее здоровью людей и природе.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НАРОДА. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА

Поскольку ~~здоровье народа в наибольшей~~ степени (90 процентов) определяется социально-экономической ситуацией республики, считать производство продуктов продовольствия, строительство жилья и последовательную охрану природы наиболее важными факторами этой области.

Признать, что здравоохранение народа, как и его образование, являются важнейшими областями, которые требуют гораздо больших ресурсов (включая валюту), чем они располагают до сих пор.

Децентрализовать здравоохранение, оставив за республикой право сформировать отвечающую местным условиям и традициям систему.

Образовать фонд помощи молодым и многодетным семьям с тем, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Латвии.

Создать независимые, не подчиненные ведомства инспекции по определению экологического и медико-санитарного состояния среды и продовольственных продуктов. Заключение этих инспекций должно быть обязательным и подлежащим незамедлительному исполнению.

Во всех школах республики, независимо от языка обучения в них, общеобразовательные предметы преподавать по учебным планам, разработанным Министерством народного образования Латвийской ССР, по единой программе и единым учебникам.

Укрепить гуманитарное направление образования, чтобы школа способствовала максимальному развитию личности ребенка.

В целях обеспечения реального двуязычия создать во всех школах одинаковые условия обучения латышскому и русскому языкам.

Определить автономию республиканских вузов по организации учебной и научной работы. Учебные программы вузов утверждать в республике с учетом их национальных традиций и региональных особенностей. Обеспечить широкие возможности получить высшее образование за рубежом.

Любые изменения производственных объемов обязательно согласовывать с реальными возможностями по подготовке специалистов среднего и высшего уровня. В вузах Латвийской ССР готовить специалистов главным образом для нужд республики.

Предложить присвоить Рижскому политехническому институту имя основоположника советского ракетостроения и первопроходца в области космонавтики Фридриха Цандера с тем, чтобы подчеркнуть историческую преемственность и повысить престиж РПИ как старейшего политехнического вуза в нашей стране.

Разрешить ученым советам республиканских вузов и Академии наук присуждать ученые степени без после-

дующего их утверждения в высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР.

Резко увеличить финансирование на развитие общественных и гуманитарных наук, необходимое для духовного потенциала и роста национального самосознания (экономические науки, философия, этнография, история культуры, искусствоведение и т. д.)

Основать в Москве Центр латвийской культуры.

В вузах ввести курс истории культуры, где особо рассматривались бы вопросы культуры в Латвии.

В области рыболовства — исторически традиционного для латышского народа промысла — выдвинуть требование основать училище морского рыболовства с обучением на латышском языке, обеспечивающее рыболовецкие колхозы местными кадрами.

Вернуть Рижскому мореходному училищу и одной из главных улиц Риги имя Кришьяниса Валдемара — основателя российского морского училища.

Некомпетентное и бюрократическое руководство в области культуры и искусства, примитивное понимание идеологических задач, финансирование по остаточному принципу существенно сдерживали развитие национальной культуры, создали критическое положение материальной базы в театрах, в области изобразительного искусства, полиграфии, библиотек и в других учреждениях культуры, а также в решении других вопросов.

Политика неуклонного снижения количества названий книг и увеличения тиражей достигла последнего предела и создает угрозу необеспечения народа необходимыми книгами.

Активизировать сотрудничество с религиозными организациями в области культуры, экологии, в миротворческом движении и т. п.

Устранить возможности любого вмешательства цензуры в работу писателя.

Признать право каждого гражданина публично защищать свое мнение. В связи с этим предложить в свете нового мышления и демократизации пересмотреть Постановление № 29 Совета Министров Латвийской ССР от 29 января 1988 года [Ведомости Верховного Совета и правительства Латвийской Советской Социалистической Республики № 10 от 1988 года].

Считать, что писатель сам отвечает как перед своей совестью, так и перед читателями.

Предложить привлекать к ответственности любое должностное лицо, в своих административно-бюрократических интересах препятствующее гласности в печати, на радио, телевидении и в кинематографе.

...

Задача настоящего пленума — констатировать и передать на обсуждение общественности набравшие проблемы нашей жизни, а также предложения по их решению.

Содержание настоящей резолюции довести до сведения делегатов XIX Всесоюзной партийной конференции и Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева, адресовав им письмо от имени творческих союзов Латвийской ССР и специально приглашенных на пленум экспертов и скрепленные личными подписями участников пленума.

Поручить газете «Литература ун максла» опубликовать полный текст настоящей резолюции.

Просить текст резолюции и материалы пленума опубликовать в республиканских и всесоюзных газетах, передать по радио и телевидению, ознакомить с ними творческие союзы других республик, издать отдельной книгой.

Обобщить все конструктивное, высказанное коллективами, инициативными группами, отдельными лицами, включить в документы пленума и передать для дальнейших распоряжений Центральному Комитету Компартии, Президиуму Верховного Совета и Совету Министров Латвийской ССР.

Рига, 2 июня 1988 года.

ЯНИС ПЕТЕРС

Пришло время больших вопросов. На плечи творческой интеллигенции ложатся тысячи «почему?», «когда?», «как долго еще?», «каким образом?» После того, как стало известно, что мы собираемся на свой объединенный пленум, в Союз писателей поступает множество писем.

Наряду с вопросами и оценками люди предлагают помощь не только на словах, но и на деле. Это значит, что пришло время действий, время поступков... Пришло время чувства лоптя и консолидации.

Находясь на этой трибуне, с чувством удовлетворения хочу подчеркнуть, что во всех письмах, адресованных объединенному пленуму, акцентируется не только мысль о развитии национальной государственности Латвийской Советской Социалистической Республики на принципиально новом уровне. Эту мысль уже в самой основе народ рассматривает в тесной взаимосвязи с развитием и углублением всего советского федерализма на тех принципах, которые соответствуют требованиям цивилизации XX века и действиям культурного человека.

В письмах, которые мы получаем от рабочих и врачей, учителей и ученых, студентов и актеров, инженеров и трудящихся села, основными словами являются — **социализм, демократия, Ленин**. Из них логически и закономерно вытекают понятия **НАРОД, РЕСПУБЛИКА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ**.

Поэтому мы и объединились сегодня здесь, мы — художественная интеллигенция и эксперты, представляющие почти все сферы человеческой деятельности. Мы собрались,

чтобы найти общую точку зрения в период, когда курс революционных перемен в стране приближается к своему апогею — XIX Всесоюзной конференции КПСС, на которой решится будущее перестройки.

Свой объединенный пленум мы можем считать форумом интеллектуальной мысли Латвии.

Наш пленум является вкладом интеллектуальных сил Латвии в процесс перестройки, сверением часов со своим народом и с нынешним временем.

Нам не имело бы смысла собираться, если бы мы только поговорили и разошлись. После совместных консультаций с руководителями всех остальных творческих союзов, мы пришли к заключению, что пленум должен выработать документ — программу действий, которой и руководствоваться в дальнейшем.

Именно во имя интернационализма и советского федерализма необходимо говорить сегодня о самой основе Союза Социалистических Республик — о государственном суверенитете республик и реальном равноправии наций.

В Латвии особенно актуальна ситуация, в которой оказалась коренная нация. Эта ситуация незавидна, а именно — в результате революций, войн, сталинских репрессий и нацистского геноцида латышский народ на своей собственной этногенетической территории превращается в национальное меньшинство.

Интеллигенцию называют совестью народа, и эта совесть сегодня должна говорить. Необходимо высказывать и выдвигать конструктивные предложения. Выработанный нами проект ре-

волюции объединенного пленума эти предложения зафиксировал, и они выносятся на ваше обсуждение, дополнение и поправки.

Лишь необратимость процесса перестройки может гарантировать реальное разрешение нашей проблемы. Только неукоснительная поддержка инициатив Михаила Горбачева может обеспечить авторитет партии и ее руководящую роль во благо развития каждой нации.

Юридически необоснованные действия и самовластие периода культа личности исказили статус союзных советских социалистических республик.

Перестройка призывает нас не ограничиваться одной только критикой. Перестройка нам дает права и высвобождает энергию действия.

Литература, искусство и культура влияли на многие общественные процессы. Мы часто говорили о влиянии партии на литературу. Но разве большая литература не влияла и на партию? Государство? Общественную систему?

Не произведения ли литературы и искусства вырастили для партии целую плеяду талантливых лидеров, время которых вырисовывается все четче? Об этом тоже стоит подумать.

Желаю всем участникам объединенного пленума остроты и принципиальности, чувства высокой политической культуры и единения в оценке наболевших в Латвии социально-экономических и национальных проблем для выздоровления общества и поиска подлинно справедливого пути развития Латвии, как в контексте СССР, так и в контексте Европы и всего мира.

НАДО СТАНОВИТЬСЯ ХОЗЯЕВАМИ

Гунарс АСАРИС,
главный архитектор Риги, председатель правления
Союза архитекторов ЛССР, академик Академии
художеств СССР

Я хотел бы в некоторой степени коснуться вопросов архитектуры и градостроительства, подчеркнув их особую роль в нашей жизни, в сохранении культурного наследия и его дальнейшего развития. Процессы урбанизации, как вы знаете, теснейшим образом связаны с экономическим и социальным развитием республики, с проблемами экологической и культурной среды, с ситуацией, в которой находится коренное население этой территории. Средства, с помощью которых надо обеспечивать градостроительную стратегию в республике, всем хорошо известны. К ним относятся районирование экономического развития республики и создание единой системы развития производительных сил и размещения жителей; основные на-

правления и концепции в нашей республике уже разработаны: в 1976 году — системы районного планирования, а также в 1978 году, схема размещения населения республики. К сожалению, на практике к этим документам, так же, как к генеральным планам развития городов, относятся без малейшего уважения. Несколько конкретнее я хотел бы коснуться проблемы Риги. Как вы знаете, в 1969 году был утвержден генеральный план развития Риги, который предусматривал множество мероприятий для ограничения количества жителей города, нормализацию ситуации с промышленностью, но фактически за пятнадцать лет реализации этого плана создалось положение, что число жителей города выросло на 41 процент больше, чем было предусмотрено, а квартир мы построили на 16 процентов меньше того, что было предусмотрено генеральным планом. Я могу совершенно точно сказать, что на 1 января 1988 года в Риге было 913,4 тысячи жителей, но, исходя из количества выданных талонов на

сахар, фактическое их количество на много десятков тысяч больше. А сколько человек живет в Риге без прописки! Число нуждающихся в получении квартиры достигло рекордной цифры — более 75 тысяч семей. Если мы умножим это число на коэффициент семьи, то получим цифру — более 200 тысяч жителей. В сущности — это целый город. В какой ситуации, чтобы получить в Риге квартиру, надо стоять в очереди двадцать и более лет — фактически жизнь целого поколения. Я считаю, что дальше идти уже некуда. Это ненормально, что число жителей Риги составляет, если быть точными, 34,8 процента от общего числа жителей республики и 56 процентов от общего числа горожан Латвии.

И объем производства промышленных предприятий Риги составляет более половины от всего объема промышленного производства республики. Диспропорция эта, к сожалению, обнаруживает тенденцию к росту. Это отлично характеризует сравнением строительных мощностей нашей главной строительной организации — Министерства строительства республики, какими они были в прошлом, позапрошлом году и тем, что запланировано на девятый год. Всего две цифры. В 1986 году из всех объемов, возводимых Министерством строительства, мощности, отводимые на строительство промышленных предприятий, составляли 31 процент, а в 1990 году они вырастут до 49 процентов, в то время как объемы строительства квартир и других социальных объектов в сумме остаются в абсолютных цифрах на том же уровне. Иными словами, весь прирост объема строительных мощностей идет только за счет строительства промышленных предприятий. Конкретные цифры! Пожалуй-ста! В 1986 году на жилищное строительство и на строительство обслуживающих систем было запланировано и освоено 81,2 миллиона рублей, а на 1990 годы мы планируем только 82,5 миллиона рублей. На один миллион больше. И это происходит в то время, когда мы говорим о реализации программы «Жилище-90» и «Жилище-2000», когда мы говорим о существенной реализации программы культурного развития и о комплексном гармоничном развитии окружающей среды. И в то же время развитие других регионов республики, их центров, в числе которых первым делом я хотел бы упомянуть Гулбене и Екабпилсский район, лишены целенаправленности и планового начала — со всеми вытекающими из этого отрицательными последствиями. То, что во многих малых городах республики сложилась ненормальная ситуация, был вынужден признать и председатель Совета Министров республики товарищ Рубенис в своей статье в «Цинне» 22 мая этого года. С определенной завистью мы наблюдаем, как целенаправленно и планомерно решается градостроительная политика у наших ближайших соседей — в Литве и Белоруссии. В обеих этих республиках число жителей столиц не превышает 16 процентов, в то время как у нас оно равно почти 35 процентам. К тому же за тот пятнадцатилетний период, который дает нам возможность сопоставлять, развитие малых и средних городов республик шло куда стремительнее, нежели развитие столиц. Иными словами, обеспечен надежный тыл, создана куда более нормальная градостроительная ситуация в республиках, нежели у нас. Вместе с тем, по-моему, притягательная сила пляжей Риги стала своеобразным магнитом, который тянет сюда различные министерства союзного подчинения, организации и предприятия, различные филиалы конструкторских организаций, проектных бюро и так далее. Появился народнохозяйственный общесоюзный комплекс, который требует пропорционального гармоничного развития своей территории, а не уродливой реализации. Главное, и об этом я уже говорил, экстенсивный путь развития, к сожалению, совершенно не предполагает размышлений о результатах, о последствиях. Может быть, многие знают, но я специально хотел бы заострить ваше внимание, что в 1981 году, в июне, было принято очень существенное решение ЦК КПСС и Совета Министров страны об ограничении строительства промышленных предприятий в больших городах; решение не отменено,

оно до сих пор сохраняет свою силу. Было запрещено строительство промышленных объектов и их расширение в Риге и Юрмале, ограничено в Лиепае. Но практически с июля 1981 года и до декабря 1987 года, на самых разных уровнях, включая наивысочайшие, были приняты директивные указания — и как вы думаете, сколько объектов в городе предполагалось в соответствии с ними реконструировать и строить! Почти сто, в том числе Рижский вагоностроительный завод, ВЭФ, дизелестроительный завод, завод сельскохозяйственного машиностроения, «Саркана звайгзне», «Компрессор», «Альфу», «Коммутатор», РЭЗ, «1 Мая». То же относилось и к лиепайским предприятиям — «Сарканай металлургс», завод сельскохозяйственного машиностроения, линолеумный завод и другие. Насколько мне известно, в очень многих случаях возражения и местных исполкомов, и даже правительства республики не были приняты во внимание. Эти материалы взяты из официальной справки, которую наш «Промпроект» подготовил Госстрою СССР, когда они в конце прошлого года в самом деле стали интересоваться положением дел и запросили у нас данные, как идет реализация вышеупомянутого решения ЦК и Совмина. Это и материалы сообщения товарища Рубикса в наш Совет Министров. Но сколько миллионов рублей стоит реконструкция этих предприятий! В сущности, речь идет о новостройках. Я назову только несколько достаточно характерных примеров, ибо затраты на эту реконструкцию начинаются с, так сказать, нескольких миллионов и доходят до 30, 60, 80, даже 90 миллионов. Реконструкция вагоностроительного завода — 80 миллионов рублей и так далее. Для сравнения — в решении Совета Министров мы были вправе официально предусмотреть, скажем, строительство концертного зала в объеме примерно 12 миллионов рублей, в настоящее время в результате соответствующей коррекции и уточнения программы сумма увеличилась до 20 миллионов рублей. По-моему, главное даже не вопрос об этой абсолютной стоимости, ибо нам все время официально дают данные о том, что количество работающих на предприятиях не увеличивается. А главный вопрос в том, что это мощности наших строительных организаций, которые отвлекаются от строительства объектов важного социально-культурного значения. И в первую очередь от строительства тех объектов, которые служат укреплению материально-технической базы, необходимой для культурного и духовного развития народа. От жизненно важных объектов коммунальных служб города, от строительства других объектов обслуживания, даже от того, что необходимо для поддержания в самом элементарном порядке жилого фонда. Расчеты показывают, что если даже удастся полностью реализовать пятилетнюю программу строительства, к 1990 году Рига будет обеспечена театральными и концертными залами только на 60 процентов от нормы. Клубами и домами культуры — только на 54 процента, библиотеками — на 65 процентов, кинотеатрами не больше чем на 70 процентов. А насколько печален технический, архитектурный и эстетический уровень многих объектов! Положение дел в других городах нашей республики не лучше. Я считаю, что это не может не волновать общество. Как свидетельствует анализ реализации генерального плана развития Риги, состояние ее коммунальных служб отнюдь не в блестящем состоянии. Со строительством общегородских очистных сооружений мы опоздали более, чем на десять лет. Темпы развития строительства сети городских дорог и улиц в 3—4 раза меньше, нежели это необходимо. По строительству необходимых инженерных сооружений наземного транспорта, таких как воздушные переходы, транспортные туннели, подземные переходы и т. д. в плане капитальных вложений мы отстаем в 8—10 раз от объемов, предусмотренных Генпланом. Все это создает тот фон, на котором создается обоснованно отрицательное отношение к строительству метро в Риге и заставляет задать вопрос: достаточно ли компетентны защитники строительства метро относительно всех этих обстоятельств, была ли у них возможность всесторонне

проанализировать ситуацию! Не является ли такой подход своеобразной страусиной политикой! Если даже мы засунем голову в песок, наша, простите, полуголая задняя часть все равно будет всем видна. Эти диспропорции в развитии города обедняют культурный потенциал Риги и республики, усложняют и без того непростые обстоятельства жизни, ведут к уничтожению, главным образом, среди коренных жителей республики, стимулов к подлинно творческой работе. А это не отвечает основным интересам ни нашей республики, ни всего Советского Союза. Так что не стоит удивляться, что и без того небольшой естественный прирост жителей Латвии упал с 3,3 на 1000 человек в 1970 году до 2,8 на тысячу в 1980 году. В 1987 году, могу сказать вам точную цифру, естественный прирост жителей Риги составил 2956 человек. И в то же самое время механический — 10 200 человек. И в то же самое время естественный прирост жителей уже упоминавшихся Белоруссии и Литвы вдвое больше, чем у нас. В Литве 6,2 и 5,3, а в Белоруссии 7,1 и 6,6 соответственно в 1975 и 1985 годах. Целенаправленное социально-экономическое развитие обеспечило здесь главное — воспроизводство живой силы народа. Даже председатель Госкомитета по труду и социальным вопросам Валерий Чевачин на прошлой сессии Верховного Совета был вынужден признать, что процессы миграции у нас еще слабо поддаются контролю и регулированию. А мне бы хотелось сказать, что руководства ими практически нет. Остается надеяться на существенное изменение в подходах к положению дел — на перестройку народного хозяйства.

И в заключение еще об одном аспекте решения проблемы градостроительства, об объеме капитальных вложений в очень большое проектирование в республике, которое ведется без, с моей точки зрения, достаточно всестороннего обсуждения проекта как среди специалистов нашей республики, так и среди общественности и коллективов творческих союзов. Как известно, поставлен вопрос о проектировании атомной электростанции в Латвии. 13 апреля этого года Совет Министров республики подписал соответствующую схему размещения развития производительных сил по отделу топливно-энергетических ресурсов. Предусмотрено, что Киевский филиал института «Атомэнергопроект» начнет технико-экономическое обоснование строительства этой атомной электростанции в Латвии, то есть, ее бумажную разработку. Это обойдется в восемь миллионов рублей! Технико-экономическое обоснование! За эту сумму, мне кажется, можно доказать где угодно и где угодно. И то, что строительство нового города на 40 тысяч жителей, составляющих обслугу АЭС в непо-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

средственной близости от нее, будет не только необходимо и обоснованно, но и принесет всем только пользу. Не правильнее было бы первым делом всесторонне обсудить, насколько эта схема вписывается в общую концепцию экономического и социального развития республики, поискать, нет ли других, альтернативных вариантов снабжения энергией, ибо огромный промышленный потенциал Латвии работает не только на нужды республики, ведь мы включены в Объединенную энергосистему Северо-Запада. С объективной точки зрения, строительство атомной электростанции в нашей маленькой республике, площадь которой составляет меньше 0,3 процента от всей площади страны, вряд ли может быть обоснованно. Подобным же образом союзный институт «ВНИИПромсырьё» уже разработал технико-экономические расчеты для вскрытия Скайсткалнского гипсового карьера, который станет одним из крупнейших предприятий такого рода в Северо-восточном районе страны и чья мощность решением Совмина ЛССР от 1987 года определена в 450 тысяч тонн гипсового камня в год. Но и это Министерство стройматериалов СССР посчитало слишком малой цифрой. И в начале этого года уже решением Государственно-строительного комитета СССР, поддержанного согласием нашего Министерства стройматериалов, предусмотрено удвоение мощности карьера — до 900 тысяч тонн продукции в год, чтобы обеспечить не только прибалтийский регион, но и отдельные цементные фабрики РСФСР; причем для себя мы составляем меньше 17 процентов для нужд Броценского и Сауриешского комбинатов, хотя, между прочим, они тоже подчинены Министерству стройматериалов СССР. И неужели так уж социально и экономически необходимо создание такого огромного карьера межреспубликанского значения (кстати, стоимость его 20 миллионов рублей — как раз концертный зал) в непосредственной близости от автодороги Вецумниек и Скайсткалне, с расчетным сроком эксплуатации в 84 года! Так же и московский «Гидропроект» разработал проект Екабпилской гидроэлектростанции, который, я считаю, первым делом надо было тщательно обсудить, чтобы продолжать дальнейшее проектирование и некоторые строительные работы. Требование о том, что мы должны лучше хозяйничать на своей земле, первым делом относится именно ко всем нам, к умению рационально и с пониманием продуманного использования территории каждой республики, города, населенного пункта, ибо экономический эффект, рассчитанный только на сегодняшний день, ни в коем случае не может быть единственным и решающим.

По вине редакции в выступлении М. Вулфсона «Об истории честно» допущен неточный перевод текста на стр. 39. После слов «Я напомию текст этого пункта» следует читать: «В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств [Финляндия, Эстония, Латвия и Литва], северная граница Литвы одновременно является границей интересов Германии и СССР».

ОБ ИСТОРИИ ЧЕСТНО

Маврикс ВУЛФСОНС,
старший преподаватель
Академии художеств им.
Т. Залькална, заслуженный
работник культуры.

Надо учиться смотреть правде в глаза, пусть порой это трудно и даже невыносимо.

Следуя этой установке, выраженной в проекте резолюции нашего пленума, мне бы хотелось высказать некоторые мысли о том искаженном толковании, с которым мы продолжаем оценивать события 1940 года в Латвии, сыгравшие роль огромного

исторического перелома в судьбах латышского народа. В последние месяцы я получаю сотни писем со всех концов республики, авторы которых — старые учителя, работники культуры, агрономы, историки, земледельцы, им довелось пережить лето 1940 года. Они категорически отвергают нашу версию о революционной ситуации в Латвии. Они очень сильно влияют на молодое поколение. Все они единодушно придерживаются мнения, что создание Советской власти в Латвии было предпринято 1-м пунктом тайного протокола, являвшегося частью договора о ненападении между СССР и гитлеров-

ской Германией от 23 августа 1939 года. Именно он определил судьбу Латвии.

Я напомию текст этого пункта. «В случае территориальных и политических изменений Балтийские территории (Финляндия, Эстония, Латвия и Литва) по северной границе Литвы одновременно являются границей интересов Германии и СССР». 28 сентября 1939 года был подписан второй протокол, в соответствии с которым Литва включалась в сферу интересов СССР. В этом документе говорилось, что «свои интересы СССР претворит в жизнь с помощью особых мероприятий».

Этим особым мероприятием был ультиматум от 14 июня 1940 года правительствам Латвии и Литвы, который надлежало выполнить в течение семи часов. К вечеру 15 июня армия генерала Павлова широким фронтом подошла к южным границам Латвии. И в 12.30 16-го июня послу Латвии в Москве Коциншу была вручена ультимативная нота, в которой требовалось «1) Незамедлительно организовать в Латвии такое правительство, которое сможет обеспечить выполнение договора между Латвией и СССР о взаимной помощи; 2) Без промедления организовать свободный проход советских войск на территорию Латвии». В ноте было сказано, что ответ необходимо дать в течение 8—9 часов. Если до 20.00 не будет получено положительного ответа, Красная Армия вступит в пределы Латвии. Грубейшее нарушение международных норм. По западной терминологии — «варварская оккупация Латвии». Как известно, правительство Латвии на своем чрезвычайном заседании согласилось с требованиями правительства СССР, чтобы предотвратить кровопролитие и массовую депортацию. Ранним утром 17 июня дивизии Красной Армии пересекли границу Латвии; в тот же день они перешли границу Эстонии и в 11 часов вошли в Таллин. Главные военные силы — армия генерала Павлова — двигалась с юга. В ее задачи входило — «занять аэродром Спилве, Рижскую радиостанцию, телеграф, железнодорожную станцию и мосты через Даугаву. На берегу Даугавы разместить крупнокалиберную артиллерию и танки в боевой готовности». Захват территории Латвии было намечено завершить к 20.00.

18 июня к Ульманису явились заместитель председателя Совета Народных Комиссаров Вышинский и секретарь советского посольства Ветров, которые объявили, что приступают к формированию правительства новой демократической Латвии. 19 июня на линкоре «Марат» прибыло множество советников. 20 июня Вышинский представил Ульманису список нового состава кабинета министров Латвии. Вышинский сказал Ульманису: «Этот список утвержден в Москве, и я не думаю, что там согласятся что-то менять».

Характерна ответная речь профессора Августа Кирхенштейна — первого президента народного правительства в ответ на выступление Ульманиса на первом заседании этого правительства: «Мы благодарны предыдущему кабинету за работу, проделанную им во имя развития культуры, благосостояния и образования народа. От имени нового кабинета обещаю приложить все силы для материального и культурного благополучия латышского народа, для сохранения свободной и независимой Латвии».

Возникает вопрос — неужели сегодня мы можем серьезно говорить о том, что именно в это время в Латвии (к тому же синхронно с Литвой и Эстонией) созрела революционная ситуация? Трудно будет кого-то убедить в том, что конфликт Ульманиса с Балодисом и Валдманисом, что его разногласия со Скуие-ниеком или Валтерсом можно трактовать как кризис верхов. Тревога значительной части общества, опасавшейся нападения гитлеровской Германии, также не была стимулом к социалистической революции или элементом революционной ситуации. Даже заметный рост антифашистских настроений среди рабочих, экономические трудности, связанные с началом мировой войны и блокадой Балтийского моря, не были решающими. В целом несоциалистическая и в идеологическом плане антисоветская позиция была свойственна не только буржуазии, но и заметной части мелкой буржуазии и интеллигенции. На позициях антисоветизма стояла армия, в составе которой было больше 20 тысяч человек, 30 тысяч айзсаргов, репрессивный аппарат полиции, корпоранты, мазпулки, что в целом составляло большинство. Я сам был представителем ЦК КП Латвии в 9-м Резекненском полку, которому обычно приписывают особо активную роль в революционных событиях лета 1940 года. Тем не менее мне надо честно признать, что мы, коммунисты, своими силами практически ничего не могли сделать, ибо офицерский корпус полка, инструкторы и прямые последователи Ульманиса отнюдь не были парализованы вступлением Красной Армии. И даже тогда, когда солдаты полка перешли на сторону народной власти, нельзя было считать, что все они были за установление Советской власти.

О массовых демонстрациях 21 июня в Риге и других городах можно сказать, что они носили первым делом антифашистский и антиульманисовский характер. Лозунг «За Советскую Латвию» был инспирирован и затем санкционирован со стороны Вышинского после выборов в сейм. И между прочим, очень жаль, что именно этот человек, соучастник истребления значительной части ленинской гвардии, в 1940 году был крестным отцом Советской Латвии.

Знаю, что все это — горькая правда. Зная о грубой фальсификации результатов выборов на XVII съезде, целью которой было обеспечить Сталину сохранение поста генерального секретаря, трудно кого-либо убедить в объективности результатов выборов 14 и 15 июля 1940 года. Трудно представить себе, что примерно 180 тысяч представителей латышской буржуазии добровольно голосовали за народную власть; скорее уж, если в самом деле голосовали, то лишь по-

тому, что боялись не получить соответствующую отметку в паспорте. Да, трудно писать историю тех дней. Тем не менее, принимая во внимание, что свержение авторитарного вождистского режима и социалистический выбор Латвии, без сомнения, являются прогрессивными явлениями, историю эту писать можно и нужно, со стопроцентной честностью, чтобы не оставлять нашим идеологическим противникам ни одного аргумента. Мы сами должны выложить все карты на стол!

В этом плане меня беспокоит одна мысль, и, конечно, не хотелось бы, чтобы эту новую и честную концепцию опять искусственно связывали бы с формулой восстановления Советской власти в Латвии. Думаю, что такое понимание ситуации появилось как болезненная реакция на ажиотаж, связанный с проблемой первородства. Почему меня это беспокоит? Потому что, по-моему, нельзя даже сравнивать ленинскую Советскую Латвию 1919 года, которую как независимую социалистическую советскую республику 13 января 1919 года приветствовал ближайший соратник Владимира Ильича Ленина Яков Свердлов; Латвию, вооруженные силы которой представляли 40 тысяч красных латышских стрелков; Латвию, о которой в конце 1918 года писал в правительстве исполняющий обязанности председателя ульманисовского Народного совета Г. Земгалс; считаю необходимым передать власть тем, кому народ больше верит, то есть, большевикам; Латвию, силу которой достаточно точно характеризуют слова буржуазного историка А. Грина о том, что «как только английские матросы были отозваны из Риги, ее судьба была решена — она перешла в руки большевиков» — и вот именно эту Латвию, власть в которой принадлежала Советам, мне бы не хотелось считать предшественницей Советской Латвии, созданной режимом Сталина, ибо в 1940 году Латвия получила советский мандат из рук сталинского сатрапа Вышинского.

Чтобы облегчить нашим историкам выработку новой и справедливой концепции, предлагаю включить в нашу резолюцию требование, чтобы в республиканской прессе был опубликован тайный протокол к договору от 23 августа 1939 года, что лишило бы наших идеологических противников возможности манипулировать им в своих интересах.

Дорогие друзья!

Мне бы хотелось от имени еврейского меньшинства республики высказать благодарности тем участникам пленума, которые предложили и в дальнейшем уделять достаточное внимание особенностям еврейской культуры в Латвии. Меня это тем более тронуло, потому что я не совсем понял недавнее выступление по те-

левидению глубокоуважаемых мною товарищей Горбунова и Петерса, в котором они, говоря об интересах национального меньшинства в Латвии, упомянули и украинцев, и белорусов, и поляков, обойдя молчанием старейшее меньшинство в Латвии — евреев, которые за 500 лет испили с латышским народом не одну горькую чашу, идя вместе с ним одними и теми же дорогами судьбы. Вместе были они в рядах «новотеченцев», бок о бок участвовали в вооруженном нападении на Рижскую тюрьму, вместе сражались в полках стрелков, комиссаром которых был Семен Нахимсон, вместе были на подпольной работе в Латвии. Надо сказать, что в годы буржуазной власти в Латвии работали 66 еврейских начальных школ, 11 средних, был еврейский театр на Сколас 6 с тридцатью актерами, театральная студия и клуб. Но евреи, их прогрессивная часть, вместе с латышскими революционерами мечтали о другой, свободной и социалистической Латвии. Плечом к плечу латыши и евреи сражались на фронтах гражданской войны в Испании, вместе были в числе жертв безжалостных сталинских репрессий 1937—1938 годов и всех их репрессировали 14 июня 1941 года и 25 марта 1949 года. Стоит отметить

что 14 июня 1941 года депортировали более пяти тысяч граждан Латвии — евреев. Евреев унижали и подавляли в Латвии в 1952 году во время так называемого «дела врачей». Не раз они подвергались дискриминации, хотя вклад евреев — ученых, режиссеров, актеров, инженеров и рабочих — в культуру и экономику Латвии отнюдь не мал. Абсолютно неадекватно представительство еврейского меньшинства в высших органах власти нашей республики, в райкомах партии. Мне кажется, что на дверях высших партийных инстанций уже много лет может висеть лозунг «Юденфрай» («Свободно от евреев»). Трудно воплощается в жизнь такая инициатива еврейского населения, как создание памятного ансамбля в честь тех 300 000 евреев, которые были свезены в Латвию со всех концов Европы и здесь уничтожены в 1941—1944 годах. Среди них было 80 тысяч местных уроженцев, в том числе более 70 000 детей младше 12 лет. Мы считаем, что памятник уничтоженным евреям должен быть воздвигнут на месте той синагоги, в которой в первые дни июля 1941 года перконкрустовцы живьем сожгли сотни детей, женщин и стариков, открыв тем самым первую страницу Катастрофы в Прибалтике.

Мне говорили, что товарищ Рубикс возражает против организации музея Жаниса Липке на Кипсале. Созданием этого музея мы хотим восславить тех героев-латышей, которые, рискуя жизнью своей и своих близких, спасали от верной смерти десятки обитателей гетто. Товарища Рубикса не устраивает Кипсала — но — что делать: Жанис Липке там жил, там скрывал жертвы фашизма, там боролся за их жизнь.

Я надеюсь, что наше собрание, уникальное своей гуманистической направленностью, найдет благодарный отклик в среде еврейского меньшинства, который выразится в создании памятного места погибшим и культурного центра — для живых.

Во всем мире отношение к евреям, как малому народу, потерявшему от фашистских зверств 6 миллионов человек, го есть половину своей нации, является своеобразным пробным камнем цивилизованности, гуманизма и чувства сострадания. Хотелось бы, чтобы вы от всего сердца внушили это своим детям, ибо слишком часто мои внуки, приходя из школы, рассказывают, что их обзывают, хотя они и латыши... И в заключение — благодарю вас за то, что могу быть вместе с вами и среди вас!



КАК МИФ



Можно было бы сказать, что Параджанов создал свой мир, если бы мир этот не был мифом.

Мир и миф — два лика нашего сознания. Как цветок и плод, они немыслимы друг без друга, как цветок и плод, одно исключает другое. Миф прозревается слепотой Гомера. Мир — светом и в свете, глазами, сотканными из света, глазами, отзывчивыми на свет.

Там, где кончается мир, где действительность уже неподвластна чувствам, где рассудок теряет нить Ариадны, а видимое и осязаемое не фокусируются в понятия, там начинается миф. Он рождается сразу, как только воспринятое духовно переносится в мир и обряжается в чувственные формы.

Параджанов — мифотворец. Все — от самой формы его существования в мире до отдельных работ нынешней выставки — лишь детали, узлы и штрихи единого мифа. Мифотворец творит лишь однажды, но всей своей жизнью и всю свою жизнь.

Параджанов — реаниматор культуры. Его герои, его глина — это тени забытых предков, памятники материальной и духовной культуры, забытые, умершие, автоматизированные в нашем сознании. Великий труд — вернуть их к жизни — возложен на него. А воскресить умершее возможно лишь в системе мифа.

Топография и временная протяженность параджановского мифа чрезвычайно конкретны.

Это жизнь между смертью и воскресением, сновидным и бодрствующим сознанием. Все его герои, персонажи, коллажи, мозаики и рисунки сомнамбуличны. На грани пробуждения (воскресения) бредут они наощупь к свету нового рождения.

Подобно греческой скульптуре, герои Параджанова смотрят не видя. Дыхание смерти и свет воскресения присутствуют в каждом его кадре.

И разве только в кадре! «Памяти Фаберже» — коллаж, сотканный из осколков сервиза. Что это, как не победа над смертью. Подобно Деметре, вызволившей силой любви свою дочь Персефону из царства тень, Параджанов возвращает из

мусорной свалки к свету и ставит на службу людям осколки отжившей свой век красоты. И это не профанация воскрешения, не иллюзия реанимации, ибо он не склеивает черепки и не реставрирует побитое. Параджанов не реставратор. Душа, испытавшая смерть, должна хранить ее опыт в себе. В «Памяти Фаберже» смерть и новая жизнь красоты сосуществуют в единой плоскости сверкающего коллажа. Как у великих греческих мифотворцев жизнь и смерть проникнуты друг другом. Вспомним Верико Анджaparидзе в роли ясновидящей пророчицы (тоже слепой), вспомним ангела смерти (с завязанными глазами), ведомого резвыми амурами, вспомним Ивана, глядящего в зеркало воды и видящего вместо собственного отражения лицо погибшей Маришки. Так кадр за кадром можно проследить все ленты Параджанова, начиная с «Теней забытых предков», ибо любят, живут и страдают его герои в зыбком пространстве между тьмой и светом.

Открытость миру, восторг и удивление ощущаем мы в лучших работах Феллини. Параджанов уводит за зримое, погружает туда, где глаза не нужны, где, сопричастный душе вещей, дух, порождая формы и образы, выносит их в мир, на свет — мы вновь открываем глаза. Бергман замыкает нас в панцирь рефлексии, погружает в себя — мир расколот и сама жизнь, освещенная солнцем, превращается в иллюзию и мираж. И только Параджанов знает путь назад. Из преисподни, из небытия он возвращает в мир жемчужины прекрасного.

Чтобы родить красоту, поэт опускает веки. Чтобы создать мир зримый и видимый, он исходит из незримого. Но не столько в формах и образах, красках и пластике запечатлены плоды его труда, сколько в нашей способности видеть и слышать, чувственно воспринимать.

Не антиквар, не этнограф, не вещист, не визионер, не реставратор предстает перед нами в лице Параджанова. Служа «теням», он не фетишизирует, не обожествляет их. Истинный смысл его реаниматорской деятельности — возродить целостности и нерасчлененности культуры. Вернуть ей тот архетип праязыка, в котором еще немислима расчлененность во времени и пространстве. Персидское, тюркское, славянское, грузинское, итальянское; языческое и христианское, классиче-



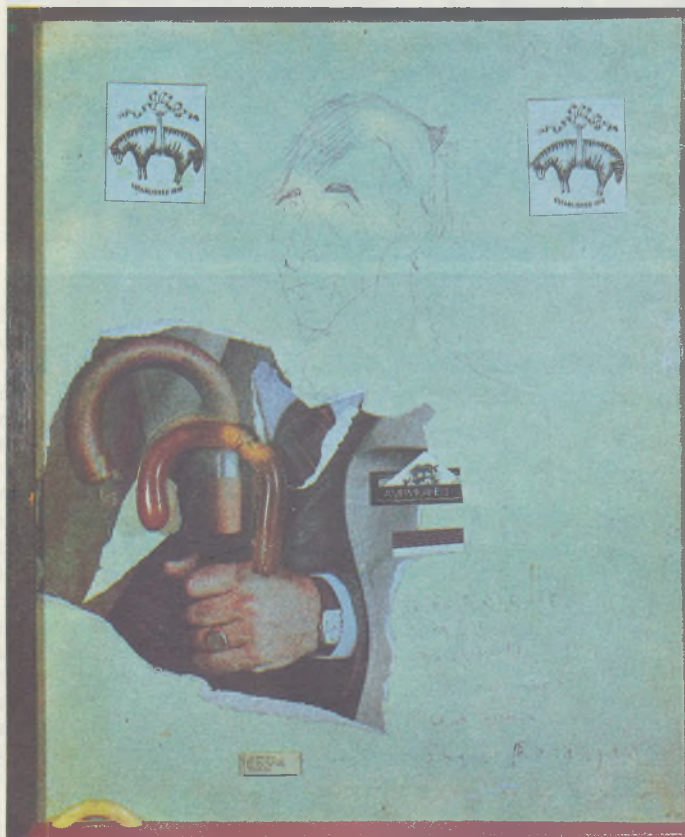
БУКЕТ НЕВЕРНУВШЕМУСЯ БРАТУ



ВЫБОРЫ МАРИОНЕТОК



Я ПРОДАЛ ДАЧУ



АВТОПОРТРЕТ ДЖ. АПДАЙКА, СКОЛЛАЗЖИРОВАННЫЙ С. ПАРАДЖАНОВЫМ



ЧЕМОДАН МОЕГО ДЕТСТВА, ПРЕВРАЩЕННЫЙ В СЛОНА

ское и современное, архаическое и актуально-бытовое, филигранное и грубо сколоченное — все в одинаковой степени легко и естественно вписывается в систему его мифа, как в собственную среду обитания. И, вписавшись в параджановский миф, тотчас обретает уникальные, только ему присущие очертания.

Всякая мифология имеет свой неповторимый пластический образ. Греческую пластику не спутаешь с индийской, индийскую с ацтекской, последнюю с египетской. Не пробуждается ли трудами Параджанова столь отличный от всех других пластический образ армянской мифологии? И не армянская ли культура, столько раз словно Феникс воскресавшая из пепла, лежит в основе параджановского мифа? И разве случайно, что именно в духовной среде народа, стоящего у колыбели цивилизации, возникла идея возродить архетип культуры?

В мифе, как в мире, прекрасное и гениальное сосуществует с пошлым и безобразным. С точки зрения мироздания и то и другое одинаково естественно и необходимо. И у Параджанова — рядом с эталонной красотой можно увидеть кич и откровенную безвкусицу. Но ведь сами слова-то эти взяты из сферы искусства. Формулы и законы, выработанные эстетикой и искусствоведением, не применимы к мифологии, как неприменимы и неприемлемы нравственные принципы в отношении червя, поедающего корни сирени.

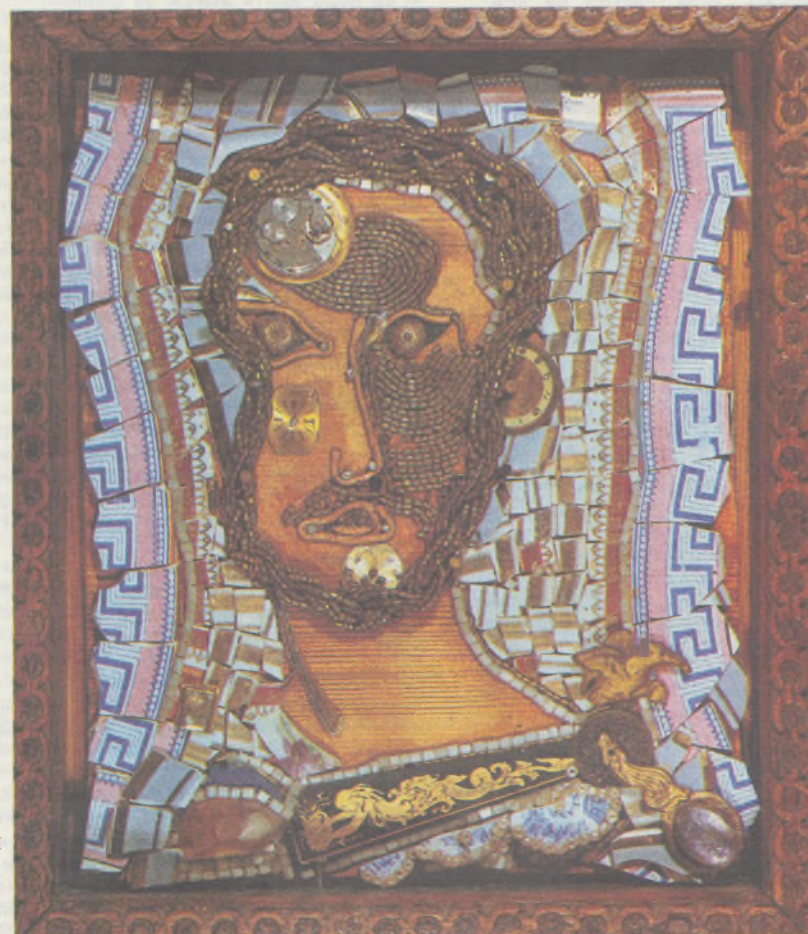
Параджанов — мифотворец, а эта выставка — еще один праздник среди будней и праздников создаемого им мифа. Впишите ее в контекст уже ставших историей «Теней забытых предков», «Цвета граната», «Акопа Овнатаяна», в контекст еще будоражащих умы «Легенды о Сурамской крепости» и «Пиросмани», в контекст отшумевшей уже тифлисской выставки, в контекст его быта в доме на самой вершине горбатой улицы Месхи, быта и будней, каждый миг которых — праздник вдохновения и вы получите более или менее полный, к счастью, еще неподписанный текст параджановского мифа.

И эта выставка... Талант, мастерство, фантазия, гений художника — это лишь средства, чтобы привлечь нас на дионисийский праздник смерти и воскресения, приобщить к глубинному смыслу параджановского мифа.

ИРИСЫ



ПОРТРЕТ Д. ОЛЬБРЫХСКОГО



ФОТОРЕПРОДУКЦИИ ЗАВЕНА САРКИСЯНА (АРМЕНИЯ)

ROCK IN THE USSR

(Продолжение. Начало см. №№ 5—8)

«Аквариум» тоже не снискал лавров на фестивале, зато им удалось устроить скандал непосредственно в зале филармонии и не прибегая к оружию — группа сыграла один из лучших концертов в своей карьере. Удельный вес электрического рока возрос по сравнению с московской программой. Появилось несколько отличных новых номеров: «Кусок жизни» («Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон!»), «Герои» («Порой мне кажется, что мы герои — стоим у стены, никого не боясь; порой мне кажется, что мы — просто грязь...») и «Минус 30». Последняя песня, пожалуй, моя любимая в репертуаре «Аквариума». Это рок в среднем темпе, построенный на гипнотической рифме и обладающий особой «ритуальной» распеваемостью, чем-то напоминающий некоторые песни Джима Моррисона и Патти Смит. Слова примерно такие:

«Сегодня на улицах снег, на улицах лед.
Минус тридцать, если диктор не врет.
Моя постель холодна, как лед.
Но здесь не время спать, не время спать.
Здесь может спать только тот, кто мертв.
Вперед! Вперед!
Я не прошу добра,
И я не желаю зла,
Сегодня я опять среди вас —
В поисках тепла».

Подруга, с которой я был тогда в Тбилиси, не имела никакого отношения к року, но прекрасно разбиралась в театре. Бедняге было довольно скучно на концертах, но «Аквариум» произвел впечатление: «О, это почти как Брехт», — сказала она.

«И когда я стою в «Сайгоне»*,
Проходят люди на своих двоих
И большие люди в больших машинах,
Но я не хотел бы быть одним из них».

На фоне относительной респектабельности наших рокеров, или, по крайней мере, стремления к таковой, «Аквариум» выглядел настоящей бандой бунтовщиков. Когда Борис начал играть на гитаре стойкой от микрофона, а затем лег на сцену, держа обалдевшей от такого обращения одолженный «Телекастер» на животе и бряцая по струнам, жюри в полном составе встало и демонстративно покинуло зал, как бы говоря — мы не несем никакой ответственности за выступление этих хулиганов. Концерт, между тем, продолжался. Виолончелист Сева водрузил на лежащего лидера виолончель и начал перепиливать всю конструкцию смычком, фаготист,

бегая вокруг со своим зловецим инструментом, имитировал расстрел всего этого безобразия... Такого Грузия еще не видела; половина зала неистово аплодировала, половина — возмущенно свистела.

Но это были еще цветочки по сравнению с тем, что творилось в кулуарах. Бардак на сцене почему-то был расценен руководителями филармонии, как демонстрация «гомосексуализма». «Зачем ты привез сюда этих голубых?!» — спрашивал удрученный Гайоз. Претензия была сногшибательно неожиданной. «Почему голубые? Они нормальные ребята. Это у них такое шоу, эксцентрика...» «Нормальные? Один ложится на сцену, второй на него, третий тоже пристраивается. Дегенераты, а не музыканты!» Следующим пунктом обвинения была песня «Марина». Там были слова:

«Марина мне сказала, что ей стало ясно,
Что она прекрасна,
А жизнь напрасна,
И ей пора выйти замуж за финна».

Последняя строчка показалась Гребенцову слишком смелой, и он, вместо «финна» пропел: «выйти замуж за Ино». Жюри, естественно, не знало, кто такой Брайан Ино, и им послышалось: «выйти замуж за сына» — что также, естественно, было воспринято, как пропаганда половых извращений. Поначалу, организаторы хотели немедленно выслать «Аквариум» с фестиваля, но после долгих Бориных и моих «разъяснений» смягчились и группа даже сыграла второй концерт в большом и холодном цирке города Гори, в сотне метров от места рождения И. В. Сталина. Этот концерт был заснят съёмочной группой финского телевидения (опять финны!) и частично вошел в их сорокаминутный фильм о тбилиском фестивале (в фильме под названием «Советский рок» были также представлены «Машина времени», «Magnetic Band», «Автограф», «Интеграл» и таджикский jazz rock «Гунеш»).

Настоящие проблемы начались у «Аквариума» уже по возвращении в Ленинград. Конкуренты из местной рок-мафии поспешили донести городскому культурному руководству подробности тбилисской эпопеи, изрядно их приукрасив и «устрашив» — после чего группа лишилась места для репетиций, а Гребенцов — должности лаборанта. Легенда начала расти.

Надо сказать, что в аутсайдерах в Тбилиси оказались не только представители «новой волны», но и ансамбли прямо противоположного крыла — уважаемые и консервативные ВИА. «ВИА-75» («номер один» в Грузии), «Ариэль» и Группа Стаса Намина (бывшие «Цветы») прибыли на

фестиваль, чтобы спокойно победить и пожать урожай всеобщего обожания. Вместо этого они были холодно приняты публикой и — что оказалось для мэтров полной неожиданностью — отнюдь не привели в восторг жюри. Оглашение результатов конкурса стало для них настоящим шоком. Во время концерта лауреатов Стас Намин, обычно очень «видный» и самоуверенный, скромно стоял сбоку и из-за кулис сосредоточенно наблюдал, как играют «Автограф» и все остальные... Он понимал — перед ним «модель этого года».

Итак, здоровый рок-центризм праздновал триумф. Вчерашний истеблишмент оказался в «динозаврах», а вчерашний «underground» — в лидерах. Это считается главным результатом «Тбилиси-80». Разумеется, не будь фестиваля, произошло бы то же самое — но несколько позже и не в столь блестящей драматической наглядности. Газеты и радио раструбили по всей стране весть о «новых дарованиях», представляющих «перспективные направления» в «молодежной эстрадной песне»... Конечно, фанфары чуть-чуть запоздали, но это не делало их менее заслуженными. Началась первая эра расцвета рока на официальных основаниях.

У Андрея Макаревича были все причины быть счастливым, — как у человека, который двенадцать лет рыл тоннель и, наконец, выбрался из него на свет. Однако он не выглядел ослепленным, и наш единственный обстоятельный разговор в Тбилиси — прямо накануне отлета — имел горьковатый привкус. «Ну вот, теперь ты считаешь нас буржуями и продажными элементами», — Макаревич имел в виду пресс-конференцию после фестиваля, где я заявил, что теперь у «Машины времени» есть все шансы стать признанными поп-звездами, заменив наскучивших и устаревших «Песняров», «Самозвездов» и т. п. «Думаешь, если нас одобрило жюри, взяла на работу филармония, — мы уже не те и не заслуживаем внимания? Это очень ограниченная позиция. Музыканты, и рокеры в том числе, должны работать про-

* Амбициозный Стас решил взять реванш за поражение в Тбилиси, воспользовавшись для этого традиционным армяно-грузинским соперничеством. Летом 1981 года в Ереване, столице Армении, по его инициативе был организован поп-фестиваль на стадионе. Перед открытием ходили слухи о приезде Пола Маккартни и «Би Джиз». На самом деле выступил Стас Намин, «Magnetic Band», несколько традиционных поп-исполнителей (Валерий Леонтьев, «Веселые ребята») и пара джазовых составов. Тбилисский фестиваль не был ни превзойден, ни, к сожалению, даже продолжен. Гайоз Канделаки теперь возглавляет Кавказский филиал «Мелодии» и устраивает Международные джазовые Биеннале. Следующий — в сентябре 1988 года.

* «Сайгон» — «культовая» забегаловка в центре Ленинграда. Детали — в следующей главе.

фессионально, зарабатывать деньги своей музыкой... Ты же знаешь, я не иду ни на какие компромиссы и мы играем поем то, что нам на самом деле близко. Мы не стали хуже, не стали глупее — просто изменилось отношение и к жанру, и к нам». — «Согласен, но вот бедный «Аквариум» чуть не выслали из города...» — «А тебе не кажется, что это именно то, чего они хотели? Устроить скандал, произвести по возможности более отталкивающее впечатление — как это делают в панк-роке... Кстати, и для этого надо обладать определенными навыками. Я не считаю, что «профессионализм» — это только техника игры. Профессионализм — это способность добиваться нужного результата... Боря хотел вызвать смуту, и ему хорошо удалось. Молодец! И нам никогда не нужна была скандальная слава, я никогда не стремился кого-либо запугивать. Хотя некоторые и могли воспринять нас, в конечном счете — о доброте, чистоте... любви, если хочешь. И слава богу, что это наконец поняли и перестали болтать о «пессимизме» и «фиге в кармане».

Что я мог ответить? Да, все было в порядке, конечно. «Машина времени» прослава сквозь асфальт и смешно было бы затапывать их обратно. Просто появились люди — тот же «Аквариум» — которые нуждались в моей поддержке больше. Это небольшое выяснение отношений вскоре нашло свое отражение в вещи Макаревича под названием «Барьер», где он пел:

«Тебя манил любой запрет,
Ты шел, как бык, на красный свет.
Никто не мог тебя с пути свернуть.
Но если все открыть пути —
Куда идти и с кем идти?
И как бы ты тогда нашел свой путь?»

О, да... В самом деле, если не все, то многие пути вдруг оказались открытыми. В центральной прессе появилось много комплиментарных статей об отечественном роке* (публикации изредка попадались и раньше, но в них наши рокеры представляли, в основном, в амплу отрицательных героев — малокультурных ребят, попавших под «дурное влияние»). По радио начали передавать считавшиеся ранее «непроходными» песни. Вмосковском Ленкоме и некоторых других театрах с феноменальным успехом шли рок-мюзиклы (самый известный из них — «Юнона и Авось», Алексея Рыбникова). И, самое главное, — «Машина времени», «Автограф», «Аракс», «Диалог», «Magnetic Band» начали триумфальные гастроли по стадионам и Дворцам спорта больших городов. По улицам были расклеены афиши, где было крупно напечатано: «Рок-группа».

Мощный прорыв рок-музыки на профессиональную сцену в основном объяснялся коммерческими причинами: ВИА, несмотря на массивную теле- и радиопропаганду, изрядно надоели массовой аудиторией и перестали приносить верный доход. Концертные организации терпели убытки и не выполняли планы. Молодая публика ждала рока и готова была его принять: десятилетие упоенного слушания иностранных пластинок и паломничества на «неофициальные» концерты создало все предпосылки. Фактически, несмотря на полное отсутствие поддержки со стороны государственных культурных

органов, рок стал любимой музыкой миллионов, стал нормой — примерно в той же степени, что в любой европейской стране. Теперь эта «норма» принимала и «нормальные» формы. Слушатели ждали мощного звука, ритмического «завода» и понятных русских слов, не ограничивающихся банальной лирикой. И они это получили.

«Машина времени» была беспорядным «номером один». Их первые гастроли в Ленинграде по накалу ажиотажа вполне можно сравнить с массовым безумием времен «битломании». Тысячи подростков атаковали Дворец спорта «Юбилейный»; автобусы, в которых везли музыкантов, совершали хитрые обманные маневры, чтобы спасти Макаревича, Кутикова, Ефремова и Подгородецкого от восторженной толпы. В Минске поклонники, не доставившие билетов, прорвались на концерт, выломав двери. Аналогичное происходило практически во всех городах, куда приезжала группа. Конечно, многих это раздражало. После гастролей в Сибири «Комсомольская правда» опубликовала под заголовком «Рагу из Синей птицы» открытое письмо местных деятелей культуры с резкой крипличкой в адрес «Машины», привычными обвинениями в «несоответствии нашим идеалам» и призывами дезавуировать новых фальшивых «идолов». В ответ, однако, редакция получила двести пятьдесят тысяч (!!!) возмущенных писем, под многими из которых стояло по сто и более подписей. Газете ничего не оставалось, кроме как предоставить трибуну «гласу народному», вставшему на защиту своих любимцев от консерваторов.

Тронулся лед и в сфере грамо-индустрии. Рок-дискография* началась с пластинки эстонского «Апельсина» (кантри-рок, рокабилли и музыкальные пародии).

Затем вышел и первый значительный альбом — «Русские песни» Александра Градского. Это удивительно яркие и смелые интерпретации восьми аутентичных народных песен, созданных на протяжении тысячи лет — от языческих ритуалов до революционного марша. К сладкому фолк-попу «Песняров» или «Ариэля» это не имеет особого отношения — все номера предельно насыщены, эмоциональны, с выдумкой аранжированы и в целом складываются в осмысленную историческую ретроспективу. Интересная, местами даже страшноватая музыка. Одна песня — «Плач» — абсолютно фантастична и не похожа ни на что. Градский сделал наложение порядка десяти вокальных партий, где пел за мужчин, женщин и безумных старух, причитающих на древнем похоронном языке. У Градского великолепно поставлен голос — парень даже проходил прослушивание в Большом театре — но здесь он клянется, что после записи неделю не мог говорить. Если это не рок, — то что-то еще покруче... Из пяти альбомов А. Градского «Русские песни» остаются непревзойденными. Наверное, дело тут в уникальности фольклорного музыкального материала: собственные композиции Градского довольно скучны, и даже замечательное пение их не спасает.

Бестселлером сезона, однако, были не «Русские песни» и даже не очередной диск Аллы Пугачевой, а альбом под названием «Диско-альянс», записанный абсолютно неизвестной латвийской группой

«Зодиак». В десяти инструментальных электронных пьесах, очень сильно напоминавших продукцию модной тогда французской группы «Срасе», не было ничего примечательного, за исключением одного — качества записи. Продюсером альбома был сам директор рижского филиала «Мелодии» Александр Грива — и он не пожалел ни студийного времени, ни пленки, чтобы поработать с группой совсем молодых студентов консерватории (среди которых как-то сейчас почти забыт, но он сыграл свою роль в «культурной эволюции», установив некие нормы качества и внушив многим верную мысль, что мало уметь хорошо играть и интересно сочинять — надо еще и работать со звуком. «Мелодия» — по не очень понятным причинам — никогда не разглашает тиражей своих пластинок, но по приблизительным оценкам «Диско-альянс», так же, как в свое время первый альбом «Песняров» и диски Давида Тухманова, разошелся в количестве порядка пяти миллионов экземпляров.

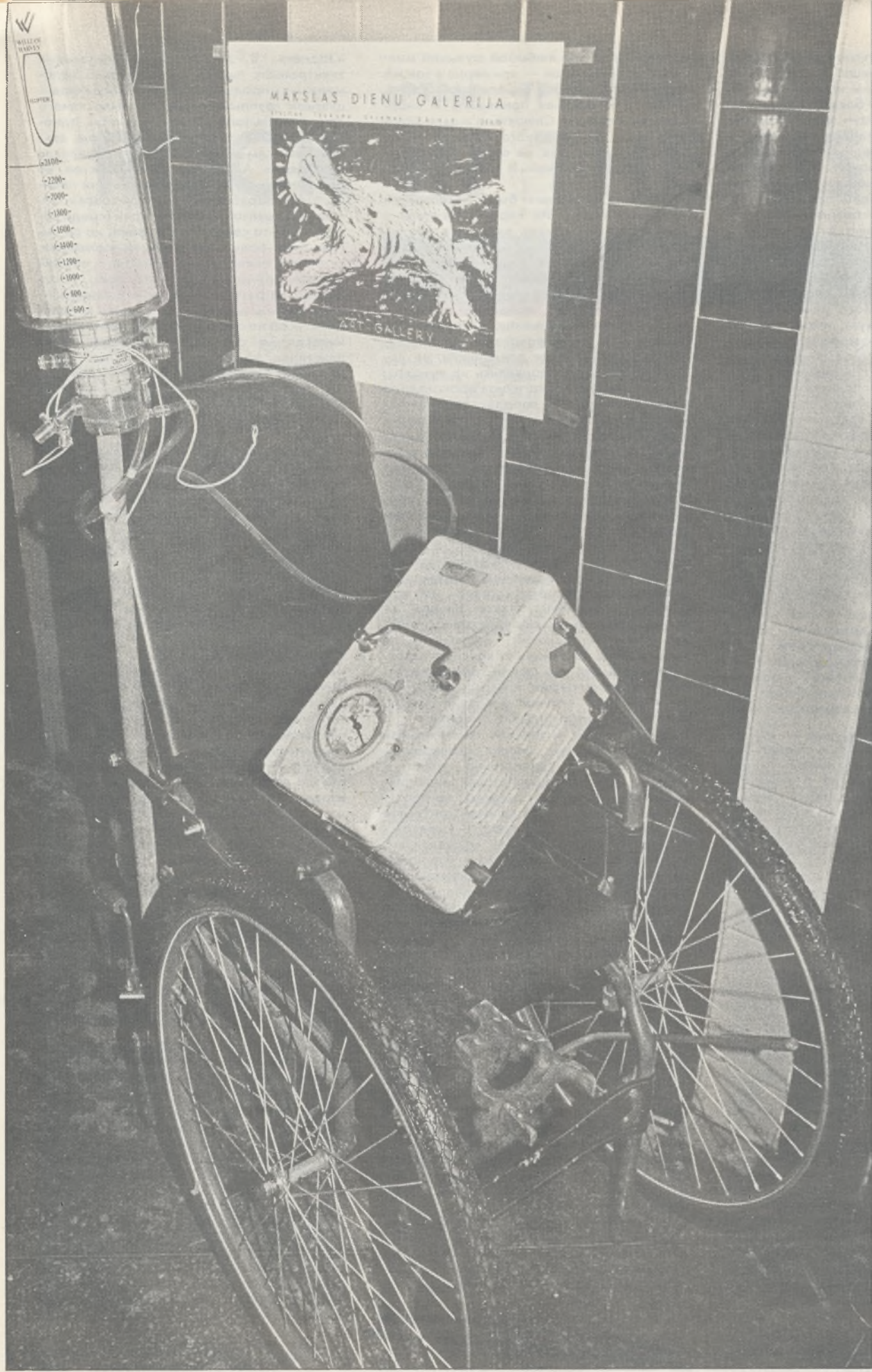
Олимпийские игры не сыграли в судьбе советского рока никакой роли. Культурная программа была насыщена стандартными «экспортными» экспонатами — фольклорными хорами и классическим балетом — и, разумеется, спортивными маршами. Я запомнил Олимпиаду-80 только по обилию финских прохладительных напитков, смешным английским объявлениям станций метро и странно пустынным улицам и магазинам. Да, это был не фестиваль 57-го года... (Как некоторые рассчитывали).

Но одно важное событие в конце июля произошло. В возрасте 43 лет от цирроза печени умер Владимир Высоцкий, великий русский бард. На его похороны пришло несколько десятков тысяч человек; без преувеличения можно сказать, что это был национальный траур... Сила и магия Высоцкого будоражили всех — от школьников до ветеранов войны. Его пение было взрывной смесью из боли, юмора, сарказма и отчаянного правдоискательства. При этом, в отличие от традиционной для наших «поющих поэтов» абстрактной лиричности и массы художественных метафор, творчество Высоцкого наполнялось всеми реалиями ежедневной жизни и очень конкретными колоритными персонажами. Его не смущали темные и болезненные стороны действительности, и среди героев песен были пьяницы, воры, сумасшедшие. И он сам, сделавший в одной из песен душераздирающее признание — «И ни церковь, ни кабак — ничего не свято» — вряд ли мог считаться «благополучной» личностью.

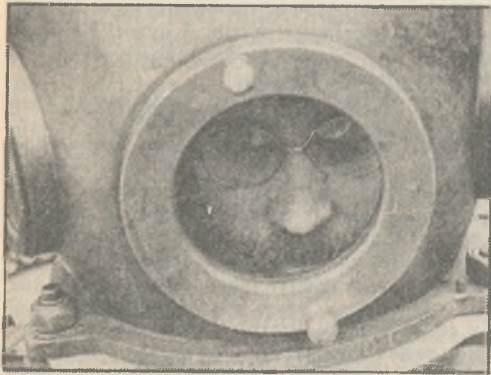
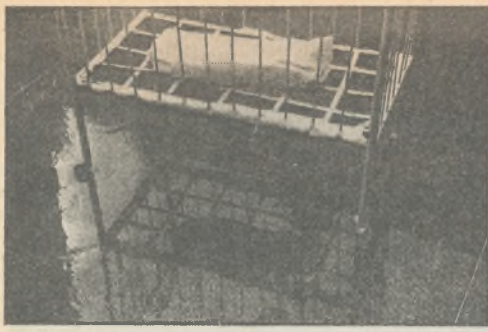
Высоцкий был профессиональным актером в Театре на Таганке (даже играл там современного Гамлета с гитарой), но его песни были настолько выстраданы и достоверны, что в сознании людей он отождествлялся и с их персонажами, и с самими слушателями, и сам вырастал в подлинно фольклорного героя. Чиновники относились к нему с большой опаской, но не могли не считаться со всеобщей популярностью. К нему существовало то же двойственное, «сумеречное» отношение, что и к рок-группам до 80-го года: ни формального запрета, ни официальной поддержки. Только после смерти выпустили несколько пластинок и сборник стихов, но это была капля в море — ведь Высоцкий написал более тысячи песен!

* Я написал первую статью о «Машине времени» в 1976-ом. Она не была напечатана. Весной 80-го вышло сразу две!

(Продолжение следует)



ГАЛЕРЕЯ ДНЕЙ ИСКУССТВ В ПРИВОКЗАЛЬНОМ ТУННЕЛЕ. 1988, АПРЕЛЬ.
Участвовали: Андрис Бреже, Оярс Петерсонс, Юрис Путрамс, Кристапс Гелзис,
Олегс Тиллбергс, Сармите Малиня, Сергей Давыдов, Тенис Грасис, Вилнис Заберс,
Нормундс Лацис, Улдис Лиепкалнс, Артис Руткс, Вилнис Путрамс.



ВСЕ ТЕЧЕТ И «НЕ» МЕНЯЕТСЯ: РЕКОНСТРУКЦИЯ МЫСЛЕЙ И ФАКТОВ ПРОШЛОГО

Разнообразие точек зрения быть должно, и все же...

«Мы никогда не будем откликаться на реальные события прошлого, если они не такие, какие нам нужны», — так писал об отношении человека к прошлому американский философ, представляющий направление позднего прагматизма, — Джордж Герберт Мид.

Мид отталкивается от характерной для прагматиков точки зрения, буд-то предмет познания непрерывно меняется, что познание «реконструирует» его. И потому любая реальность существует только в своей сиюминутной форме. Прошлое не самостоятельно и не постоянно: оно всегда служит разъяснению настоящего... Мир непрерывно меняется. Но новое невозможно объяснить уже имеющимися представлениями о прошлом, и потому каждый новый день требует нового разъяснения прошлого, разъяснения с позиций именно этого дня. В результате прошлое — не более, как реконструкция мыслей, содержание которых определяют проблемы настоящего. Мид считает, что каждый, историк не только изменяет прошлое, но более того — не может его не изменять.

Александр Дialeктик защитил диссертацию, в коей легко разгромил Мида, доказав, что он отрицает объективность прошлого, его независимость от интерпретации человека. Правда, Мид никогда и никого не пытался убедить в противоположном. Но это не уменьшало титанического значения диссертации.

Пусть гносеологический аспект этого вопроса останется для диссертации Августа Дialeктика. Но разве на наше отношение к прошлому не влияют кресла, в которых мы сидим, и постели, в которых спим? Хороший тон, принятый в обществе, где мы живем?

Разнообразие точек зрения быть должно, и все же...

Кажется, это «и все же» в последнее время чаще всего сопутствует высказываниям о социалистическом плюрализме. Тысяча и одно «и все же». Вот одно из них: «Должно быть разнообразие взглядов, плюрализм, как теперь принято говорить, но мне кажется, что в принципиальных вопросах должно быть единство взглядов и единство действий, ибо на основе единства взглядов рождается единство действий»¹.

Разнообразие и единство. Дialeктика... Вот и пришло время познакомиться с удивительным человеком — нашим шефом Августом Дialeктиком. Он человек очень талантливый и признанный в любое время. Сейчас находится в первых рядах борцов за перестройку. Великий специалист во всех науках, защитник наших идеалов и критик буржуазных ценностей. Блестает совершенно энциклопедическими знаниями даже о тех авторах, трудов которых не читал. Например, о Дж. Оруэлле:

«В произведениях 40-х годов выражается антикоммунистическая идеология [антиреволюционная сатира «Скотный двор», 1945; антиутопия «1984 год, 1949»]².

Это сказано уже во время перестройки. Да, еще совсем недавно за книги Дж. Оруэлла могли и засадить. Одним из главных грехов бывшего инженера ВЭФа, покойного Гунарса Астры, был именно роман Дж. Оруэлла «1984 год». Но все течет и изменяется. Когда Гунарс Астра еще «досиживал» последние дни из девятнадцати лет, проведенных в заключении, «Литература ун Максла» опубликовала воспоминания Гунарса Приеде. Уважаемый драматург был одурманен антикоммунистической пропагандой уже в 1967 году.

«... роман Оруэлла меня как дубиной по голове шарахнул, только искры посыпались, до сих пор не могу опомниться и еще долго не смогу, куда там. Каждый абзац с чем-то ассоциируется, а что говорить о всем произведении!»³

Подумать только, дубиной по голове! Да, Август прав, это — экстремизм. Конечно, такая диверсия заслуживает уголовной ответственности.

Но все течет и изменяется. И взгляды Августа Дialeктика. Теперь он нас учит, что наступили демократия и свобода слова. Метаморфоза случилась тогда, когда название романа Оруэлла «1984 год» стало все чаще появляться на страницах всесоюзных изданий. В эпоху гласности стало возможно кое-что опубликовать, только чтобы соответствующие комментарии направили читательскую мысль в нужное русло.

В вымышленном государстве, изображенном в романе Оруэлла «1984 год», существует специальное ведомство — «Министерство Правды», которое занимается корректировкой прошлого. Если, например, не сбылось предсказание, которое глава государства сделал пять лет назад, то из архивов достаются газеты пятилетней давности и заменяются свежеепечатанными, в которых предсказание уже соответствует действительности. Если среди руководителей появляется некто новый и никому до сих пор не известный, — прошлое изменяется соответствующим образом. Теперь каждый, заглянув в старые газеты, обнаружит, что к этому человеку уже давно прикованы взгляды всей нации, все государство приветствовало его восхождение ввысь. А если, наоборот, кто-то вдруг исчезает, из газет и архивов изымаются все сведения о нем. Тот, кто исчез бесследно, становится вообще не существовавшим.

В статье доктора философских наук Леонида Ионина, опубликованной в издании АН СССР, это «Министерство Правды» упоминается в контексте проблем советского общества⁴. От периода культа личности Сталина до наших дней. Читаешь про «Министерство Правды» у Оруэлла, а на ум приходят ушедшие в небытие в годы сталинских репрессий военачальники, ученые, писатели, просто честные люди. Пролеткульт. 1956 год — культ личности и волюнтаризм осуждены. Наступают времена бесчисленных прославлений Хрущева и Брежнева. И опять — упреки в субъективизме и волюнтаризме. В решающей деятельности Брежнева на Малой Земле и в преувеличенной роли Черненко в Великой Отечественной войне.

Сколько раз за эти годы Август Дialeктик декларировал, что наконец-то основано самое правдивое «Министерство Правды»!! Но все равно каждый последующий день отрицал предыдущий. Совсем по закону «отрицания отрицания». Дialeктика!

Но, Август, не слишком ли дорого обошлась вся эта дialeктика! Жертвы сталинизма. Жертвы застоя. Разрушенные семьи, уничтоженные люди и народы, искалеченные жизни и души. Манкуртизм. Неужели и дальше мы будем строить коммунизм по антикоммунистическому сценарию Оруэлла!

Теперь Август Дialeктик считает хорошим тоном провозглашать, что «Министерство Правды» как таковое вообще ни к чему. В этой связи, до известного времени, Август охотно цитировал М. Вульфсона: «... история, в отличие от книг о ней, не позволяет белло листать и читать свои страницы. И только постепенно, порой скупно, раскрывает она людям свои истины. В истории не существует такого понятия, как последнее слово. Следующие поколения историков дополняют сказанное или переписывают заново»⁵.

Все течет и изменяется. После выступления М. Вульфсона на расширенном пленуме правления Союза писателей отношение Августа Дialeктика к седому комментатору резко изменилось. Там, где раньше Август видел дialeктику, теперь он разглядел политическую проституцию. Критерий оценки тут один — соответствие точке зрения «Министерства Правды» Августа Дialeктика. Разнообразие точек зрения быть должно, и все же... «В последнее время получили распространение мнения, отрицающие факт существования революционной ситуации в Латвии летом 1940 года, и выражающие сомнение, было ли восстановление Советской власти в республике правомерным.

Не получив должного отпора, субъективные трактовки исторических событий, которые безответственно приняли некоторые средства массовой информации, дезориентируют общественное мнение и служат платформой для консолидации националистически настроенных элементов»⁶.

Очевидно, пленум ЦК КПЛ руководствовался прагматической концепцией Герберта Мида: Прошлое есть не что иное как реконструкция мыслей, содержание которых определяют сегодняшние проблемы. В таком случае правду о событиях 1940 года следует искать не в прошлом, а в сегодняшнем деле. «Консолидация националистически настроенных элементов» — вот, оказывается, критерий исторической правды о событиях 1940 года. И никаких дискуссий. «Министерство Правды» опять действует. По разумению Августа Дialeктика принцип социалистического плюрализма

⁴ Ионин Л. Г. «... И воззовет прошедшее» — «Социологические исследования», 1987 г. № 3, с. 62—79.

⁵ М. Вульфсон «В листопаде, в отблеске войны» — «Циня», 4 октября 1987 г.

⁶ «Московские Новости», 26 июня 1988 г.

² Речь А. Клауцена на майском пленуме ЦК КПЛ — «Циня», 8.V.1988

³ ЛСЭ, том 7, 1986.

⁴ «Литература ун Максла», 18 марта 1988 года.

таков: разнообразие взглядов должно быть, но взгляды не могут быть разными. И Август торопится повторить, что демократия — не анархия и не вседозволенность.

Против такой интерпретации демократии направлено решение пленума ЦК КПЛ от 18 июня о политической ситуации в республике. К сожалению, вышеупомянутый пленум соответствует мнению, высказанному С. Коршуновым:

«Рядовой коммунист до сих пор мало знает о будничной деятельности того или иного партийного органа, и еще меньше — о взглядах, позициях, условиях и образе жизни его членов. Нам предлагают только тексты решений, а внутреннюю жизнь партии следовало бы освещать прожекторами перестройки (и не только по телевидению), проветрить сквозняком гласности. Максимальная гласность не только для членов партии, но и для беспартийных. Уже 1988 год. Но аппарату трудно отказаться от привычной замкнутости даже семьдесят лет спустя после революции, даже во время перестройки...»⁷

И опять окутана мглой деятельность «Министерства Правды». Только оно решает, что же такое эта «консолидация националистически настроенных элементов». Ход пленума, доклад, дебаты так и остались за пределами гласности. Закономерно возникает вопрос: не сводит ли Август Диалектик политическую ситуацию в республике к заботам о своем кресле!

Признаком интеллигенции долгое время было замалчивание острых проблем нашего общества. Разделение личности — на будничного человека и функционера. А если совесть когда и взбунтуется, на помощь спешит Август Диалектик. В выработанной им тактике борца за перестройку имеются сотни аргументов, доказывающих, что и в атмосфере гласности правильнее было бы полагаться. Случается же, что этим же вопросом занимается некая компетентная комиссия. А ей, комиссии, куда виднее! И опять Август Диалектик ссылается на закулисную борьбу группировок «сталинистов» и «горбачевцев» на очень высоком партийном уровне. Если ты теперь во всю глотку крикнешь всю правду, это может повредить процессам перестройки и демократизации. Надо помолчать. Посмотрим, что будет после партконференции. А если не удастся придумать ничего нового, Август использует старый прием: хлопает по плечу, хвалит за полет мысли, но, к сожалению, о таких сложных вещах нужно говорить умнее и тоньше.

И я утончаю с утра до вечера. С вечера до утра. Как будто готовлю тайный заговор. А если никто уже ничего не понимает, значит, получилось достаточно мудро и тонко. Только и сам я уже не могу понять, мое ли это мнение, Августа, или еще чье-то! Но, Август, я хочу быть самим собой!

Наверно, я никогда не добьюсь такого позволения от шефа Августа Диалектика. Остается только посмотреть телепередачу, где актриса, говоря о наболевших проблемах общества, остается великой актрисой до последней паузы и жеста. И комментатор — профессиональный угорь. Август добродушно ухмыляется. Но и актриса, и комментатор — они еще и люди. Раз в год их заносит в компанию истопников, и они там пьют водку. Закусывают соленым огурцом и выкладывают, что на душе накопилось. Август Диалектик, говорят, дурак. Это трагедия не только индивида, но всего народа, если ханжество или даже филигранное лавирование становятся профессиональным признаком какой-то отрасли.

Но на душе полегчало, хмель проходит, и пора опять возвращаться в реальность. Мнение дурака опять становится несомненным критерием истины. И как хорошо, что есть Август Диалектик! Все свои глупости можно оправдать следованием его указаниям. Я же понимал, я же хотел, а мне не позволили...

Что тебе не позволило жить в гармонии с самим собой? Кресло! Постель! Покой!

И все же среди советской интеллигенции немало людей, которые не молчали даже в безнадежные годы. Александр Сахаров, Александр Солженицын, Рой Медведев, Борис Пастернак, Иосиф Бродский, Александр Галич... Этот список можно продолжать и продолжать. По всему Советскому Союзу их наберется много. А по Латвии! Так сразу и не вспомнишь. Парочка «диссидентов» вроде была, но не хватает признаков то порядочного интеллигента, то «диссидента». По мнению Августа Диалектика, латышские интеллигенты слишком умны для того, чтобы быть «диссидентами», а «диссиденты» не настолько умны, чтобы быть интеллигентами. И в этом случае у мудрости тот же древний критерий интеллигентности — не говорить всего до конца. Мы же умеем трудиться с умом. Что толку ломиться лбом сквозь стенку! Всеу свое время.

Время не только пришло, но и малость обогнало. В центральной прессе уже регулярно публиковали мнения Андрея Сахарова. Открыто заявил о себе историк Рой Медведев. Эстонская интеллигенция уже подписалась под такими формулировками, какие наша печать посвящает только экстремистам и самогонщикам.

Но все же и латышская интеллигенция сказала наконец с трибу-

ны расширенного пленума Союза писателей то, о чем до сих пор только шептались за чашкой кофе. Больше молчать было некуда. И потому — что хотели сохранить самоуважение. Если бы оценивать пленум по критериям Августа Диалектика — так это величайший шаш на националистически настроенных экстремистов за всю историю Советской Латвии. Но и критерии Августа «текут и изменяются». Слово должны взять мы сами, иначе его возьмут те, которые там. Надо же выбить основу из-под ног экстремистов.

Когда я слышу про экстремизм, то обычно настраиваюсь на разговор о Панджабе или, по меньшей мере, Сумганте. Но, Август, кто наши экстремисты! Газеты лютят такие словечки, а как приходится называть поименно — так молчание. Хотя где-тоazole памятника Свободы их видели.

Каким приятным был летний день 14 июня до сих пор! Можно было кататься на велосипеде вокруг памятника Свободы, радоваться... экстремисты со своим возложением цветов все испортили. Теперь 14 июня нам придется признать днем скорби.

Экстремисты — яковы и те, кто 23 августа 1987 года в связи со злоумышленными выдумками насчет каких-то там тайных параграфов в пакте Риббентропа—Молотова опять подбивали народ возлагать цветы у памятника Свободы. Экстремисты — и те, кто сочиняет всякую мазню о праве на самоопределение и суверенитет, когда об этом написано только в Конституции.

Опять показываю Августу центральную прессу. На сей раз — точка зрения специалиста по политическим движениям Б. Ракитского:

«Многие сотрудники официальных органов, не сумев демократично и без раздражения принять народную инициативу, стараются изобразить неформальные движения как своего рода «инородное тело». В то же время они забывают, что образование неформальных объединений не вступает в противоречие с Конституцией и с точки зрения закона вполне допустимо».⁸

Август Диалектик соглашается. Конечно, диалектически. Что относится к московским самостоятельным группировкам, то не касается нашего Клуба защиты окружающей среды, не говоря уж о «Хельсинки-86»

В этом смысле имеет большое значение оценка, высказанная пленумом ЦК КПЛ 18 июня: «Спекулируя на реальных трудностях процесса перестройки и национальных чувствах, лидеры отдельных группировок стараются добиться того, чтобы общественно-политическая активность масс вышла из-под влияния партии и государственных органов, привлечь граждан к различным уличным акциям, выдвигают задачи под вывеской неформальных объединений создать структурные звенья политического характера».

Кто эти «лидеры отдельных группировок»? Если бы материалы пленума стали достоянием гласности, и ответ был бы ясен. Теперь же остается лишь гадать. Судя по всему, это в первую очередь Клуб защиты окружающей среды. Он был одним из самых активных организаторов осужденного на вышеупомянутом пленуме митинга 14 июня. Точно так же и первый секретарь ЦК КПЛ Б. Пуго прокомментировал активность клуба на майском пленуме ЦК КПЛ: «Не горком и горисполком организовали митинг защитников метро, а Клуб защиты окружающей среды собрал его противников».

«Циня» немало внимания уделила группе «Хельсинки-86» — ее демаскировали в своих статьях Дзенисис и К. Пакалнс. Но все эти статьи построены по классическим принципам диалектической критики Августа. «Развенчай то — сам не знаю что». Ни один документ «Хельсинки-86» не опубликован в печати. А критики — как из рога изобилия. Правда, главным образом развенчиваются не взгляды, а личная жизнь участников группы.

Так же, как и различные общественно-политические клубы в Москве, «Хельсинки-86» и Клуб защиты окружающей среды — плоды политической активности народа. И если в их деятельности имеются промахи по части политической культуры, то виноваты недочеты в развитии процесса демократизации.

Разнообразие точек зрения быть должно, и все же...

Если бы меморандум группы «Хельсинки-86», написанный в конце прошлого года, был опубликован в печати, то мы бы увидели, что по своему содержанию он близок резолюции расширенного пленума правления Союза писателей. Конечно, интеллигенция выработала свой документ основательнее, и формулировки там глаже.

Понятно и неудовольствие некоторых интеллигентов — как это «экстремисты» в один день и во все горло прокричали то, что он осторожно и мудро годами вышепывал по слогу. «Экстремисты» колотятся лбом о стенку и спотыкаются. А тогда легко перешагнуть через них, назвать их жалкими и иззяцко проскользнуть в пробитую ими в стене дырку. И опять — шаг за шагом, слог за слогом. Пока не придет время для следующей стенки.

Разнообразие точек зрения быть должно, и все же...

⁷ «Московские Новости», 8 мая 1988 г.

⁸ «Циня», 8 мая 1988 г.

РУДОЛЬФ ВИКСНИНЫШ

«ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ...»

Прошлой осенью в Ленинградском райкоме комсомола города Риги случилось пренебрежительное событие: некто залез в сумочку третьего секретаря райкома Татьяны Латинской и хладнокровно «увел» ни много ни мало — 630 рублей.

Конечно же, неприятно, даже чрезвычайно огорчительно. Однако не нужно думать, уважаемый читатель, будто в самом факте кражи для райкомовских товарищей было что-то экстраординарное — напротив, к подобным эксцессам здесь как-то даже и попривыкли, поскольку это была всего лишь последняя кража в цепи других, причем по целому ряду признаков давно уже стало ясно, что тянет кто-то их своих, райкомовских. Вот и на сей раз принялись привычно вычислять: кто же?

Гм, подумает про себя удивленный читатель, вообще-то в случае кражи, тем более достаточно крупной, принято обращаться в правоохранительные органы. К чему тут заниматься самостоятельной пинкертоновщиной, гадать на кофейной гуще?

Удивление читателя вполне извинительно: он просто не успел еще осознать, что мы входим в мир не совсем обычный, в котором привычные законы и правила поведения как бы не всегда применимы или лучше сказать — уместны. Мы, дорогой читатель, в специфической среде комсомольских лидеров, тех, кто организует, поднимает и ведет за собой самую что ни на есть передовую часть нашей молодежи. Вот и вдумайтесь: комсомольский штаб, лучшие из лучших, и вдруг — вульгарная кража. Чувствуете? Имеет место какой-то диссонанс. Вот почему о подобных вещах в комсомольской среде распространяться не принято, это, если хотите, дурной тон. Смекаете, что к чему? Начинаете проникаться? Ну и славно... Между прочим, старая английская пословица гласит, что в шкафу каждой семьи — свой скелет. Что ж, будем считать, что имелся свой «скелет» и в дружной семье райкомовских работников. Кстати говоря, когда знакомишься с этой не совсем обычной историей, на ум почему-то то и дело приходят детективы из жизни английской аристократии, которые так любят демонстрировать наше ТВ. К чему бы это? Но, чтобы разобраться, обо всем по порядку.

Нечего и говорить, что пропажа глубоко огорчила Т. Латинскую. Что предпринять? Для начала позвонила оперуполномоченному уголовного розыска Ленинградского ОВД Олегу Шкуту и пригласила «для консультации». Однако тот благоразумно отказался вести расследование методами частного сыска. Пришлось обратиться к первому секретарю райкома Н. Стаканову с просьбой помочь как-то «компенсировать» потерю.

Недолго думая, комсомольский лидер предложил членам райкома скинуться, однако натолкнулся на категорический отказ — никто не пожелал расстаться со своими кровными. И тогда безутешная Латинская решила помочь себе сама.

27 ноября 1987 года третий секретарь вышла на бюро райкома с инициативой о... проведении похода по местам боевой и революционной славы латвийского народа. Ход был рассчитан абсолютно точно: Латинской было прекрасно известно, что ее «инициатива» вполне согласуется с общей установкой ЦК ЛКСМ республики. Ответственной, естественно, была назначена сама же Т. Латинская.

Количество участников этого доходного мероприятия — 250 человек — было ею расчислено как раз в строгом соответствии с нужной суммой. Осторожный Н. Стаканов, которого она посвятила в свой план, посоветовал позимствовать только половину, причем часть участников все-таки вывести на маршрут. Увы, Т. Латинская пожадничала и хапанула всю сумму, в чем совсем скоро ей и пришлось горько раскаться...

Нет уж, позвольте! — воскликнет опять недоверчивый читатель. Сначала автор пытается нам внушить, что в одном из шести райкомов города чуть ли не обыденностью стали регулярные кражи, затем как ни в чем ни бывало повествует о циничных проделках опытного комсомольского лидера, которого к тому же зачем-то прикрывает первый секретарь райкома. И, наконец, нас пытаются уверить, что можно «на бумаге» провести грандиозный слет, и никто из десятков товарищей не возразит ни слова? Полноте, такого попросту не бывает!

Что ж, придется для начала познакомиться скептиков с механикой, которой опытные аппаратчики владеют в совершенстве.

Начнем с того, что постановление бюро райкома позволило Т. Латинской уже 30 ноября получить у заведующей сектором учета и финансов Л. Панченко всю сумму наличными. При этом Л. Панченко и не подумала оформить расходный ордер — иными словами, денежки уплыли из комсомольской кассы без надлежащих документов.

Однако ведь получить наличные — лишь полдела. Прежде, чем их можно будет безбоязненно тратить на нужды личные, их необходимо «потратить» на цели общественные, то есть провести по документам. Для опытного комсомольского работника это семечки, особенно если умело опираться на помощь комсомольского актива.

Сначала — списки мнимых участников мероприятия. Их, ни о чем не подозревая, старательно составила для райкома методист районного дома пионеров З. Воробьева. Затем — командировочные удостоверения. 150 бланков Т. Латинская попросту взяла у секретаря горкома комсомола Даце Кизаковой. Недостающее количество размножила — по образцу — секретарь комитета комсомола РПШО «Ригас текстилс» И. Арзамасцева. Оставилось проставить подписи мнимых участников похода и отметить командировочные.

24 декабря предприимчивая Т. Латинская после семинара пионервожатых снова обратилась за помощью к активу. Всей командой дружно взялись за дело: З. Воробьева проставила 32 подписи, методист И. Хмельницкая — 18, не отставали пионервожатые Виноградова и Сучкова.

— Латинская требовала: пишите покаяние, как школьники! — вспомнила позже И. Арзамасцева. — Я еще спросила: а нам не влетит за это? Конечно же, нет! — успокоила Таня. Третьему секретарю райкома я верила...

Затем были организованы спецкурсы в конечные пункты патристического похода, чтобы оформить командировочные. И. Хмельницкая, например, трудилась в Валке, инструктор по школам А. Некрасова — в Цесисе. Не думайте, однако, что все шло так уж гладко. Методист по ленинской тематике М. Хведченя, к примеру, пыталась увильнуть от поручения, ссылаясь на то, что у нее нет денег. Разворотливая Т. Латинская тут же, без всякого командировочного удостоверения вручила методисту нужную сумму и та, словно это в порядке вещей, пустилась в Стучку — выполнять порученное. Все дельце провернули буквально в считанные дни. Ну можно ли после этого сомневаться, что Т. Латинская действительно энергичный, толковый организатор и уж вовсе не раб сухих инструкций?

Случилась, правда, и кое-какие накладки. В спешке гонцы немного перестарались, в итоге 27 «участников» похода как бы раздвоились и одновременно побывали и в Валке, и в Цесисе. Впрочем, как известно, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает...

Вы спросите, что же думали участники всей этой ширококомасштабной операции? А ничего! И. Хмельницкой, например, третий секретарь сказала, что «ребята уже прошли, и остались одни формальности». Вот она и делала, что велели. Так же легко, и не подумав поинтересоваться, когда же это у них под носом успели побывать десятки людей, протемпелевали командировочные удостоверения комсомольские деятели и в Валке, и в Стучке, и в Цесисе. Секретарь по школам Стучкинского райкома В. Васильева прокомментировала ситуацию вполне простоудушно:

— У меня не возникло и мысли, что человек, занимающий такую должность, может обмануть.

Позже в беседах с комсомольскими функционерами различного ранга я обогатился и вовсе фундаментальным афоризмом: в комсомоле все строится на доверии! Что ж, порадуемся за эту замечательную организацию и заодно успокоим излишне подозрительного читателя: нет, роторези из соответствующих райкомов никакого вознаграждения за свою услугу не получили, иными словами, они помогали жулику вполне бескорыстно.

29 декабря Т. Латинская сдала всю эту «липу» в сектор учета и финансов, а его

же все имеющиеся в деле материалы, следствие пришло к выводу, что А. Воронцов дал ложные показания, стараясь выгородить Т. Латинскую».

— Ну, знаете, — пожал плечами мой собеседник, — суд-то ведь не было! Таким образом, это не более, чем личное мнение старшего следователя Борисова...

А ведь прав, прав умнейший Андрей Валерьевич! И посему навью задаваться вопросом, продолжает ли он, несмотря на представление прокуратуры, успешно руководить парторганизацией РОНО: разумеется, продолжает, и разумее — успешно.

К множеству достоинств А. Воронцова следует добавить и то, что он прекрасно владеет пером, являясь давним внештатным автором газеты «Советская молодежь». Вот и мне на правах коллеги-журналиста он, не моргнув глазом, предложил... соавторство:

— Сейчас ведь демократия! — заявил он. — Давайте так: вы свою версию, а я — свою. Кстати, давно подумывал написать о случае с Латинской. Она ведь типичный продукт комсомольской среды! Да, исключить из партии ее надо было. Но преступницей я ее не считаю и никакого уголовного дела здесь не вижу. И себя — учтите это! — лжесвидетелем не чувствую.

Вот в это верится. И невольно начинаешь сожалеть, что дело Т. Латинской все же не было передано в суд. Тогда, возможно, и поведение Андрея Воронцова получило бы окончательную юридическую оценку.

Но не станем опережать события. Ведь прежде, чем вести разговор о свидетелях, требовалось досконально разобраться в ситуации с Т. Латинской, а на пути следователей прокуратуры вставали все новые и новые, порой совсем неожиданные препоны.

Вдруг выяснилось, например, что финансовые документы райкома надежно укрыты от нескромного глаза посторонних грозным грифом «секретно». Нет, это вовсе не метафора или неудачная шутка: пособие Латинской Т. Стаканов устроил заворот райкома форпенну выволочку — мол, какое право имела она знакомить с соответствующими бумагами работников следствия?! Подолгу просиживал в ожидании высочайшей аудиенции у первого секретаря райкома старший следователь А. Борисов — Стаканов был слишком загружен делами, чтобы уделить ему время. Кончилось тем, что прокурору района младшему советнику юстиции В. Шихову пришлось поставить на требование печать — ту самую, что ставится в особо серьезных случаях: на санкциях на арест, на обыск. Первый секретарь взял бумагу в руки и... величественно начертал резолюцию: «Разрешаю!» Позже следователи горько шутили, что, вероятно, номенклатурный работник не преминул бы завизировать даже санкцию на собственный арест. Что ж, как говорится, привычка — вторая натура.

Самое интересное, что в действиях Н. Стаканова была своя логика. Хотите верить, хотите — нет, но Всесоюзный Ленинский Союз Молодежи, эта добровольная самоуправляющаяся организация до недавнего времени действительно держала в секрете свои финансовые дела. От кого? И было ли что секретить? Давайте вернемся, однако, в Ленинградский райком.

— Такого хаоса в документации мне, честно говоря, еще не доводилось видеть! — заявила член ревизионной комиссии горкома комсомола Вита Шкапаре, в качестве эксперта работавшая в райкоме по направлению прокуратуры целую неделю. — Это была правда какая-то вакханалия нарушений, даже одно только перечисление которых заняло бы слишком много места. Достаточно сказать, что, начиная с июля 1987 года, в райкоме вообще не велись персональные карточки по начислению заработной платы, в ведомостях порой отсутствовали подписи о получении

денег, с нарушениями начислялись отпусковые, с некоторых пор — в обход правил — вопросы о предоставлении отпусков и выплате лечебных пособий не обсуждались на бюро, а выплачивались просто на основании личного распоряжения Н. Стаканова. Неаккуратно велась и приходно-расходная книга, причем в ней имелись исправления. Подчистки обнаружались и в книге поступления и расхода привлеченных средств. Выписки из протоколов заседания бюро, служащие своеобразными векселями, под которые можно получить наличные в банке, отнюдь не всегда соответствовали самим протоколам этих заседаний... Иными словами, в таких условиях материальные ценности вполне могли уходить налево.

Любопытно, что незадолго до описываемых событий Ленинградский райком проверяла инструктор-контролер ЦК ЛКСМ Латвии Гунта Лусе. Проверила, мятло говоря, весьма своеобразно. Мало того, что это была первая проверка за последние четыре года (положено проводить ее ежегодно), но ревизор вполне удовлетворилась поверхностной сверкой по приходно-расходной книге и расходным ордерам. При этом контролер из ЦК забыла указать в акте, что не нашла документов, подтверждающих расходование средств на слет, проводившийся в июле. Не смогла Г. Лусе вразумительно пояснить и то, почему она не потребовала этих документов...

Дальше — больше. «Рассеянный» ревизор не заметила отсутствия акта списания призов на сумму около ста рублей, не обеспокоило Г. Лусе и то, что передача некоего инвентаря детскому дому — на сумму около двух тысяч рублей — не подтверждена никакими документами.

— И как ревизор ЦК могла подписать акт ревизии? — недоумевает Вита Шкапаре.

А мы зададимся вопросом: какой же все-таки цели служат такие «проверки»?

Но уж теперь-то, в свете открывшихся нарушений, скажет наивный читатель, в ЦК ЛКСМ наверняка полностью перестроили систему контроля. Ах, кабы так.

Поневоле подумаешь, что в аппарате ЦК не слишком заинтересованы в чрезмерно жестком контроле над финансовой деятельностью райкомов. Ведь и в акте Г. Лусе были отмечены кое-какие нарушения, однако контролеры ЦК и не подумали проследить, чтобы они были устранены. А ведь если бы Гунта Лусе вовремя ударила во все колокола, Т. Латинская несколькими месяцами позже, вполне возможно, не решилась бы на свою аферу! Впрочем, что ж гадать. Продолжим наше невеселое повествование.

Вот передо мной другой документ — тоже, разумеется, «секретный». Именуется он «Выпиской из протокола заседания секретариата ЦК ЛКСМ Латвии». Наверху — твердо оттиснут знаменитый революционный лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Ниже — столбиком идут фамилии первых секретарей райкомов и горкомов республики, премированных в конце прошлого года. Против Н. Стаканова проставлено — 220 рублей. Вокруг этих двух сотен тоже разыгралась небезынтересная история.

Дело в том, что фонд райкома, из которого первый секретарь должен был получить причитающуюся ему сумму, оказался исчерпан к концу года — чуть раньше решением бюро были выделены премии работникам аппарата, которые уже успели и расплатиться в ведомости.

Что делать? Как поступить в этой щекотливой ситуации? Иной погряз бы в интел-

лигентской рефлексии. Но не таков наш комсомольский вождь: он дает указание заведующей сектором учета и финансов, не мешкая, отобрать часть уже полученных премий у работников райкома. Затем отдает распоряжение по-быстрому оформить другую «выписку» из постановления бюро, в которую включает и себя. На основании этого «документа» послушная завсектором стряпает новую ведомость, и целеустремленный Н. Стаканов с удовлетворением опускает в карман законно причитающиеся ему дензнаки, не забыв прежнюю ведомость аккуратно выбросить в мусорную корзину.

Постойте, снова воскликнет недоумевающий читатель, да разве же можно так просто распределять и перераспределять денежные суммы в системе комсомола? Да и потом, откуда они, в конце концов берутся, — ведь все мы только и слышим, что комсомол чуть ли не «самая бедная организация»!

Тут, пожалуй, самое время пояснить, откуда в райкомах берутся деньги. В основном это так называемые привлеченные средства — «привлеченка». Комсомольцы района трудятся, собирают металлолом и т. д., и все эти деньги стекаются в райком — по идее, на проведение различных мероприятий для тех же рядовых комсомольцев. Кое-что, разумеется, перепадает и аппарату райкома, который «подкармливает» горком и аппарат ЦК.

Могут ли заработанные комсомольцами деньги «прилипнуть» к рукам нечестных аппаратчиков? О, для этого почти не нужно особых усилий. Например, в июле 1987 года Ленинградский райком организовал (и действительно провел) слет в Вакар-Булли. В банке было получено 869 рублей. Но часть людей, указанных в списках, в слете участия не принимали, за них просто расписались. В результате «очистилась» вполне приличная сумма денег, часть которых, по свидетельствам работников райкома, которым, к сожалению, приходится верить на слово, пошла на бензин для служебной машины, оплату пункту проката за потерянные вещи и т. п.

Другой эпизод из жизни все того же райкома. Планируется новогодний вечер в Доме культуры «Илга». И хотя ПО «Радиотехника» по безалчному расчету оплачивает и помещение, и дискотеку, и питание, комсомольские лидеры постановили собрать с участников вечера еще по два рубля наличными. Отгремел Новый год, и в сейфе первого секретаря осела нигде не оприходованная сотня рублей. Просто присвоить, как это сделала Латинская, было бы как-то не по-комсомольски. И тогда работники аппарата РК организуют финскую баньку, продукты для которой оплачиваются из этой суммы... Кстати сказать, милую акцию эту никак нельзя назвать грубым словом «хищение», особенно если она умело приурочена к очередной дате — нет, в таком случае это «мероприятие».

Ну, а велики ли суммы, проходящие через райком? Может быть, так, ерунда? Нет, отчего же: с мая по декабрь прошлого года Ленинградский РК израсходовал более десяти тысяч рублей привлеченных средств на разного рода мероприятия, среди которых есть, например, и такие, как прогулка на теплоходе для победителей похода по местам боевой славы, траты на сувениры для иностранных делегаций, прокат туристского инвентаря, награждение активистов, транспортные услуги, экскурсии, прогулка на катере и т. д. — всего около трех десятков позиций. Лишь по нескольким из них имеется документальное подтверждение фактических расходов, в том числе — о, намешка! — по слету в Вакар-Булли и славному «походу» Латинской. Как потрачены остальные деньги, теперь установить не представляется возможным. Между тем, в акте ревизии финансовой деятельности райкома черным по белому записано: деньги расходовались согласно решению бюро РК! Были и другие моменты, заста-



вившие следствие заинтересоваться этим документом — хотя бы позднейшие подкитки и исправления. Но ведь, чтобы доказать это, необходимо провести экспертизу оригинала! И снова следователи наткнулись на невидимую стену: акт оказался... засекречен. Несмотря на длительные переговоры, управляющий делами ЦК ЛКСМ Латвии Дайнис Бабулис так и не позволил экспертам взглянуть на оригинал.

Вот так, дорогой читатель, обстоит дело с пресловутой «привлеченкой», так — с комсомольскими секретами. Правда, веянья демократизации и гласности коснулись, наконец, и этой удивительной организации: в ЦК ЛКСМ мне пояснили, что недавно практически со всех документов снят грозный гриф. Рад сообщить, что прогрессивный шаг этот очень приветствовал и управляющий делами Д. Бабулис, который, оказывается, в глубине души всегда осуждал существующий порядок, однако «обязан был его соблюдать» и быть «бюрократом в хорошем смысле этого слова» — тут уж ничего не поделаешь...

Итак, мы лишь одним глазком заглянули на финансовую кухню одного из рижских райкомов комсомола. Можно, наверное, положиться на компетентное мнение опытной Т. Латинской, которая, защищаясь, заметила, что «и раньше были нарушения» — в подтексте этой фразы так и слышится недоуменное: «... и ничего...»

Это чувство горестного недоумения не покидало бывшего третьего секретаря и во время беседы со мной. Как же можно было ее, неменклатурного работника, отдать на откуп прокуратуре? Во всем вполне могла разобраться и парткомиссия райкома партии. «А то ведь в прокуратуре разговоры да объяснения никого не интересуют, они работают по фактам...»

Не улыбайтесь наивности моей собеседницы, уважаемый читатель! Поверьте, она лучше нас с вами знает, что говорит. «Дела Латинской» вполне могло бы и не быть, если бы были другие времена, если бы удалось расследование направить по линии ревизии ЦК ЛКСМ, если бы недавно сменившийся первый секретарь Ленинградского райкома партии занял другую, менее принципиальную позицию. Если, если, если... Не эти ли бесконечные «если» в значительной мере определяли повседневное поведение комсомольских функционеров, существовавших как бы в особом измерении? Скрупулезные следователи, например, подчитали, что в месяц, когда произошла кража шерстисот рублей, Татьяна Латинская, не моргнув глазом, спустила еще около тысячи. Что за прича? Откуда такие суммы? Откуда реальная возможность сначала отвориться на новогодней распродаже в райкоме комсомола (духи, итальянская косметика), а затем сбегать и на распродажу в райком партии (кофе, ананасовый напиток, зефир и т. д.)? Как получается, что для третьего секретаря нет проблем без лишних формальностей слетать на Новый год к родителям, привезти им богатые дары (в том числе и копильню, которую по заказу райкома изготовил завод «Ригасельмаш»), а затем после десятидневных рождественских «каникул» преспокойно вернуться на работу и ничуть не опасаться, что с нее могут спросить за фактический прогул? Как? Да это же очень просто! Достаточно быть в отличных отношениях с секретарем горкома комсомола Даце Кизаковой, чтобы та по телефону сообщила Н. Станкову, что Т. Латинская «командирована в город Ульяновск» — и все, и никакого там занудного оформления командировки и прочих формальностей. Между прочим, когда и эта история всплыла, Т. Латинской прогрозили, что она будет «наказана»: ей... не оплатят дни отсутствия на работе!

Ну а что же Даце Кизакова? В горкоме комсомола сказали, что «за нарушение комсомольской этики» ей объявлен выго-

вор. Быть может, это не совсем вежливо, но после всего вышесказанного хотелось взглянуть на этот документ собственными глазами. Последовала тягостная пауза, первый секретарь горкома Зиедонис Черверс долго рылся в ящиках стола, заворг А. Липустин искал затерявшуюся бумагу по другим кабинетам, она все не обнаруживалась... Иными словами, я бы не взял на себя смелость утверждать наверняка, что такой выговор вообще существует в природе.

И все-таки, пусть с массой затруднений, следствие было доведено до логического конца. Учитывая чистосердечное рассказание Н. Станова, его положительную характеристику и то обстоятельство, что сам он никакой користной заинтересованности не имел, уголовное дело в его отношении было прекращено. Зато пришлось объявить ему... строгий выговор с занесением в учетную карточку и освободить от обязанностей первого секретаря «как скомпрометировавшего себя». Ныне Н. Станов скромно трудится на одном из рижских предприятий. И столь же скромно остается членом ЦК ЛКСМ Латвии — видимо, руководители, комсомола республике полагают, что он не настолько же «скомпрометировал себя», чтобы потерять место в «обойме» руководителей этой удивительной организации! В горкоме комсомола тоже все не могут выкроить время, чтобы рассмотреть его персональное дело, широко проинформировать рядовых комсомольцев города о случившемся в Ленинградском районе. Молчат до сих пор, словно воды в рот набрали, и две республиканские молодежные газеты... Убежден, что не имеют понятия о художествах депутата райсовета Н. Станова и его избиратели.

Итак, все щели законопачены плотно, предполагалось, что нежелательная утечка информации не могла произойти. Наверное, именно поэтому первый вопрос, которым встретила появление журналистов завороно Ленинградского района Н. Егорова, был:

— А откуда у вас эти сведения?

Довольно скоро, однако, разговор удалось перевести в деловое русло. Интересной, в частности, казалась позиция коллектива РОНО, как-никак, взявшего Т. Латинскую на поруки.

Самая завороно высказалась кратко:

— Т. Латинская, по-моему, была единственным толковым работником в райкоме. Думается, читатель уже убедился, что в каком-то смысле это так и есть.

А вот мнения других работников районного отдела народного образования, высказанные на общем собрании 15 февраля 1988 года, еще до окончания следствия.

— Проступок Латинской — конечно же, должностное преступление, — заявил наш дорогой знакомый секретарь парторганизации РОНО А. Воронцов. — Надо дать ей доказать, что данный факт явился случайностью.

— Знаю Латинскую как активного секретаря райкома комсомола с высоким чувством ответственности! — подхватила заместитель секретаря парторганизации Т. Брайнина.

К этой оценке присоединилась и заместитель заведующей РОНО Н. Виноградова. Оказать Т. Латинской «помощь в работе и жизни» предложила и методист С. Бирн.

В обстановке редкостного единодушия гуманисты из РОНО решили ходатайствовать о прекращении уголовного дела и передаче Т. Латинской на поруки коллективу. Унизительная правда, однако, состояла в том, что дней за десять до собрания, точнее, 4 февраля, Т. Латинская уже была фактически зачислена в РОНО как учитель истории для длительной болеющих детей, т. е. для преподавания на дому. Видимо, могущественным силам, определявшим дальнейшую судьбу проштрафившегося функционера, и в голову не приходило, что дисциплинированный коллектив РОНО может вдруг замануться на какое-то «собственное» мнение.

Итак, все складывалось более или менее гладко. И вдруг — новый конфуз: в прокуратуре стало известно, что на собрании Т. Латинская снова беззастенчиво лгала, используя свою уже опровергнутую (в том числе и ее же собственными признаниями!) версию. Пришлось старшему следователю А. Борисову отложить дела и отправиться на повторное собрание все того же коллектива. В его присутствии Т. Латинская не осмелилась плутовать, и комичная процедура коллективного утверждения чьих-то высочайших решений наконец-то, ко всеобщему облегчению, завершилась.

— Ну да, человек, которого берут на поруки, беспардонно лжет, и это ничуть не мешает оставить прежнее решение в силе? — поинтересовался я у завороно.

— А почему вас это удивляет? — находчиво парировала Н. Егорова.

— Ну, хорошо, а кому все-таки принадлежит идея принять Т. Латинскую на работу в РОНО?

— Мне рекомендовали взять ее на работу, — сухо ответила моя собеседница.

— Кто же?

— А вот этого я вам не скажу! — отрезала она.

Настаивать было бы бесполезно. К тому же на мгновение мне представилась многоступенчатая иерархическая гряда, недосыгаемые вершины которой теряются в заоблачной вышине, и у меня невольно занялось дыхание от этого величественного зрелища. Все же, что ни говорите, а святости должны быть! Иначе страшно и помыслить, что станет с нашей молодежью, и так уж основательно зараженной вирусом неверия...

Несколько штрихов в заключение. Учитывая, что Т. Латинская положительно характеризуется и в райкоме комсомола, и в РОНО Ленинградского района, принимая во внимание, что она ранее не судима, «раскаялась в совершенном преступлении, добровольно возместила имущественный ущерб, а совершенное ею преступление и она сама не представляют большой общественной опасности», прокуратура Ленинградского района дело по обвинению Татьяны Николаевны Латинской в преступлении, предусмотренном статьей 88 части 1 УК Латвийской ССР (хищение путем злоупотребления своим служебным положением) постановила производством прекратить и удовлетворить ходатайство подколлектива РОНО Ленинградского РИК о передаче ему Т. Латинской на поруки «для исправления и перевоспитания».

Разумеется, бывший третий секретарь исключена и из рядов ВЛКСМ, и из партии.

Так что же, дорогой читатель, порок наказан, добродетель торжествует? Ну, в самом деле, не настолько же мы с вами кровожады, чтобы чуть что — и в кутузку! А все же, все же... Как-то нам с вами неуютно, как-то странно. Может быть, из-за фразы — с точки зрения юридической вполне безупречной — что, мол, «не представляет большой общественной опасности»? Или в глубине души мы сомневаемся в искренности «раскаянья»? Или нам с вами не дает покоя образ некой страховочной сетки, умело натянутой невидимой дланью и надежно страхующей определенную категорию людей от неопределяемых падений? И могут ли ее прощать следователи прокуратуры — даже самые энергичные? Или нам всем, засучив рукава, придется потрудиться в поте лица, прежде чем мы ее окончательно демонтируем?

Примечание редакции. Как нам стало известно, в начале июля в прокуратуру Ленинградского района обратился ревизор ЦК ЛКСМ — с просьбой перепечатать акты ревизий, проведенных Д. Лусе и В. Шапаре. Ни в горкоме, ни в ЦК ЛКСМ их не оказалось...

КАРЛ БАЛЛОД И ЕГО «ГОСУДАРСТВО БУДУЩЕГО»

«Соседняя с нами обширная Россия вступила (это необходимо признать) в социализм без того, чтобы кто-нибудь выставил какую-либо программу или план производства, без того, чтобы ее социалистические повелители потрудились серьезно продумать все возникающие из занятого ими положения задачи».

Слова взяты нами из книги «Государство будущего» немецкого экономиста латышского происхождения Карла Баллода, второе издание которой вышло в 1919 г. в Берлине (русский перевод издан в 1920 г. в Москве с предисловием главы польских коммунистов Ю. Мархлевского; на латышский язык не переведено ни одно из четырех самостоятельных изданий книги в 1898, 1919, 1920 и 1927).

Сам Карл Баллод был уверен, что в книге им дана «попытка научного синтеза целостной формы народного хозяйства», и эту точку зрения разделяли руководители молодой Советской России, прежде всего Владимир Ильич Ленин. Почему же тогда работами Баллода не воспользовались? Об этом и пойдет речь в данной статье.

В подготовительных материалах к книге «Империализм как высшая стадия капитализма» Ленин упоминает Баллода шесть раз. В перечень изучаемой литературы он включает две его книги: Баллод «Основы статистики» (Берлин, 1913) и Атлантискус «Производство и потребление в социальном государстве» (1898, предисловие Каутского).

По поводу первой книги Ленин добавляет: «Очень хорошая, видимо, сводка цифровых данных, причем всего больше автор интересуется статистикой производства (количество продуктов) — ср. Атлантискус!!!» Баллод считает в Германии 2 железных раба (машины) на 1 работника». В другом месте: («Shmoller's Jahrbuch», 1915, I вып.) дает опыт сводки (неполный) данных о народном питании».

Но особенно высоко труды К. Баллода ценились в период разработки планов ГОЭЛРО. 22 февраля 1921 г. Ленин выступает в «Правде» со статьей «Об едином хозяйственном плане»:

«Чтобы оценить всю громадность и всю ценность труда, совершенного «ГОЭЛРО», бросим взгляд на Германию. Там аналогичную работу проделал один ученый Баллод. Он составил научный план социалистической перестройки всего народного хозяйства Германии. В капиталистической Германии план повис в воздухе, остался литературщиной, работой одиночки. Мы дали государственное задание, получили в десять месяцев (конечно, не в два, как наметили сначала) единый хозяйственный план, построенный научно».

Ту же мысль Ленин высказывает на Третьем конгрессе Коминтерна в июле 1921 г.:

«Планы электрификации нами уже разработаны. Более 200 специалистов — почти все, без исключения, противники Советской власти — с интересом работали над этим, хотя они и не коммунисты (...). Конечно, от плана до его осуществления еще очень далеко. Осторожные специалисты говорят, что первый ряд работ потребует не менее 10 лет. Профессор Баллод высчитал, что для электрификации Германии достаточно трех-четырёх лет».

28 января 1922 г., в письме к Г. М. Кржижановскому по поводу книги А. Горева «Электрификация Франции» Ленин пишет:

«Мы могли бы стать в 3—5 лет вдвое богаче и работать не более 6 часов в сутки (примерно), если бы во Франции была советская власть, проводящая электрификацию».

(...) Не заказать ли кому (...) краткий «Баллод» для Франции».

Еще более неоспоримые свидетельства признаний Баллода можно найти в трудах председателя Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭРЛО) Г. М. Кржижановского. На 2-й стр. подготовленного комиссией «Введения к докладу 8-му Съезду Советов» (декабрь 1920), после формулировки основной задачи плана ГОЭЛРО, читаем:

«Составить план народного хозяйства России на электрической основе, конечно, невозможно, не отдавая себе более менее ясного отчета о перспективах этого хозяйства в целом (...). Для Германии мы имеем любопытную попытку создания единого государственного плана ее обобществленного хозяйства в известной работе проф. Баллода «Государство будущего».

Опираясь на богатые достижения немецкой техники и превосходную производственную статистику, проф. Баллод приходит к вполне конкретным выводам. По его подсчетам, проверкой которых он занимался целый 20-летний период, социалистическая Германия (...) через 3—4 года спокойной соизидательной работы превращается в счастливую страну всеобщего довольства и благополучия. Примерно до 17-ти летнего возраста молодежь страны впитывает в себя в созданных по единому плану расширенных народных школах те основы положительного знания, не ведая которых человек не может быть гражданином XX века. По достижении 17-летнего возраста каждый немецкий гражданин вступает в армию труда. Эта армия труда разбивается на регулярные трудовые колонны в строго определенных количественных соотношениях для всех подразделений германского народного хозяйства. К 23 годам обязательная трудовая повинность кончается, и, как показывают подсчеты Баллода, является полная возможность каждому гражданину полного простора индивидуальной жизни с предоставлением от государства соответствующего пенсия, вполне достаточного для удовлетворения всех культурных потребностей.

Нам известно, что план Баллода повис в воздухе, нашел себе крайние слабые отголоски даже в научно-технической прессе Германии, но не потому, что недостаточно обоснован, а лишь по той простой причине, что в Германии существуют предпосылки социализма, а не самый социализм.

В этом отношении мы оказались более счастливыми, чем наши европейские собратья».

Итак, мы имеем неоспоримые свидетельства того, что комиссия ГОЭЛРО считала работы проф. Баллода образцом для своей деятельности, что перепроверенный 20-летними исследованиями Баллода план социалистического строительства признавался «достаточно обоснованным».

Но в цитируемом «Введении» далее следуют обескураживающие слова:

«Если бы, по примеру Баллода, мы попробовали в настоящее время составить аналогичный план обобществленного народного хозяйства России, то, несомненно, такая попытка была бы обречена на безнадежное крушение».

Почему же? Оказывается, потому, мол, что прошлое капиталистическое хозяйство России находилось в зачаточной форме, что довоенная статистика была обрывочной, а современная — находится в «брожении». Эти причины вряд ли можно признать достаточным основанием для отказа от плана Баллода: скорее наоборот, именно его модель социализации, близкая плану НЭП и политике перестройки наших дней, заслуживала претворения в жизнь.

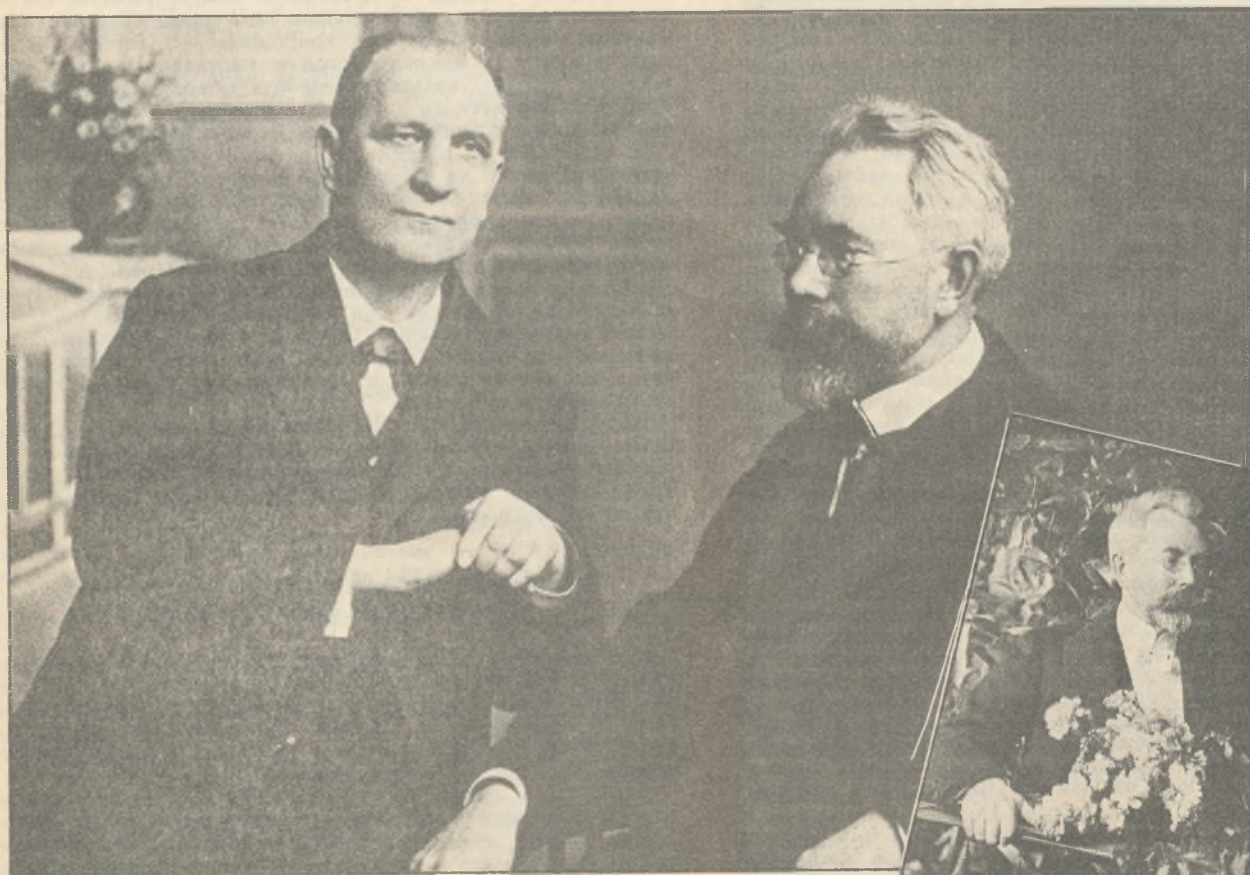
Недоумения вызывают также рассуждения из раздела «Значение электрификации в крупном сельском хозяйстве»:

«Для германских условий проф. Баллод разработал чрезвычайно подробно проект рационального сельского хозяйства на 450 десятин, наглядно обрисовывающий тот предел технического совершенства, на который может посягнуть современ-

* Знал ли Ленин тайну псевдонима или уловил сходства стили?



1906 год.
К. Баллод с издателем П. Залитисом.



60-летие К. Баллода.

ная научная агрономия, опираясь на условия электрической энергии и одновременно широко используя также тракторную тягу».

И тут же план Баллода отвергается: «Однако тот же пример показывает, как много предпосылок требуется для осуществления таких крупных рациональных хозяйств в широком масштабе».

Создается впечатление, что кто-то «сверху» (не был ли это сам В. И. Ленин?) настаивал на использование плана социализации, разработанного Баллодом, а кто-то менее влиятельный, но тоже сверху, выступал против.

СУТЬ «ГОСУДАРСТВА БУДУЩЕГО» АТЛАНТИКУСА.

Прежде всего, откуда псевдоним. Друг и соратник Карла Баллода, известный в Латвии публицист Петр Залите во втором томе «Мои мемуары» вспоминает студенческие годы в Германии, когда они там жили втроем — Карл, студент географического факультета, Петр — будущий философ и его жена Гермина, сестра Карла (Гермина была шестью годами старше Карла и с детства звала его ласкательно — Кайи):

«Это происходило в Иене в 1892 году. К. Баллод только что кончил свое «Государство будущего». «Кайи, подойди, будь добр, мне надо что-то сказать тебе. Ты, сын кузнеца из имени Билстини, ты заложил основу государства будущего человечества. Оно поднимется когда-то из морских пучин как сказочная Атлантида, там в достатке и счастья будут жить неисчислимые миллионы». И Залите перечисляет десятка полтора мечтателей-утопистов, труды которых они совместно изучали.

Псевдоним восходит, вероятно, к Атлантиде древнегреческого мыслителя Платона (400 лет д. н. э.). О нем Баллод писал: «Уже Платон очертил идеальное коммунистическое государство, в котором правила наиболее благородные, образованнейшие и лучшие мужчины — философы». Еще более восторженно Баллод говорил о «Новой Атлантиде» английского философа Френсиса Бэкона (1561—1626): «Там имеется исследовательский институт, в котором умнейшие и образованнейшие мужи пытаются познать тайны природы (...). Бэкон пророчески предвидел открытие телескопа, микроскопа, телеграфа, телефона, самолета, подлодки, а также успехи современного растениеводства и селекции животных».

Баллод пристрастно анализирует (во втором издании книги) неудачи сельских коммун английского утописта Роберта Оуэна (1771—1858), который в юности был известным промышленником. Его сельскохозяйственные коммуны разорились, опорочив идею. Баллод считает, что просчет не в идее, а в ее реализации. И он имеет право так говорить. К тому времени он имеет личный опыт по ведению образцового хозяйства в Брамбергском имении в Курляндии, которое он устроил вместе с Залите. Они получали устойчивые урожаи по 30 центнеров с гектара, в то время урожай в Прибалтике были в 2—3 раза меньше, а в Центральной России составляли всего 5—6 центнеров. Баллод предлагает организовать большие сельскохозяйственные кооперативы для рационального зерноводства и скотоводства, а также для производства части промышленных товаров, т. е. поле-садоводской кооператив городского типа. Это является принципиальным предложением Баллода, и оно близко представлению о современном коллективном хозяйстве.

Книга К. Баллода «Ein Blick in den Zukunftsstaat, Production und Consum in Socialstaat» увидела свет в 1898 году при поддержке и с предисловием ведущего немецкого марксиста Карла Каутского. В 1892 г. Баллод опубликовал часть материалов будущей книги в газете «Диенас лапа», редактором которой тогда был Янис Плиекшан (Райнис). Статьи были подписаны латинской буквой «Б» и в литературе до сих пор не изжито мнение, что автором статей является Петр Стучка.

Баллод популярно знакомит читателя с учениями политэкономии: с меркантилизмом (за основу народного хозяйства берутся деньги, торговля), физиократизмом, когда на первое место выдвигают сельское хозяйство, с системой Адама Смита, усматривающей основу процветания в разделении труда, особенно в промышленности. В качестве четвертого учения Баллод называет социализм и коммунизм, говорит о двух фазах коммунизма, о социал-демократии, которая, основываясь на идеях коммунизма, призывает к ликвидации существующей хозяйственной жизни. Это уже была открытая пропаганда марксизма, используя новейшие материалы: о двух фазах коммунизма К. Маркс впервые говорит в статье «Критика Готской программы», которую Ф. Энгельс опубли-

ковал через восемь лет после смерти Маркса — в 1891 году. Связи Баллода с газетой «Диенас лапа», с ее редактором Райнисом позволяют по новому взглянуть на проблему «человека будущего» в творчестве поэта.

В предисловии книги Каутский утверждает: «Атлантикус является первым, кто строго научно доказал превосходство обществственного способа производства над капиталистическим».

Основная мысль Баллода заключается в том, что при надлежащей организации производства и при условии использования всех возможных в то время технических усовершенствований, доход рабочего может быть удвоен или утроен с уменьшением рабочего времени вдвое.

Вторая мысль. «Во всяком случае весь социальный организм, — считает Баллод, — должен быть подчинен какой-нибудь центральной власти, которая вела бы и постоянно регулировала производство по единообразному плану, соответствующему общественным потребностям. Анархические товарищества, общины, функционирующие независимо от государственной власти, неизбежно впадали бы во взаимно враждебные отношения, так как каждая из них стремилась бы монополизировать особенно выгодные условия».

Государство не должно брать на себя все работы: «Государство заботится о тех жизненных средствах и предметах ежедневного потребления, которые могут быть изготовлены в крупных предприятиях». И Баллод тут же предупреждает о возможности синдикализма (что мы называем ведомственностью).

Баллод советует в деревне создавать крупные хозяйства более 100 га (во втором издании книги — 400 га), так как в крупном хозяйстве на 100 га требуется в среднем 12 рабочих, а в мелких — размером 0,1—2 га — в 10 раз больше.

Баллод рекомендует фабрики, земли национализировать, но выступает против конфискации, экспроприации. Он за национализацию с обязательным выкупом, оставляя владельцам мелкие мастерские, крестьянам — участки до 2 га.

И еще. Он за высокую оплату умственного труда, без чего, он считает, нельзя обеспечить обновление производства, рост творческого потенциала страны, подробно обсуждает проблему отбора одаренных детей и их обучение.

И Каутский, и русские редакторы «Государства будущего» указывали на отступление автора от ортодоксального понимания теории научного социализма: Баллод, мол, предлагает весьма умеренный социализм, допускает наличие колоний, армии, духовенства, купли-продажи, но неизменно восторгались экономическими расчетами Баллода.

Критикам были неприятны также слова Атлантикуса: «Совершенно не нужна для достижения социализации общества сегодня или через 10—20 лет насильственная политическая революция. Социализм может быть достигнут гораздо быстрее на почве соглашения между представителями собственности и труда».

Тогда программой дня являлось установление диктатуры пролетариата. Любым путем. Скорее всего, путем кровавой революции, а не путем парламентской борьбы, борьбы профсоюзов и партий. Сегодня эти слова Баллода звучат не так крамольно.

АКСИОМА О МОРАЛЬНОМ ПЕРЕРОЖДЕНИИ ПОБЕДИВШЕГО ПРОЛЕТАРИАТА.

Наиболее известными популяризаторами марксизма в конце XIX — начале XX века не только в Германии, но и в России были Карл Каутский и Август Бебель. Книга «Женщина и социализм» А. Бебеля при жизни автора вышла более 50 раз: в ней удачно совмещены социологические теории с фактами из сексопатологии.

В 1917 г. в Петрограде издана книга А. Бебеля «Государство будущего (социалистическое общество)». Он пишет: «Лишь только общество окажется единственным собственником всех средств и орудий производства, основным законом коллективизированного таким образом общества станет трудовая повинность всех способных к труду без различия пола». И эта обязанность трудиться для себя, а не для капиталиста, по его мнению, будет давать людям высшее удовольствие. Тут Бебель добавляет слова, которые часто, не задумываясь, произносим и сегодня: «Честолюбивое стремление к изобретениям и новым открытиям достигнет своей высшей степени, когда каждый будет стараться переигрывать других своими проектами и идеями».

Во втором издании «Государства будущего» Баллод подробно разбирает основные тезисы учения Карла Маркса

(заметим, это было в 1919 г., когда в России, в ряде стран Европы прошли пролетарские революции) и делает категорический вывод: «В самых основных пунктах Маркс оказался прав». Но Баллода смущает предпосылка о моральном перерождении победившего пролетариата. Еще в первом издании он, вслед за анализом утопических учений социализма, писал:

«Маркс существенным образом превосходит утопистов в том отношении, что он ждет изменения психики, иначе сказать, превращения людей в таких верных своим обязанностям и добросовестных людей, в каких нуждается коммунистическое общество, только в результате долгого хозяйственного развития (...) Только и Маркс (...) совершенно упустил из виду необходимость доказать, что современное хозяйственное развитие обеспечит такое изменение психики масс (...) без сурового государственного или общественного принуждения».

Баллод считал предположение о перерождении морали не очевидным, более того — он доказывал, что такое предположение является лишним. Экономические расчеты о четырехкратном увеличении производительности труда и сокращении на половину длительности трудового дня позволяют Баллоду утверждать: «Таким образом, сделалось совершенно излишним требование изменения человеческой психики при введении социалистического способа производства». (См. его книжку «Марксизм или теория наивысшей производительности?» Спб., 1907)

Книгу «Государство будущего» (1-е изд.) Баллод завершает компромиссным суждением:

«Конечно, социалистический строй не принесет с собой всеобщего счастья, о котором мечтали утописты, — недовольные будут всегда. Все, чего можно добиться, — это создание более справедливых условий существования».

АНАЛОГИЯ С РАБОТАМИ КРОПОТКИНА.

Книга Карла Баллода несомненно навеяна трудами утопистов-социалистов, но из авторов того времени наиболее близко стоит к князю Петру Кропоткину (1842—1921), отцу анархического коммунизма, к его книге «Завоевание хлеба» (или «Хлеб и воля»), которую Кропоткин написал, находясь на французской тюрьме, и которая впервые вышла в 1892 г. на французском языке.

Оба они — Кропоткин и Баллод — занимались экономической стороной жизни при социализме. Оба начинали с рассуждений о том, сколько народу нужно хлеба и как его выращивать, сколько надо мяса и молока, одежды и квартир, и оба завершают рецептами, как, создавая новое общество, обуздать разрушающие силы себялюбия, эгоизма. Но рецепты у них разные.

Кропоткин считает, что для победы социализма «нужна экспроприация. Довольство для всех, как цель, экспроприация, как средство». А далее? Как достичь поставленную цель после экспроприации, после кровавой революции, разрухи?

Через 15 лет своей революционной деятельности Кропоткин задумывается всерьез и на всю оставшуюся жизнь над возможностью морального прогресса в обществе, построенном по принципам анархического коммунизма, пытается обосновать возможность, даже неизбежность прогресса биологическим инстинктом, точнее, законом взаимопомощи. Этот закон Кропоткин считает фундаментальным и единым фактором эволюции живого мира — в противовес закону борьбы за существование. В 90-х годах печатает серию статей о взаимопомощи — среди животных, дикарей, варваров, в средневековых городах, в современном мире, затем издает их в виде книги.

Подтверждая свою догадку, Кропоткин пишет новую версию «Великой французской революции (1789—1793)». Возможное спасение революции он усматривает в самостоятельности народных масс, в анархистском движении 40 тыс. коммун, которые самостоятельно в ходе революции пришли к требованиям коммунистического характера.

Квинтэссенцией размышлений Кропоткина является его фундаментальный труд «Этика», который он не успел завершить (вышел только первый из двух томов).

Крайне симпатично о Кропоткине отзывался Вера Фигнер, узница Шлиссбургской крепости в течение почти четверти века (см. ее «Запечатленный труд», т. 3, 1933). Этот отзыв к тому же вскрывает параллели между работами Кропоткина и Баллода:

«Проникнутый горячей верой в человека, он (Кропоткин) дает отраду даже тем, кто не разделяет его политических взглядов. В книге «Хлеб и воля» (...) он развивает

мысль, что современная техника может при соответствующей организации трудящихся так облегчить труд каждого, что будет большой досуг для удовлетворения всех культурных, интеллектуальных и эстетических потребностей человека (...)

Но этот борец за всеобщее счастье, в своих творениях никогда не исходивший из специальных условий русской жизни и ее государственных порядков, не переставал любить свою родину».

Подобные слова с полным правом можно сказать о Баллоде. Проведя лучшие годы жизни в Германии, он непрерывно делал попытки приносить пользу России, Латвии. К сожалению, тщетно.

НАДЕЖДА СТАТЬ ГЛАВНЫМ СТАТИСТИКОМ ИМПЕРИИ.

Как свидетельствует архивное досье Тартуского университета, 9 марта 1908 г. Карл Баллод подал прошение на имя декана юридического факультета Тартуского университета о допуске его к экзаменам на звание магистра по политической экономии. Получив разрешение, сдал два экзамена: 27 марта — по статистике, отвечая на вопросы: 1) Кетле и его значение для научной статистики, 2) смертность, таблицы смертности и средняя жизнь, а 1 апреля сдал политэкономии (вопросы: 1) Маркс, его историко-философское учение и теория стоимости, 2) производительность труда в земледелии).

Спрашивается, зачем Карлу Баллоду, титулованному профессору, лектору по курсу статистики и экономики России в Берлинском университете, члену Прусского статистического управления, понадобилось звание магистра? В то время он уже имел два университетских диплома — по теологии и географии. К тому же звание магистра Баллод добивался весьма настойчиво: первое прошение подал еще в 1904 г. (Сдаче экзаменов тогда, видимо, помешала революция Пятого года).

Можно высказать гипотезу, что Баллод желал повторить успех русского математика В. Г. Буныковского (1804—1889), главного статистика Российского правительства. По мнению П. Залите, на подобный пост Баллода приглашал С. Ю. Витте, выдающийся государственный деятель России.

Прямых доказательств этому найти пока не удалось. В трехтомнике «Воспоминаний» С. Ю. Витте я нашел интересную оценку событий 1905 года (как известно, Витте был автором манифеста 17 октября 1905 года, получил тогда пост премьер-министра и продержался на этом посту до апреля 1906 года), которая по замыслу автора «Воспоминаний» должна, видимо, оправдать его неудачу:

«Когда революционеры начали судить рабочим фабрики, а крестьянам барскую землю, и доказывать им, что в сущности это им и принадлежит, а только неправильно от них отнято, то понятно, что рабочие были охвачены дикими забастовками, а крестьяне «красным петухом».

Досье К. Баллода содержит факты о начале его жизненного пути.

Карл родился в Кокнесском приходе, лютерании. Его отец, сельский кузнец, умер, когда мальчику было всего два года. Как вспоминает сестра Германа, в семилетнем возрасте Карл учился грамоте у одной старой дамы в Риге — всего три месяца. Пришлось зарабатывать на хлеб. Работал помощником наборщика в типографии, продавцом в кондитерской, маркировщиком экспортного льна. Все свободное время отдавал книгам. В молодости знал 5 языков, потом это число довел до 11. Неожиданно даже для родных в 1883 году он съездил в Елгаву и экстерном сдал экзамен за весь курс классической гимназии. Особенно отличился знаниями по математике и физике, истории и географии. По настоянию матери пошел на теологический факультет в Тарту, который окончил за три года.

В 1889 г. Баллод отправился в путешествие по Южной Америке, на поиск новой родины для латышей — тогда многие латыши переселялись, вынашивали даже планы переселения всего народа. Жизнь там оказалась не столь сладкой, но собранных материалов хватило на защиту диссертации по географии в Иенском университете в Германии. Это было в 1892 году.

Далее цитируем автобиографию:
«Не имея возможности продолжения научных занятий по географии, я в июле 1893 г. принял предложенную мне должность лютеранского пастора в г. Златоусте на Урале. Суровый климат Урала расстроил мое здоровье и я в марте 1895 г. покинул пост пастора. В 1895 г. я сначала в Петербурге, потом в Мюнхене изучал вопрос о смертности

в России, результатом явилась написанная мною совместно с Л. В. Бессером работа о смертности и долговечности православного населения России за 1851—1890 г. Работа эта была напечатана Академией Наук и удостоилась в 1898 г. премии (большой золотой медали). С осени 1895 по ноябрь 1899 я в Мюнхене, Страсбурге, Берлине предался занятиям по политической экономии и статистике и был 16 декабря 1899 допущен философским факультетом Берлинского университета к чтению лекций по названным предметам».

Вернемся к рассуждениям о том, чем вызвана высокая оценка работы по рождаемости православного населения. Ранее подобными исследованиями занимался вице-президент Петербургской академии наук В. Г. Буныковский — ученик известнейшего французского математика Коши, тайный советник, автор первого русского учебника по теории вероятностей («Основания математической теории вероятностей» (1846)).

Награда 1898 года обусловлена тем, что Баллоду и Бессеру удалось превзойти Буныковского. Как по точности математических формул и расчетов, так и по значимости выводов для демографии. Исследования вскрыли неблагоприятное соотношение смертности населения России по сравнению с данными по Германии, Швеции, Прибалтике, другим странам.

Как и Буныковский, Баллод дослужился до звания тайного советника. Только не в России, а в Германии. Но этого ему было мало: он хотел получить признание на родине. Специально для России, с учетом специфики ее экономики переписывает основные положения «Государства будущего» в виде отдельной книжки «Грядущие экономические вопросы России». Она вышла в самом начале 1906 г., когда Витте еще был премьер-министром и Баллод имел основания рассчитывать на высокое назначение. Только надо было получить университетский диплом по данной специальности в России. Притязания Баллода косвенно подтверждают восторженные слова из предисловия, в котором автор представляется как специалист Королевского Прусского статистического бюро по финансам России: «Недавно появившаяся (...) статья проф. Баллода касательно лишь одной стороны наших финансов, именно «займов», обратила на себя внимание всего финансового мира Германии».

Баллод начинает книжку с конкретных советов устранения разлада Российского хозяйства из-за проигранной японской войны (и его советы созвучны нашему времени перестройки):

«Скоро отойдет на задний план литература обличительная, на очереди станет программа будущего (...) Прежде всего — разумеется необходимо домогаться гарантии прав личности, слова, печати, участия общества в решении вопросов государственных. Без всего этого нечего и толковать о развитии экономических производительных сил».

Баллод указывает, что война обошлась в два миллиарда рублей, что для ликвидации последствий надо еще 600—800 миллионов, и плюс содержание войск в Маньчжурии стоит не меньше 30—40 миллионов в месяц. Но несмотря на экономические трудности, несмотря на наличие «полуобразованной, а подчас и совсем необразованной бюрократии русской», нельзя сворачивать с курса обновления страны: «Нет — возвращение к ретроградной политике может повести только и только к одному... к гибели... Разумная же прогрессивная внутренняя и финансовая политика в течение одного десятилетия может не только восстановить прежние силы, но и сделать Россию в социальном и культурном отношении первоклассной державой».

Баллод дает конкретные хозяйственные советы: освоение Кара-Бугазского залива для получения калиевой соли как средства для удобрения полей, освоение сибирских земель переселением безлошадных дворов, внедрение глубокой вспашки полей, орошение плодородных лесовых равнин Туркестана, вывод военного флота из Балтийского моря и т. п.

Авторитет работ профессора Баллода в России был чрезвычайно высок. Его книга «Государство будущего» в 1903—1906 гг. в России вышла шестью самостоятельными изданиями. Но... Витте ушел в отставку, в стране восторжествовала реакция, и... звание магистра политэкономии, полученное Карлом Баллодом, оказалось ненужным.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПЕТРОМ СТУЧКОЙ.

В 1917 году произошла в России социалистическая революция. Через год — революция в Германии. Наконец-то работы Баллода найдут практическое воплощение?

Он продолжает напряженно работать, готовит новый, полностью переработанный вариант «Государства будущего».

Наконец-то под собственным именем: можно было не бояться, что прослывешь подозрительным социалистом. Кидается в водоворот политических страстей, чтобы доказать, что в Германии возможна и необходима немедленная социализация средств производства, что совершенно необходимо национализировать металлургические заводы, угольные шахты, электростанции, леса и большие имения. Социалдемократическое правительство Германии в декабре 1918 г. привлекло К. Баллода наряду с крупнейшими теоретиками К. Каутским, Р. Гильфердингом и другими в комиссию по выработке предложений социализации Германии. Но... тома с предложениями тут же были сданы в архив.

В начале 1920 г. Баллод поехал в Москву, к Ленину. Посредником он выбрал Петра Стучку, одного из ближайших соратников Ленина, и... потерпел полный провал.

В январе 1921 г. Стучка писал: «Баллод проехал 30 верст на автомобиле в санаторий, где я тогда находился, и не постеснялся просить меня (...), чтобы я поддержал его планы получения 100 000 десятин земли и 10 млн. кредита золотом, дабы осчастливить трудовой народ России. Это я назвал фантастическим планом и сказал сразу, что такое невозможно».

Подобное же неверие планам Баллода сквозит и в материалах комиссии ГОЭЛРО. Не сказалось ли тут влияние П. Стучки? Обиженный Баллод, не завершив подготовки русского перевода книги к изданию и не дописав статью «Вопросы социализации в России», уехал из Москвы. Тем самым Советская Россия, быть может, понесла одну из наиболее крупных интеллектуальных потерь.

В семитомных «Избранных трудах» Петра Стучки имя Карла Баллода встречается многократно и везде с враждебным оттенком. Откуда эта враждебность? Из-за политических расхождений по аграрному вопросу? Оба они были за индустриализацию земледелия, только Баллод выступал против конфискации земли, против экспроприации землевладельцев, которую проводило правительство Советской Латвии в 1919 г.

Пропаганду своих идей в Риге Баллод начал с публичного выступления 1918 г. в помещении Русского театра (сегодня Академический театр драмы). Излагал план снабжения городов Латвии хлебом: достаточно завести 300 имений по 500 га и по 54 человека рабочих в каждом. Его не поддержали. Вместо этого глава правительства П. Стучка и его министр земледелия Ф. Розинь-Азис создали 239 совхозов, приравняв объединенных крестьян к промышленному пролетариату. Неудачная затея! Не была ли она главной причиной поражения Советской власти в Латвии в 1919 году? Но Стучка свою точку зрения по крестьянскому вопросу не изменил до конца дней своих в 1932 году, как не изменил и своего враждебного отношения к Баллоду.

Вражда между ними, быть может, началась с середины 90-х годов. Тогда Стучка в Риге был редактором газеты «Диенас лапа», а Баллод ведущим журналистом другой рижской газеты тоже социалистического, но несколько более либерального толка, «Маяс виесис», редактировал которую П. Залите. В то время Баллод еще охотно рассуждал на темы морали, морального прогресса. Вероятно, под влиянием своего теологического образования.

Полистаем газеты за 1896 год. В «Маяс виесис» тем летом Баллод писал почти ежедневно, в основном путевые впечатления из Рима, Неаполя, Парижа. 17 апреля: «Прежде всего показать в теории, как устроить труд, чтобы он был наиболее успешным, подсчитать, насколько можно (...) поднять достаток и сократить тяжелый труд. Это было бы первой задачей наших молодых (...)»

Вторая, более важная (...) задача: какие же переустройства в практической жизни следует провести, в какой мере характер людей, всеобщий эгоизм позволит или помешает провести общепользные мероприятия».

В газете «Диенас лапа» Баллоду противостоял Ф. Розинь-Азис — тогда студент юридического факультета Гартуского университета. Он обвинял Баллода в мальтузианстве и других смертных грехах, черпая свои аргументы, в значительной мере из работ Плеханова (Вельтова). 20 июля, подводя итоги дискуссии, он высказал суждения, которые, походя, стали определяющими на долгие годы:

«Господин Баллод является индивидуалистом и моралистом-идеалистом. Он не имеет ни малейшего понятия в естествознании и философии, а в вопросах народнохозяйственных ему недостает общего взгляда...»

Знай автор о работе Баллода, по демографии, представленной к высшей награде Академии наук, о «Государстве будущего», писал бы он так?

Раздор между Стучкой и Баллодом мог возникнуть и чуть

позже в 1897 году, когда проходил судебный процесс над «новотеченцами»: судили Я. Райниса, П. Стучку, других. В связи с процессом Баллод позже высказывал осуждение поведения Стучки на допросах. Он, мол, стал наговаривать на товарищей, прежде всего на Райниса, пытаясь выторговать себе по крайней мере меньшее наказание. Насколько Баллод был прав? Сохранились слова Райниса о Баллоде: «Он является умнейшим и справедливейшим среди латышей».

Стучка истолковал предвзято и враждебно даже вот такие дружелюбные слова Баллода: «Советская Россия как раз обладает всеми дарами природы для возобновления добывающей и обрабатывающей промышленности в видах достижения высокого культурного уровня жизни, необходимого для проведения социального идеала. Ведь социализм согласно основной своей задаче должен осуществить не равенство нищеты, а равенство высокого уровня жизни».

Баллод был слабым политиком, он говорил немало горьких слов, которые могли вызвать раздражение руководителей молодой Советской России:

«Большевики сделали ту ужасающую непоследовательность, что произвели конфискацию без выкупа частного землевладения и объявили аннулированными государственные займы». Но при этом на руках, мол, оставили наличные богатства. Разорив банковскую систему, наводнили Россию потоком бумажных денег. Баллод считал неприемлемым посылку в деревни реквизиционных отрядов, «разгром (впрочем, сравнительно немногих) культурных имений и распределение их площади между крестьянами» и т. п.

Баллод по-видимому критиковал также работу комиссии ГОЭЛРО. Г. М. Кржижановский в статье «К десятилетию плана ГОЭЛРО» пишет:

«Такой незаурядный теоретик «планового» хозяйства как Баллод утверждал, что постройка крупных электростанций масштаба нашего Днепростроя — это неизбежно вторая очередь нашего строительства».

Не доказывают ли правоту Баллода сегодняшние дискуссии о затоплении плодородных земель водохранилищами гигантских ГЭС? Обнаруженные факты о недружелюбных отношениях между Стучкой и Баллодом вполне объясняют провал планов Баллода в России. Но не являются ли эти факты поверхностными, второстепенными? Нет ли более глубокой причины? Особенно если почитать статью И. Клямкина «Какая улица ведет к храму?» (Новый мир, 1987, № 11), а потом полистать разбираемый им сборник «Вехи» (1909) об умонастроениях русской интеллигенции.

Вот хотя бы две цитаты веховцев:

«Интересы распределения и уравнивания в сознании и чувствах русской интеллигенции всегда доминировали над интересами производства и творчества» (из статьи Н. А. Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда»). «Если из двух форм человеческой деятельности — разрушение и созидание, или борьбы и производительности труда — интеллигенция всецело отдается первой, то из двух основных средств социального приобретения благ (материальных и духовных) — именно распределения и производства — она также признает исключительно первое» (С. Л. Франк «Этика нигилизма»).

Если сказанное о состоянии духовных сил России верно, то предложения Баллода не могли пройти ни в период революции 1905 года, ни тем более после Октябрьской революции. Мысли «веховцев» созвучны и нашему времени, ведь мы на первое место ставим вопросы справедливого распределения, создаем все новые карающие законы и контролирующие органы, на втором месте оставляя проблемы производства, творчества.

Таким образом получается, что и сегодня Карл Баллод мог бы оказаться неугодным.

КОНЕЦ ЖИЗНИ. С 1 сентября 1919 г. К. Баллод стал профессором Латвийского университета, читал курс по экономике народного хозяйства. В прессе часто выступал с критикой экономической политики Латвийской республики. Включился в партийную борьбу, создав свою партию «Трудовой союз» (см. статью Ю. Прикулиса в сб. «Очерки развития общественной и философской мысли в Латвии (1900—1920)», 1977, на латыш. яз.). Свою предвыборную программу изложил в книжке «Хозяйство Латвии при способном и неспособном правительстве», 1928, на латыш. яз.

В 1927 году в Германии Баллод еще раз издал полностью переработанный вариант «Государства будущего» (4-е изд.). Выказанные в книге предложения относительно оборота денег, государственного кредитования и политики цен, относительно индустриализации земледелия, устройства городов и другие звучат совсем по-современному.

Но как сказано в одном из некрологов, «в Латвии не нашлось людей, желающих услышать его планы и предложения».

Интерес к работам Баллода в Советском Союзе сохранялся долго. Еще в 1930 г., когда Петр Стучка был все-таки председателем Верховного суда РСФСР, председателем Международной контрольной комиссии Коминтерна, Кржижановский в статье «Вопросы построения генерального плана» пишет: «В портфеле работ по генеральному плану имеется еще серия работ, направленных на выявление стандартных норм производства и потребления в разных странах. Это — очень хорошее начало. Дальнейшая проработка этих материалов позволит нам в нашем генеральном плане провести ту серию работ, которая в свое время исчерпала весь план Атлантикуса в его «Государстве будущего»».

Заметьте, автор работ назван не профессором Баллодом, как прежде, а по псевдониму — Атлантикус, и имеется в виду, видимо, первое издание 1898 года, а не более поздние издания.

19 января 1931 года останки Карла Баллода похоронили в Риге в дальнем углу Больших кладбищ. Великий прорицатель будущего не имел средств для места на аристократическом Лесном кладбище.

НАСТУПИЛА ПОРА РЕАБИЛИТАЦИИ.

Карл Баллод — это одна из немногих вершин латышской культуры, но, к сожалению, вершина «неонокоренная». Научная судьба Баллода имеет аналогию с литературной судьбой русского писателя Н. С. Лескова (1831—1895).

В 1890 году Л. Н. Толстой прочел «антинигилистический» роман Лескова «Некуда», опубликованный им в 1864 г., и высказал слова, которых Лескову так не доставало все долгие годы одиночества, и которых он так и не услышал: «Он (Лесков) был первым в 60-х годах идеалистом христианского типа и первым писателем, указавшим в своем «Некуда» недостаточность материального прогресса и опасность для свободы и идеалов от порочных людей (...). В 60-х годах на очереди стояли государственные задачи, а моральный прогресс подразумевался сам собой (...). Он, автор «Некуда» требовал его прежде всего и указывал на отсутствие его начал в жизни даже лучших людей того времени».

В своем романе Лесков отобразил жизнь в первых коммунах, воплотивших идеи коллективизма, которые нам известны по роману Чернышевского «Что делать?». Показал, что к движению нигилистов примкнуло немало плохих людей. Показал, как одни из них злоупотребляют альтруизмом и щепетильностью членов коммуны, другие разрушают коллектив демагогическими рассуждениями и лестью. Но в возбуждении, в нетерпении начала 60-х годов трезвые рассуждения были неуместны. Лескова оттолкнули и... тропую отвергнутого прошел он по жизни.

Отношение к личности Лескова не изменилось даже к столетию рождения писателя. И только недавно имя Н. С. Лескова нашло причитающееся ему место между двумя гигантами русской литературы Ф. М. Достоевским и Л. Н. Толстым.

Подобные суждения можно высказать по поводу Карла Баллода, рассчитывая на введение его имени в общедоступную часть латышской культуры (в 1989 г. пройдет 125 лет со дня рождения К. Баллода).

Рассуждая о месте К. Баллода в нашей культуре, следует отметить, что его труды не потеряли своей актуальности и сегодня. Взять хотя бы статьи старейшего советского экономиста В. Г. Венжера, делегата 8-го Съезда советов. Новейшая его работа «Условия социалистического хозяйствования» (Вопросы экономики, 1987, № 7) через 70 лет Советской власти ставит те же вопросы, внимание к которым обострял еще Баллод.

Венжер упрекает экономистов в пренебрежении законом стоимости: «Весьма ограниченно применяются товарно-денежные отношения, как проверенный многовековой практикой человека способ обмена деятельностью, но зато преувеличивается значение натуральных отношений, особенно в колхозной экономике». Не боится указывать на отрыв работ от живой экономики, на их схоластицизм: «Наша политическая экономия социализма развивается, к сожалению, пока еще в большой мере не на базе изучения практической деятельности и опыта масс (...), а путем выведения чисто словесных абстракций все более высокого порядка при опоре на предыдущие абстракции».

... Наступила пора «писать» экономику отраслей, регионов и всей страны по образцу «Государства будущего» Баллода, как учил В. И. Ленин.

КОНЦЕПЦИЯ

Как и в наши дни, в двадцатые годы творческий поиск педагогов-практиков стимулировался безрезультатным трудом теоретиков. Не случайно Антон Семенович Макаренко, которому по решению ЮНЕСКО посвящен 1988 год, писал и говорил о том, что создание им собственной системы воспитания было действием вынужденным, так как педагогические «буквари» не давали ответов на волнующие практиков вопросы: какова должна быть цель советского воспитания? какими методами и средствами это воспитание должно вестись? Из нашего временного далека мы знаем, что это не совсем там: такие проблемы разрабатывались Луначарским, Крупской, существовала уже школа Шацкого, но, видимо, все это не доходило до украинской глубинки, где работал Макаренко, да и в Наркомпросе республики господствовали другие взгляды. Среди педагогической элиты преобладали люди большого душевного размаха, которые в качестве педагогической модели воспитания предлагали глобальные формулы «человека-борца», «человека-строителя коммунизма», «гармонически развитой личности» — они звучали прекрасно и величественно, но недаром древние считали, что сказать все — значит ничего не сказать... Макаренко же, как практика, интересовали более земные вопросы: что должен уметь «человек-борец»? нужно ли учить его какой-либо специальности, а если нужно, то какой именно? какое образование он должен получить? и т. д. То, что «человек-строитель коммунизма» должен быть предан идеалам коммунизма — несомненно, а вот как он должен строить свои отношения с коллективом, какими моральными качествами обладать — на эти вопросы теория отвечала только в самом общем плане.

Педагогическое чутье, талант, опыт удач и неудач привели Макаренко к той точке зрения, что модель педагогического труда должна соответствовать социально-экономическим задачам, стоявшим перед обществом — нужно воспитывать «культурного советского рабочего»: «Мы должны дать ему образование, желательнее среднее. Мы должны дать ему квалификацию, мы должны его дисциплинировать, он должен быть политически развитым и преданным членом рабочего класса, комсомольцем, большевиком. Мы должны воспитать у него чувство долга и понятие чести, иначе говоря, он должен ощущать достоинство свое и своего класса и гордиться им, он должен ощущать свои обязательства перед классом. Он должен уметь подчиняться товарищу и должен уметь приказывать товарищу. Он должен быть вежливым, суровым, добрым и беспощадным — в зависимости от условий жизни и борьбы. Он должен быть активным организатором. Он должен быть настойчив и закален, он должен владеть собой и влиять на других; если его накажет коллектив, он должен уважать и наказание, и коллектив. Он должен быть веселым, бодрым, подтянутым, способным бороться и строить, способным жить и любить жизнь, он должен быть счастливым». Многие нам в этом развернутом определении напоминают тридцатые годы — что ж, Макаренко был человеком своего времени и отдал дань безграничному доверию к Сталину, к истинам, провозглашавшимся вождем от имени партии, но интуитивное неприятие некоторых элементов этого определения вызывается не их объективной сущностью, а тем содержанием, что стало вкладываться в них впоследствии. Важно, что перед нами не абстрактная формула, а развернутый набор тех качеств, которые Антон Семенович воспитывал в своих питомцах. В сущности, этот набор определяет тип рабочего — интеллигента, взятого в своем развитии, и не случайно, что идеалом для макаренковских колонистов и коммунаров стал Алексей Максимович Горький, связь с которым они поддерживали вплоть до таинственной кончины великого писателя.

Осмысление своего практического опыта привело Макаренко к выделению трех основных принципов своей системы: во-первых, воспитание социалистической личности возможно только в правильно организованном коллективе и только через этот коллектив; во-вторых, стержнем воспитания должно быть участие детей в производственном труде; в-третьих, воспитатель должен исходить из уважения к воспитаннику, из признания любой человеческой личности уникальной, сохранять «индивидуальную прелесть» личности.

Педагогического брака у Макаренко почти не было. Основная масса колонистов и коммунаров, получив производственную

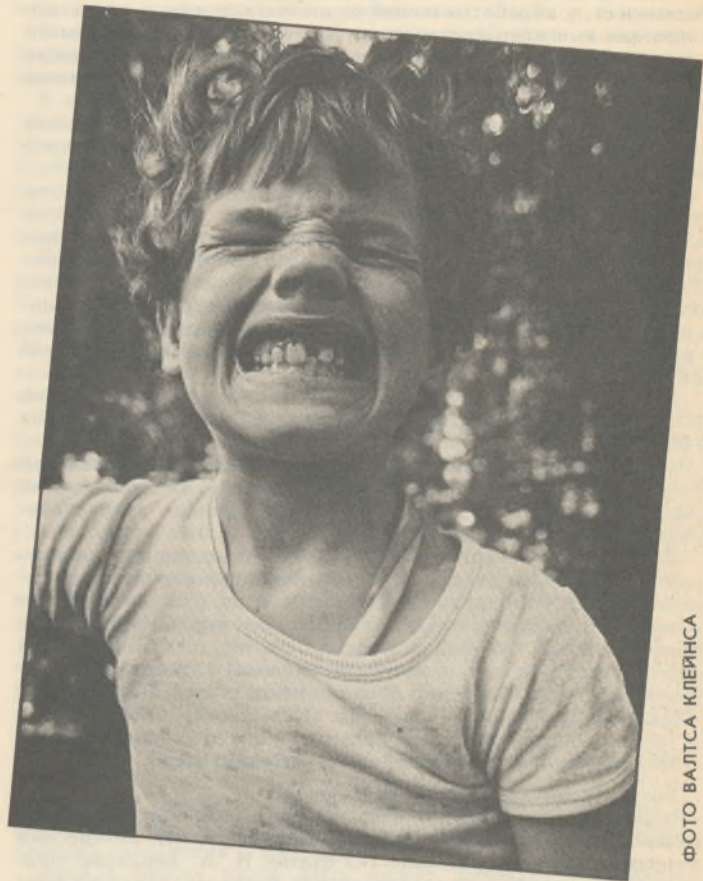


ФОТО ВАЛТСА КЛЕЙНСА

квалификацию, шла продолжать свое образование в высшие и средние специальные учебные заведения; из них получились хорошие рабочие, артисты, педагоги, инженеры, техники, летчики, моряки, красные командиры, научные работники — словом, индивидуальность, личность при таком воспитании не была потеряна. Но какое все это имело значение для «генералов от педагогики», если было сделано «не по правилам»? Действие не по инструкции, а вопреки ей, несомненно, подлежало наказанию, и вот Макаренко был призван к ответу... «В просторном высоком зале увидел я, наконец, в лицо весь сонм пророков и апостолов. Это был... синедрон, не меньше. Высказывались здесь вежливо, округленными любезными фразами, от которых шел еле уловимый приятный запах мозговых извилин, старых книг и просиженных презел. Но пророки и апостолы не имели ни белых бород, ни маститых имен, ни великих открытий. С какой стати они носят нимбы и почему у них в руках священное писание? Это были довольно юркие люди, а на их усах еще висели крошки только что съеденного советского пирога» — так воссоздавал атмосферу своей эзеквэции он в «Педагогической поэме». Отчет оказался бесполезен — все было предрешиено заранее, приговор был суров — «Предложенная система воспитательного процесса есть система несоветская».

Сейчас мы отчетливо можем предвидеть к каким последствиям для Макаренко могла привести данная формула осуждения, дополненная пущенными ревнителями чистоты советской педагогики слухами о том, что он был царским полковником, и скрыл этот позорный факт своей биографии (иначе чем объяснить употребление таких «несоветских» слов как — «честь», «совесть?»), но их, к счастью, почти не было, хотя со своим детищем — колонией имени Горького, — Антону Семеновичу пришлось растаться. Он перешел работать в трудовую коммуну имени Дзержинского, которая была подведомственна НКВД Украины. Правда, костяк коммунарского коллектива составляли бывшие горьковцы, ранее переведенные туда по просьбе чекистов. Ком-

муной Макаренко руководил до 1 июля 1935 года. За этот небольшой срок он успел создать в коммуне завод по сборке фотоаппаратов типа «лейка» (наследниками их являются наши современные «ФЭДы» (ФЭД — аббревиатура от «Феликс Эдмундович Дзержинский»), 1 июля 1935 года Макаренко вступил в должность помощника начальника отдела трудовых колоний НКВД УССР, но уже в следующем году он переезжает в Москву, где вплоть до своей смерти, наступившей 1 апреля 1939 года, занимается литературным трудом и пропагандой своего педагогического опыта. Тем временем перешедшие в другие, неласковые руки колония и коммуна потихоньку утрачивали свои «макаренковские черты» и становились обычными исправительно-воспитательными учреждениями для малолетних преступников. Ответственным за развал работы в них педагогическая пресса сделала Макаренко, увидев в этом следствие недостатков его «несоветской системы воспитательного процесса».

2.

К сожалению, настоящая, неприкрашенная биография Макаренко еще не написана. Многие обстоятельства его жизни вызывают целый ряд вопросов. Например: в чем причина его быстрого ухода со службы в аппарате НКВД УССР? что происходило вокруг Макаренко в 1937—38 годах? Ответов на эти вопросы все еще нет.

Элита педагогической теории перед самой смертью Макаренко от него отказалась. Но вот прошла Великая Отечественная война и наступил год 1948, в котором бы Антону Семеновичу исполнилось 60 лет, и довольно неожиданно его имя вновь оказалось в центре внимания, но на этот раз окруженное почтением и похвалами. Наступивший юбилей был объявлен чуть ли не всенародным праздником, а в печати появились требования признать макаренковскую концепцию воспитания не только подлинно советской, но и ЕДИНСТВЕННО советской. Кажущееся противоречие, выраженное в изменении оценки Макаренко и его системы, на мой взгляд, объясняется следующим.

Все разгромные кампании в науке в тридцатые — сороковые годы, как правило, велись против какой-либо одной школы; с ее разгромом огонь критиков перемещался на следующую — все в полном соответствии с теорией роста классовых борющихся по мере строительства социализма, главное — чтобы был враг. В педагогике таким врагом в тридцатые годы была объявлена педологическая школа. Педологи, наряду с ценными разработками (огромна их роль в становлении советской педагогической психологии), выдвигали и целый ряд весьма спорных положений, в частности, преувеличивая роль наследственных факторов в воспитании и обучении детей. Некоторыми из них был выдвинут тезис о генетическом предопределении умственных способностей людей. Возможно, против педологов имелись и предубеждения личного порядка, — сохранились сведения о том, что проведенное ими тестирование учеников одной из московских школ показало низкий интеллектуальный уровень обучавшегося в ней сына Сталина. С разгромом педологической школы, который был оформлен в постановлении ЦК ВКП (б) от 1 июля 1936 года, «бдительно» нужно было найти нового врага, и быть им настала очередь Макаренко, который, в общем, до этого имел партийную поддержку. В изменившейся нравственно-политической обстановке воспитательная система Макаренко могла быть и была вредоносной для укрепившейся государственно-бюрократической машины: нужен человек — «винтик», а Макаренко воспитывает личность гордую, ощущающую свои честь и достоинство, попирается демократия — Макаренко считает, что правильная организация коллектива основывается на гласности, самоуправлении и хозрасчете. Видимо, этим и объясняется ярость нападок на него в 1938 году. Но было у Макаренко и то, что могло импонировать, стать полезным для административно-командной системы, это — подчеркивание необходимости подчинения личных интересов коллективному, крепкая дисциплина в коллективе, использование военизированных методов организации. Сам Антон Семенович неоднократно заявлял, что его система должна браться во всей совокупности элементов, ее составляющих, отстаивал сочетание дисциплины и гласности, подчинение личности коллективу с обязанностью коллектива защищать личность. После его смерти стало возможным забыть обо всем этом и выдвинуть на первый план то, что сам основатель считал не главным. Умерший Макаренко мог быть использован и был использован в качестве иконы, носитель которой мог претендовать на монопольное положение наследника его идей, а если идеи будут признаны единственно верными, то и на монопольное положение лидера всей педагогической науки. Словом, в педагогике дело шло по той же схеме, что и в биологии и сельскохозяйственных науках — ведь в том же 1948 году состоялась печальной памяти сессия ВАСХНИЛ, решение которой можно свести к формуле догмата: «Нет в сельскохозяйственных науках бога кроме Мичурина и Лысенко пророк его».

Выхолощенная таким образом система Макаренко стала внед-

ряться в принудительном порядке в школах и это, естественно, встретило негативную реакцию со стороны части педагогов и родителей. Правда, в это же время в полном соответствии с духом, а не буквой концепции Макаренко, в Павловской средней школе начинают работать Сухомлинский, но официальную поддержку его опыт начинает встречать только с середины пятидесятых годов.

Таким образом, отношение к педагогическому наследству Макаренко, к его концепции воспитания личности всегда было сложным и противоречивым. Мы можем ее не принять вообще, можем признать полезной для своего времени и сдать в архив педагогики, но наивысшая ее ценность выразившись бы в признании возможности ее использования в перестройке нашей школы.

3.

Самым главным недостатком педагогической теории двадцатых годов Макаренко считал то, что она не дает операционной модели результатов воспитания, останавливаясь на самых абстрактных формулах. Изменилось ли положение дел к лучшему? Ответ однозначен — нет.

В подтверждение сошлюсь на коллективную монографию «Формирование личности: проблемы комплексного подхода в процессе воспитания школьников» под редакцией Г. Н. Филонова (М., Педагогика, 1983): «А. С. Макаренко указывал в свое время на неразработанность проблемы целей воспитания. Как ни странно, положение в этой области изменяется весьма медленно». — пишут авторы на странице 31. Цель воспитания берется чрезвычайно широко: всестороннее, гармоническое и целостное развитие личности. Все это верно, нужно идти в воспитании именно в этом направлении, но педагогу-практику для успеха в работе необходимо знать, какие конкретные личностные черты он должен воспитывать в своих учениках. Выбор цели определяет и выбор средств. Самая общая постановка цели неизбежно ведет к тому, что и средства воспитания выбираются самые общие, аморфные. Но абстрактная формула имеет и свои преимущества — она позволяет скрывать педагогический брак.

Возьмем такое качество личности, как коллективизм. Несомненно, всесторонне развитая, гармоническая личность должна им обладать. Внешне с воспитанием коллективистов у нас дело обстоит вполне благополучно. Слово «коллектив» звучит в различных падежах очень часто, только почему-то все больше и больше детей приобретают явные черты эгоизма. Учитель из Брестской области Ю. Чесноков пишет на страницах журнала «Народное образование» (№ 1 за 1988 год): «Как ни странно, но в современной школе, призванной воспитывать коллективистов, многое, кроме, пожалуй, лозунгов и внеклассных мероприятий, нацелено на борьбу с коллективизмом. С первого по десятый класс разногласий учительский хор внушает школьнику: «Для себя ведь учишься!». И уж как следят, чтобы незыблемо «для себя», чтобы на уроках обозревались только затылки друг друга, чтобы исключалось взаимодействие даже улыбками, кивками и взглядами («Не переглядывайтесь, я все вижу!») Если благодаря самоотверженности отдельных учителей некоторые классные группы еще можно считать коллективами, то коллектива в рамках школы почти нигде не существует, так как не обеспечено необходимое деловое общение между учащимися различных возрастов. Макаренко для этой цели предлагал и создавал систему разновозрастных отрядов, в которых старшие сами воспитывали младших, за педагогом оставалась функция управления этим процессом. В современных школах существуют некоторые разновозрастные объединения: клубы интернациональной дружбы, полит-клубы, лекторские группы, советы дружины и т. п. Но их роль в процессе становления единых школьных коллективов пока еще в большинстве школ незначительна, так как часто они действуют только формально и объединяют незначительное количество детей. Не может и не становится механическое объединение тех или иных людей коллективом само по себе. Наглядным примером этому являются и наши двуязычные школы. Заходил по служебным делам в одну из таких школ — в одном крыле этажа занимаются латышские дети, в другом — русские. Спрашиваю у ребят из русского потока (5 класс): «Вы в то крыло ходите?» — «Нет, если туда пойдем, то нас бьют» — отвечают с легкой печалью, но тут же добавляют в гордостию: «Но если они к нам, то мы их!» — Прекрасный пример единого коллектива!

Отсутствие коллектива приводит к тому, что слабые в психологическом, физическом или интеллектуальном отношении дети чувствуют себя в школе весьма неуверенно, много фактов прямого издевательства старших или более физически развитых детей над младшими и слабыми, не редки в школе и случаи вымогательства. Мой знакомый рассказал о случае со своим сыном, учащимся одной из рижских школ. Мальчик, приходя из школы домой, сразу же бросался в туалет. На вопрос, почему он не справляет свои потребности в школе, угрюмо молчал. И только

обращение к одноклассникам сына (он был в первом классе) позволило выяснить причину: группа хулиганствующих подростков несколько раз запирали его в туалете и держали там до тех пор, пока не пройдет несколько минут после звонка на урок. Ну а для первоклассника опоздание — это целая трагедия, и малыш перестал выходить из класса вообще. Это достаточно типичный случай: многие учителя начальных классов в разных школах не выпускают в коридор своих учеников, опасаясь, что их обидят.

Не защищает существующий коллектив и от произвола и грубости учителя — тема сложная и болезненная. Мы сейчас уже дошли до того, что республиканская газета умиляется в своем сообщении о передовом педагогическом опыте по поводу начинания директора одного рижского СПТУ, который собрал педагогов и запретил им называть учащихся «дебилами» и «идиотами», — какие хорошие плоды это дало!

Вывод такой — отсутствие настоящего коллектива в наших школах делает детей беззащитными, воспитывает отвращение и страх перед школой, жестокость в обращении с ближними, способствует тому, что даже невольно они превращаются в эгоистов.

Воздействие такого антиколлективистского воспитания усиливается тем, что воспитательный процесс разбит между несколькими центрами, которые свою работу со школой не координируют. Возьмем для примера детско-юношеские спортивные школы. Закрытость их работы от общественности сравнима разве что с закрытостью работы Комитета государственной безопасности, но у последнего все же есть на это основания. Должны ли спортивные педагоги поддерживать контакт со средними общеобразовательными школами, где учатся их воспитанники? — Да, должны, но этого не делают. Между тем у нас спорт становится все более профессиональным и юным, все жестче в нем конкуренция. На более или менее широкую арену ребята выходят уже в раннем подростковом возрасте, когда их психика очень и очень неустойчива. Между тем многие из них смотрят на спорт как на средство, подчас единственное, добиться жизненных успехов, и крушение этих надежд для многих приводит к самой настоящей катастрофе. Многие, не пройдя испытание ситуацией «успех — неуспех», морально ломаются. На мой взгляд, нам давно пора отказаться от мнения, что спорт всегда благотворен, всегда полезен. Благотворна физическая культура, но она-то у нас как раз и забыта, забыта за счет развития полу-чисто профессионального спорта. Как не вспомнить здесь Макаренко, который считал, что **ВСЕ ВНЕШКОЛЬНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ** должны быть подчинены ШКОЛЕ. У нас же сейчас те же СДЮСШ от отдела народного образования совершенно не зависят и их отношение к создаваемым новым органам образования неопределено. Вот и еще один фактор, благодаря которому наши дети коллективистами не становятся — большую часть времени они проводят в школе, а интересы их направлены вне школы.

Правильная организация как учебного, так и воспитательного процесса невозможно без поддержания дисциплины. «По-Макаренко» сознательная дисциплина есть результат всей суммы воспитательного воздействия и прежде всего совместного, коллективного производственного труда; у нас же она рассматривается как результат прежде всего карательных мер — над ребенком постоянно висит дамоклов меч грозящего наказания, наказания, в котором зачастую даже отсутствует определенная система. Есть ли в наших школах настоящая, сознательная дисциплина? Приучены ли учащиеся к точности, аккуратности? — Наверное, применительно ко многим школам, на эти вопросы можно ответить отрицательно. Можно зайти почти в любую школу и увидеть и услышать одно и то же на каждой перемене — боготня, шум, гам, да такой, что и взрослому человеку станет тошно. Иные посетители умиляются — ведь это же ДЕТИ! Как им не побегать, не покричать? Но посмотрите вокруг и вы увидите, что большинству ребят этот шум и гам неприятен, что многие из-за них не хотят выходить даже на перемене из класса. Зависимость между дисциплиной и коллективом прямая: нет коллектива, нет и настоящей дисциплины. Сейчас, когда авторитет учителя для детей стал менее незабываемым, чем двадцать—тридцать лет ранее (по разным причинам, в том числе и вполне оправдывающим учителей), явно, что слова и дела учительского гнева на ребят почти не действуют (для них более важным является мнение своих одноклассников или просто товарищей), очень кратковременным бывает и воздействие разного рода наказаний, вплоть до разбора на комиссии по делам несовершеннолетних. Наверное, пора понять, что без помощи самих учащихся, силами одних учителей, настоящую дисциплину в школе не навести. Поэтому мы опять приходим к признанию правильности положения концепции Макаренко о том, что воспитание возможно только в правильно организованном коллективе и через коллектив. Видимо, прав В. Кумарин, который считает, что «Коллектив Макаренко по уровню развития, образу жизни на многие десятилетия обогнал свое время. Он и сегодня со всеми его чертами — демокра-

тией, гласностью, дисциплиной, хозрасчетом — остается моделью социалистического общества». («Народное образование», 1988, № 3, с. 83).

4.

Пожалуй, наиболее остро сейчас стоит вопрос о трудовом воспитании в наших школах. Любовью к труду наши выпускники явно не отличаются. Печально, но надо признать, что трудолюбие мы подавляющую массу детей научить не можем и все это несмотря на лозунги, увещевания в значимости труда, несмотря на созданные (а может быть, отчасти и благодаря им) учебно-производственные комбинаты, ЛОТОСы, трудовые десанты и прочие. Конечно, многое в трудовом воспитании зависит от семьи. Многие родители смотрят на своих единственных чад как на наследных принцев и принцесс, всячески оберегая их от грубой прозы жизни. Причем, по моим наблюдениям, святое неведение труда среди девочек выше, чем среди мальчиков.

Беда, на мой взгляд, заключается в том, что школа стала видеть свою задачу в профессиональном обучении, а не трудовом воспитании — оно осталось на роли лозунга. Слов нет, дать хорошую специальность в соответствии с нуждами народного хозяйства и интересами ребятам — прекрасно, но ведь, в конечном счете, мы ее все равно не даем! Наши пресловутые УПК не пользуются авторитетом ни среди родителей, ни среди детей, ни среди производственников. Девочка из 54-й школы г. Риги предложила ввести рубрику «Чему и как учат в УПК» в телепередаче «Вокруг смеха», ее мнение было поддержано одноклассниками. Проблемы и трудности не в квалификации мастеров, компетентности администрации и прочем, что легко было бы разрешить, а в самой сути этих почтенных учреждений. Пока они являются носителями антитрудового воспитания. Вот пример: ребята-десятиклассники за 14—15 рабочих дней, честно отданных труду на УПК, получают по 2—3 рубля, а какое же воспитательное воздействие имеет такая унижающая зарплата! Администрация объясняет такое денежное выражение труда десятиклассников тем, что выпущенный ими продукт нуждается в «доводке» руками специалистов, но тогда встает вопрос о качестве обучения.

Мы все равно ведь не можем научить каждого юношу или девушку именно той специальности, которая им нравится, но научить их трудолюбию, привычке к труду мы не только можем, но и обязаны. Видимо, надо школе в трудовом воспитании ориентироваться прежде всего на формирование привычки к труду. Так и делал в свое время А. С. Макаренко: «Мы педагоги, теоретически залетали очень высоко, а практически были очень низко. Думали, что дадим нашему ребенку хорошую квалификацию, при помощи которой ребенок мог сделать плохую табуретку, готовили швею, которая могла сшить только трусики. Потом я избавился от этого педагогического предрассудка... Говорят, для того, чтобы сделать стул, один ученик должен сделать все части, тогда он будет хорошим мастером. Другие говорят: нет, один делает вот эту часть, второй — другую часть, третий полирует и т. д. И это верно. А когда «душевный педагог» видел такую работу, он бледнел, падал в обморок: как можно так издеваться над мальчиком: мальчик отрезает только эту штучку, просто ужас. Да, мальчик имеет дело только с этой штучкой, но он отрезает 200 штук за несколько минут, он работает на коллектив». Мы должны, наконец, твердо и окончательно решить, что нужно обществу: «всесторонне, гармонически развитая личность», или трудолюбивый человек.

5.

В современной школе произошел отрыв обучения от воспитания. Есть у нас школы, где имеется единая для всех учителей определенная воспитательная система, но они скорее напоминают оазис в пустыне.

Три года назад, после Апрельского Пленума ЦК КПСС, нам казалось, что стоит только надавить всем миром и рухнет стена, в которую мы уперлись на пути к коммунистическому обществу. Теперь всем ясно, что перед нами не стена, а самый настоящий завал, разбирать который придется не один год. Перестройка требует новых людей, а дать их может только новая школа, которая четко представляет себя, что у нее не одна задача — наполнять знаниями ученика — «сосуд», а две равноценные задачи — обучение и воспитание. Сейчас в школе идут значительные перемены: вводится самоуправление, взят курс на сотрудничество учителей и учащихся, к лучшему меняется и дело постановки трудового воспитания — создаются школьные цеха, кооперативы, профильные классы, но это лишь начало поворота к школе нового типа. Создание последней невозможно без выработки новой концепции воспитания, стержнем которой и могут стать идеи А. С. Макаренко. Надо только обращаться не к букве, а духу его концепции.

СТО МЕТРОВ ДЕМОКРАТИИ

На демонстрациях я не был лет пять. Конечно, на праздник хочется увидеть друзей, знакомых, но они, увы, тоже перестали там бывать. Никому не хочется тратить утро на обходы пикетов и заграждений, велик риск опоздать к своей колонне и оказаться в броуновском движении незнакомых тебе демонстрантов, наезжающих на тебя со всех сторон сварных конструкций, обшитых материей и пенопластом.

Чтобы избежать всего этого, мы решили пойти на нынешний Первомай вчетвером, с друзьями. Идти с пустыми руками не хотелось, нужно было придумать лозунги, достойные периода демократии и гласности. Выбрали те, что ближе к сердцу: «Закройте Слокский ЦБК», «Дом по ул. Горького, 76 — нуждающимся! Хватит «дворянских гнезд!». Благо, темы горячие, вон сколько было публикаций в местной и центральной прессе. Так что, думали мы, никого мы не шокируем, никому Америки не откроем. Понадобилось немного — гуашь, белая материя, складные бамбуковые удочки, — за пару вечеров все было готово.

Утром первого мая мы встретились, как было условлено, на Центральном колхозном рынке, влились в общий людской поток, который и донес нас до Политехнического института. Мы оказались в хвосте колонны небольшого предприятия, развернутые нами лозунги пришлось по душе коллективу, нас как бы приняли в свои ряды и даже вызвались помочь нести наши транспаранты. Примерно в сорока метрах от трибун к нам подбежал плотный приземистый мужчина с повязкой на рукаве, парторг предприятия. Он как-то суетливо посоветовал нам свернуть нашу самодельную агитацию, и, не дожидаясь выполнения, побежал за подмогой. В тот момент, когда с трибун донеслось раскатистое «Да здравствует перестройка, демократия и гласность!», наряд милиции вывел нас из колонны. Шедшая вслед за нами колонна на миг остановилась, послышались возгласы: «Вот это демократия!», «Ничего себе гласность!»

По газонам, через коротко стриженные кусты нас провели в небольшой парк, примыкающий к трибуне, и пытались завести в небольшой автобус радиокомитета. Там шла трансляция, и нас оттуда, конечно, поперли. Мы оказались на аллее, в окружении милиции и групп в штатском, и тут началась как бы вторая часть нашей демонстрации: всякий желающий подходил к нам и просил показать ему наши транспаранты. Это, наверное, здорово веселило их — младшие лейтенанты, улыбаясь и краснея, отворачивались, чтобы не заметило начальство, а оно, в свою очередь, с трудом сохраняло напускную серьезность. Благо, никому не надо было объяснять, что такое «дворянские гнезда». Гораздо больше рижан не знают, где находятся «шведские ворота». В общем, шло что-то вроде театра миниатюр. Какие-то люди в штатском подходили со стороны трибун и на расстоянии с интересом нас разглядывали. Так продолжалось минут десять, пока некий майор консультировался с начальством, как дальше с нами быть. Пригласив на беседу и не очень спрашивая нашего согласия, нас усадили в милицейский «газик» и повезли в отделение милиции Кировского района.

В отделении никто не мог понять, за что и зачем нас туда доставили. Мы были там в диковину — трезвые,

ничего не нарушившие люди. Поразмышляв немного на тему «ничего себе гласность», один из милиционеров пришел к выводу, что есть демократия по-американски, по-западноевропейски и по-русски. Уклоняясь от углубленных комментариев, все же заметим, что, например, участники демонстраций в Западной Европе несут плакаты любого цвета. А в Соединенных Штатах всякий постовой хоть и заносчив, все же не пытается по-своему толковать законы и конституцию, приспособивая их к местным условиям и вкусам, имеем также смелость предположить, что в Америке и Европе партийные функционеры не ведут трусливый надзор за своими соотечественниками, идущими в одной колонне, и не бегут за полицейскими, если в лозунгах им чудится крамола.

И хоть наши самодельные плакаты неказисты, им не грозило отсутствие внимания, как перестали замечать стандартные призывы, сделанные по образцам, публикуемым в прессе, штатными столярами и художниками. Нам пообещали, что наши лозунги представят в местные органы власти, т. е. по сути это заявления. В случае, если это чудо произойдет и их будут рассматривать руководящие работники, мы приносим извинения за неприглядный внешний вид и обещаем, что в следующий раз выполним их лучше.

Написав пояснения к плакатам на стандартных бланках и заполнив графы данных, мы шли по ул. Ленина в направлении центра.

Все бы ничего, но оставалось впечатление какого-то трюка, игры, в результате которой все удачно подстраховались и нагоняя не будет никому. Это понятно. Как понятно то, почему в то время, когда по ЦТ в программе «Взгляд» показывался сюжет о Слокском ЦБК и судьбе Рижского взморья, во всей Юрмале вдруг погас свет. Это же случайность! Ведь руководители Юрмалы купаются в тех же морях и речках, что и мы, и не могут желать себе худшего. А что до демонстрантов у комбината, так это просто так. Кучка, политические спекулянты, зарабатывающие там себе авторитет. И не более. Пусть себе демонстрируют.

Что руководителям с того, что большинство населения Риги аргументированно высказалось против метро. Строить будут все равно. Вот это — служение! Хоть народ и не согласен, все равно сделают ему «благо». Воистину хоть из пушки пали — рыть будут. Ведь опросы — это что? Демократия. А что потом — это служение. Вот так: демократия и служение. И пусть попробует кто-нибудь сказать, что нет ни того, ни другого. Ну и что, что очередь на жилье застопорится лет на десять. Тысячам метростроителей тоже нужно где-то жить.

И все же непонятно, что значит, например, стоять в очереди на квартиру два-три года первым. Ведь жилье сдается каждый год тысячами квартир. Остается предположить, что есть претенденты с номерами «0», «—1», «—2», «—3» и т. д. А таких «натурально отрицательных» набралось на целый дом, да не дом, а целый квартал. И каких претендентов! Вот уж не скажешь, что недостойны. В том и равенство, что слуги народа живут лучше самого народа, и нормы распределения жилья их не касаются.

Непонятно, чем занимаются местные органы власти,

если через 43 года после окончания Великой Отечественной ее ветераны и инвалиды еще живут в условиях гораздо ниже среднего, а многодетные семьи ютятся по 8 человек в комнате.

Интересно, солидарность кого с кем и в чем демонстрируют люди в Первомай? Поддерживают ли они технократический волонтеризм властей в тех вопросах, которые касаются всех, но решаются небольшой группой людей? Чего стоит абстрактная, лозунгово-призывная солидарность, если сами лозунги обесценены?

Трудно слышать свой народ, общаясь с ним через громкоговорители, найти понимание в нем, с ним не советуясь, принимая решения, приводящие к эрозии

национальной культуры, разрушению природы и просто веры в перестройку.

100 метров — примерно столько нам удалось пройти в Первомайской демонстрации. Работники милиции сами же оценили, чего пока стоит наша гласность и кооперативно-пряничная перестройка. И все же движение начато. Но если руководство будет оставаться на трибуне, оно безнадежно отстанет. Впереди — дорога марафона. Лишь только начав движение по ней, нам предстоит пройти ее до конца.

ИННА И СЕРГЕЙ ПИЧУГИНЫ,
СЕРГЕЙ ОСКОЛКОВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВ

ИЛАН ПОЛОЦК

ПОПЫТКА КОМЕНТАРИЯ

Почему попытка? Ну, а как иначе назвать все те мысли, что лезут в голову по прочтении этого письма — откровенно говоря, комментариев практически и не его: все тут ясно и понятно, и расстановка «действующих сил» тоже загадок не представляет.

А вот размышлений оно вызывает немало. И воспоминаний. И желание проанализировать: откуда что пошло.

Письмо неудачливых демонстрантов написано легко, свободно и не без юмора — анекдотичность ситуации ясна им, как и всем прочим, включая стражей порядка. Но вызывает оно не только улыбку.

Мало кто помнит сейчас «старые», веселые и шумные демонстрации. Не ностальгии ради, а «исторической справки для» скажу, что они в самом деле были праздником, и шли на них семьями, и детей тащили с собой, и к любой колонне мог ты присоединиться, и милиции, хотя, думаю, было тогда не меньше, но присутствие ее, как бы это поточнее выразиться, не чувствовалось с такой жесткостью — а ведь и в возлияниях тогда никто не стеснялся, а хороводы и танцы под гармошку шли по всем улицам.

Затем демонстрации превратились в мероприятие, от которого все старались отвиливать; не редкость были в последние годы брошенные за углом плакаты и транспаранты, мишуру которых «знаменосцы», ничтоже сумяшеся, просто-напросто сбрасывали с рук: авось кто-нибудь подберет. Об этом писались гневные статьи, но дело не менялось. И милиция уже стояла шпалерами и порядок соблюдался неукоснительный — разве что только демонстранты шаг не чеканили — но, похоже, и до этого было недалеко.

В причины такого положения, думается вдаваться не стоит. Эпоха застоя — не какое-то изолированное локальное явление; его миазмы затронули все — от детских садиков до военной промышленности.

Однако, хватит исторических параллелей и воспоминаний. Обратимся к нашим демонстрантам. Что они, собственно, сделали? Да, по большому счету, ничего: громко и принародно сказали о том, о чем говорят все и всюду. О чем пишется в газетах: и о Слоском ЦБК, пафос публикаций о котором только нарастает, и о наших «дворянских гнездах», о которых, увы, знает весь Союз. Молодцы, ребята, хочется сказать. И смелости у них хватило, и социальной активности, и правильной оценки обстановки.

За что же они попали в милицию? Я, кстати, побывал в Кировском райотделе две недели спустя после происшествия, но чтобы вспомнить его, в дежурной части даже не пришлось за-

глядывать в журнал происшествий — помнят там и лозунги и их авторов. Разговор шел на «подавленном юморе» — офицеры милиции «при исполнении» не рискнули прямо выразить свое отношение к этой истории, но отношение их прочитывалось совершенно однозначно: и зачем только этих ребят сюда при-тащили?

Действительно, зачем? Ведь даже «изъятые» из чужой колонны (впрочем, что за кастовое деление; почему любой рижанин не может пройти мимо правительственных трибун в любой колонне своих земляков?) они стали центром этакой «микродемонстрации». И чувства и эмоции тех, кто подходил к ребятам, разглядывая их самодельные лозунги, вполне можно понять: от боязливого страха — как осмелились? — через здоровое любопытство, к молчаливому восхищению.

Но не вывести их из колонны не могли. Потому что их выступление никто не санкционировал. Не проверил. Не завизировал. И «плотный приземистый мужчина с повязкой, парторг предприятия», разреши им продемонстрировать в рядах «своего» предприятия, сегодня, скорее всего, уже не был бы парторгом одного.

Из чего твой панцырь, черепаха,
Я спросил и получил ответ:
«Он из мной нарощенного страха,
Ничего прочнее в мире нет».

Не знаю автора этого четверостишия, но это не важно, потому что мысль его точно и афористично объясняет массу уродств и несуразностей нашей жизни.

Как это ни дико и ни парадоксально, мы боимся всего, что рождается в душах наших — пусть даже продиктованное самими «благими порывами». Но сколько же можно жить, памятуя горькие строчки — «суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано...» До чего же мы докатимся, если «гуашь, складные бамбуковые удочки и белая материя», на которой написаны истины, известные в городе — да и в стране — всем от мала до велика, вызывают чуть ли не военную операцию...

Вместе с авторами письма уклонимся от «углубленных комментариев», что такое гласность: понятие слишком сложное и глубокое, чтобы походя характеризовать его. С одной стороны, гласность сама по себе — только слова, от которых ныне стены Иерихона даже не дрогнут. Но, с другой стороны, они рассыпятся в прах лишь после того, как кто-то первый скажет, что пришла пора разрушать их...

ВИЛНИС ЗАРИНЬШ ФИЛОСОФИЯ ГРАБИТЕЛЕЙ

ВВЕДЕНИЕ

Идеология национал-социализма, иначе — германского фашизма, возникла после первой мировой войны, на фоне приуготовлений крупной немецкой буржуазии, потерпевшей неудачу в первом столкновении империалистических хищников, к новым схваткам за передел мира. Попытки удушить революционное движение пролетариата и втянуть широкие слои немецкого народа в подготовку к новой войне придали фашистской пропаганде ярко выраженный шовинистический характер, причем крайний национализм и расизм часто переплетались с социальной демагогией. Находясь у власти в Германии с 1933 по 1945 год, фашисты распространяли свою идеологию всеми возможными средствами.

Идеология национал-социализма не может вызвать интереса ни своими теоретическими посылками, ни постановкой проблем. Стройная система взглядов, ясно очерченная проблематика — это не про нее. Какой вопрос ни возьми, всё, за редчайшим исключением, плагиат, и плагиат, выполненный малообразованными людьми, которые донельзя вульгаризировали и приспособили к своим нуждам разные не слишком оригинальные в теоретическом отношении концепции реакционных философов и публицистов. Это и не философия в научном понимании термина — методологические вопросы науки здесь и не ставятся. Это даже не пустоцвет на древе познания, так как отнюдь не плод теоретических поисков и обобщений, а с самого начала, с корней и истоков — более или менее умышленная стряпня, средство обмана народных масс. И то обстоятельство, что многие наци сами уверовали в правоту своей идеологии, большого значения не имеет. Еще Карл Маркс указывал, что «этикетка системы взглядов отличается от этикетки других товаров, между прочим, тем, что она обманывает не только покупателя, но часто и продавца».

Первоначально мое исследование ограничивалось выяснением специфики идеологии и пропаганды немецкого фашизма на территории Латвии, прежде всего в период оккупации. Но по мере того, как я углублялся в дебри вопроса, становилось ясно, что в философской и исторической литературе, посвященной германскому фашизму, есть серьезные пробелы — не хватает достаточно аргументированного, основанного на первоисточниках анализа содержания и методов пропаганды национал-социалистической идеологии. К тому же напрашивался вывод, что ничем существенным нацистская идеология в оккупированной Латвии не отличалась, если не считать значительно более поверхностной демагогии, большего цинизма, да еще некоторых заимствований из традиционных идеологических концепций господствующей верхушки прибалтийских (остзейских) немцев. Но, поскольку наци хотели не просто восстановить в Прибалтике давние привилегии остзейского дворянства, а всю ее превратить в сплошную область германской колонизации, то и эти концепции использовались непоследовательно. В конце концов изменения обстановки на фронтах, колебания внутривосточной

ситуации, перемены в кадровом составе оккупационных учреждений и тому подобные факторы влияли на содержание и методы проводившейся оккупантами пропаганды в гораздо большей мере, чем «старые» традиции прибалтийских немцев.

Настоящее исследование опирается в основном на первоисточники. Широко используется сочинение А. Гитлера «Моя борьба» («Майн кампф»), в годы фашизма расхвалившееся в Германии миллионными тиражами, и книга А. Розенберга «Миф 20-го столетия», которая именовалась подчас крупнейшим теоретическим трудом по национал-социализму. Анализируются также речи и статьи этих нацистских лидеров. Материалы цитируются обычно по соответствующей периодике (первой публикации) или полуофициальным ежегодникам «Третий рейх» (составитель Герд Рюле), содержащим годичную хронику важнейших событий политической жизни Германии. Учитываются также материалы, дающие представление о взглядах ведущих идеологов национал-социализма и увидевшие свет после войны: политический дневник А. Розенберга, «Вторая книга» А. Гитлера и др. Изучались и важнейшие речи и публикации Й. Геббельса, Г. Геринга, В. Дарре, Бальдура фон Шираха, Р. Гесса, Р. Лей и других видных руководителей германского фашизма.

Из работ по идеологии национал-социализма, написанных очевидцами, мною отобраны главным образом те, что основаны на достоверной и обширной информации и для которых в наименьшей степени характерно стремление повлиять на читателя. Свидетелем такого типа я считаю, например, Г. Раушнинга. Этот лидер национал-социалистов вольного города Данцига (Гданьска) в начале и первой половине тридцатых годов часто бывал в обществе Гитлера, вращался среди фашистской элиты. Потом он неожиданно уехал в Англию и там опубликовал записи своих бесед с вождем. Отдельные главы книги «Гитлер мне говорил» — это как бы изложение той или иной беседы. Другим человеком, хорошо информированным о национал-социалистической пропаганде и ее целях, был французский политик консервативного толка А. Франсуа Понсе, в тридцатые годы посол Франции в Берлине.

Прочая информация черпалась мною по преимуществу из периодики соответствующей эпохи или послевоенных документальных публикаций. Здесь наибольшее значение имеют материалы Нюрнбергского процесса, а также объемистые печатные работы Л. Полякова и Й. Вульфа. Пригодились и книги ряда авторов по конкретным аспектам рассматриваемой проблемы.

В оценке идеологии германского фашизма подспорьем служили мне труды видных антифашистов, в первую очередь Г. Димитрова, Э. Тельмана и В. Ульбрихта, а также доступные исследования проблемы в целом на латышском, русском, немецком, английском и французском языках. Однако я стремился самостоятельно вырабатывать свои суждения и оценки по всем принципиальным вопросам.

¹ Маркс К. Капитал. Т. 2. М., 1969, с. 405.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА

Национал-социализм нельзя изучать в отрыве от хозяйственной, политической и идеологической жизни Германии периода империализма. Для понимания специфики этой жизни надо учитывать многое: идеологические и культурно-бытовые традиции разных слоев населения, коллизии в массовом сознании, вызванные первой мировой войной и ее последствиями, экономическими потрясениями и крушением общественных идеалов, идолов и фетишей, считавшихся вечными непреходящими ценностями.

Немецкая буржуазия в отличие от английской и французской, находившейся у власти уже на протяжении нескольких поколений и накопившей громадный опыт политической борьбы, в этом отношении привыкла пребывать в тени, под покровительством монархии и аристократии. Поэтому, когда с 1918 года ей пришлось в одиночку отстаивать свои классовые интересы против могущественных врагов, она оказалась к этому плохо подготовленной. Не владела соответствующей для новых условий практикой парламентаризма и поддержания в народе парламентских иллюзий, не располагала достаточным числом незапятнанных и притом высококвалифицированных политиков — в стране почти не было тогда резерва таких деятелей. И тот факт, что в правительствах Веймарской республики подвизались многие представители крупных монополий, объясняется не только общими закономерностями государственно-монополистического капитализма, кстати, в ту пору отнюдь еще не типичными для развитых капиталистических стран. Просто налицо был острейший дефицит опытных кадров. Этот вакуум, наступивший после падения монархии,

стремились заполнить разнородные общественные силы. На арене появились деятели профсоюзов, высшей школы, религиозных общин, работники других организаций, учреждений и ведомств. Однако их участие в политике не могло, разумеется, подорвать диктат крупной буржуазии.

Хотя последней и удалось захватить после войны господствующие позиции в политической жизни, но опора ее власти оставалась нестабильной. К тому времени консолидация германской буржуазии как класса далеко еще не закончилась и во многих провинциях, особенно в Рейнской области и в Баварии, сильны были сепаратистские тенденции. Кое-где их приветствовала и прогрессивная интеллигенция, стремившаяся сбросить ненавистное прусское иго. Потерпев поражение в прямом столкновении с другими империалистическими державами, крупная немецкая буржуазия утратила колонии, потеряла флот, а взамен «приобрела» огромные репарации. В таких условиях удержать и стабилизировать свою власть с помощью одних лишь традиционных буржуазно-демократических методов она была не в состоянии.

Переживая один за другим тяжелые политические кризисы, она подкрепляла свое господство чрезвычайно грубыми насильственными средствами, не чураясь и кровавых преступлений. Убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта, Капповский путч — это только некоторые эпизоды из целой вереницы актов насилия и террора, организованных или вдохновленных политиками, непосредственно представ-

лявшими ее интересы. Не полагаясь всецело на способность аппарата государственного принуждения держать в узде трудящихся, монополии охотно поддерживали правозащитные группы, борющиеся с революционным рабочим движением.³ Когда в начале тридцатых годов это движение, подхлестываемое экономическим кризисом, приняло угрожающие для монополистов масштабы они позволили нацистам захватить власть, разгромить все рабочие и демократические организации и самую Веймарскую республику.

Мелкая и средняя буржуазия в послевоенной Германии не стала самостоятельной политической силой, осознающей себя таковой, как это произошло, например, во Франции. Резонируя с камертоном политической жизни страны, будучи не в состоянии отстаивать свои кровные интересы в законодательных органах власти и государственном аппарате, она, конечно, страдала от хозяйственных неурядиц гораздо больше, чем крупные монополии. Засилье последних вызывало широкое и глубокое недовольство мелких буржуа и интеллигенции.

Мелкая буржуазия активнейшим образом участвовала буквально во всех значительных политических акциях XX столетия в мире капитала. Причем с особой энергией там, где, ввиду низкой концентрации производства, владела мелкими ремесленными, торговыми и прочими предприятиями. Так это было в дооктябрьской России, во многих ев-

³ Тельман Э. Большевизм или фашизм. Статья в газете «Гамбургер фольксгайтунг» от 21 июля 1930 г. Цит. по кн.: Тельман, Эрнст. Речи и сочинения по истории немецкого рабочего движения. Т II. Изд-во «Дитц Ферлаг», Берлин, 1956, с. 480.

² См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. , с.

ропейских странах, особенно до середины нашего века, так обстоит дело в целом ряде экономически слабо развитых стран и сегодня.

В условиях хозяйственной разрухи и инфляции в Германии конкуренция монополий означала для мелкой буржуазии смертельную угрозу, и она лихорадочно искала выход из тупика. Многие представители этого класса обратили свои взоры к иррациональным, мистическим учениям, к политическому авантюризму, глашатаями которого выступали национал-социалистские идеологи. Фашистские демагоги ловко играли на страхе мелких буржуа разориться в жестокой конкурентной борьбе, уверяли, что причиной всех несчастий и бед в Германии является чрезмерная плотность населения, или, как они выражались, недостаток «жизненного пространства». Одновременно нацисты культивировали и распространяли иллюзии, что стоит только как следует раздвинуть границы страны, и места хватит всем — и крупным и мелким предпринятиям, а конкуренция ослабнет. Многие представители мелкой буржуазии в этот период энергично боролись против диктата монополий, за демократизацию политической жизни Германии, но весьма значительная часть этого класса подпала под влияние крайне реакционных идей. Мелкие буржуа были самой массовой и политически наиболее однородной частью национал-социалистских организаций. 9 ноября 1923 года во время Мюнхенского путча погибло 16 нацистских штурмовиков — четыре торговца, три банковских чиновника, два лакея, один шляпник, один слесарь, два инженера, один кавалерийский капитан, один советник земельного суда и один студент.

По данным французского историка-марксиста Жильбера Бадиа, в 1930 году 26% членов национал-социалистской партии были чиновники и служащие, в то время как чиновничество вместе с семьями составляло только 12% жителей страны. Людей свободных профессий и ремесленников в рядах НСДАП был 21%, среди населения — 9%. Рабочих в составе национал-социалистской партии насчитывалось всего 18%, а доля рабочих и членов

их семей в населении Германии достигала 46%. Выходцами из слоев мелкой буржуазии были Гиммлер, Геббельс, Эйхман и многие другие нацистские бонзы. Из той же среды, правда, сильно деклассированной, происходил Гитлер. Состоявшие в НСДАП мелкие буржуа, сознавали они это или нет, хотели или не хотели, объективно помогали упрочению власти монополистического капитала.

В обществе была только одна сила, которая всерьез угрожала доминирующему положению крупной буржуазии в послевоенной Германии, — немецкий рабочий класс — многочисленный и составлявший значительный процент населения. Несмотря на тяжелые человеческие жертвы в годы первой мировой войны, частичную деморализацию под влиянием порожденного войной шовинистического угара, обнищание, вызванное послевоенной хозяйственной разрухой и кризисами, в сознании лучших рабочих по-прежнему были живы революционные традиции, насчитывавшие не одно десятилетие. Германский пролетариат оставался крупной политической силой.

Рабочее революционное движение могло найти союзников среди сельского пролетариата и мелкого крестьянства, положение которых после войны было очень тяжелым и нестабильным.

Однако рабочий класс Германии был расколот. Значительная его часть шла за социал-демократическими лидерами. Какую-то часть рабочих пытались вовлечь в свои организации националисты. Компартия Германии еще не оправилась от тяжких и кровавых потерь в начале своей деятельности, особенно после убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта, и переживала целый ряд организационных трудностей. Влиятельной политической силой КПГ стала только в конце двадцатых годов, но и тогда ей приходилось действовать в нелегких условиях противостояния всем другим политическим силам страны — от социал-демократов до национал-социалистов. В конце 20-х — начале 30-х годов деятельности Компартии мешали различные сектантские группировки внутри нее самой. Одна из них, во главе с Гейнцом Нейманом, какое-то время играла заметную роль в определении партийной политики. Группировка Неймана стремилась отгородиться от всех рабочих, находившихся под влиянием социал-демократов, и тем самым способствовала самоизоляции

ции партии. Опасность фашизма в Германии сильно недооценивалась, выдвигались непродуманные лозунги, например «Бейте национал-социалистов, как только их увидите», что позволяло фашистам провоцировать членов компартии на индивидуальный террор. Но и в более широких кругах немецких коммунистов в тридцатые годы царил необоснованный оптимизм, заметна была переоценка своих сил в борьбе с фашизмом. Нейман живо живо заявлял: «Если гитлеровская «третья империя» когда-нибудь наступит, так только на полтора метра под землей, а над ней — победная рабочая власть».

За три месяца перед приходом фашизма к власти в Германии секретарь КПГ Эрнст Тельман в речи на партконференции акцентировал решение 12-го пленума исполкома Коминтерна: «12-й пленум особо подчеркивает новую роль обманчивых маневров социал-демократов, маневров, которые становятся все разнообразнее и тоньше по мере того как влияние социал-фашизма на массы ослабевает. 12-й пленум подтверждает, что главный удар рабочего класса должен быть направлен против социал-демократии. В политических тезисах 12-го пленума ясно сказано: «Лишь в том случае, если главный удар будет направлен против социал-демократии, этой основной социальной опоры буржуазии, удастся успешно разбить и разгромить главного классового врага пролетариата — буржуазию». Любое стремление ослабить нашу принципиальную борьбу с руководством СДПГ или в либеральном духе противопоставлять фашизм и социал-фашизм совершенно недопустимо. Но вместе с тем мы не можем позволить одинаково относиться к тому и другому крылу фашизма, как это бывало при осуществлении нашей генеральной линии на практике».

После первой мировой войны соотношение сил основных классов определяло политическую ситуацию в Германии только в главных чертах. Для этого периода типична чрезвычайная нестабильность поли-

⁴ Гримм, Ганс. Народ без пространства. Мюнхен, 1933, с. 1248 (первое издание — 1926 г.).

⁵ См.: Швейцер, Артур. О депрессии и войне: нацистский период. Ежеквартальный политический журнал. Нью-Йорк, сентябрь 1947 г. № 3, т. I XII, с. 322.

⁶ Гитлер, Адольф. Моя борьба. Два тома в одном томе. Несокращенное издание. Центральное издательство НСДАП. Fritz. Eher Nachf. G. m. b. H. Мюнхен. Издание 753—757. 1942, с. XXVIII. В дальнейшем в сносках — «Моя борьба».

⁷ Бадиа, Жильбер. Лекция, произнесенная 5 марта 1963. Замечания о целях и методах национал-социализма. Тетради Центра по изучению марксистской теории. ч. 6. В дальнейших сносках: Лекция...

⁸ Тельман, Эрнст. В борьбе против фашистской диктатуры. Речь и заключительное слово товарища Эрнста Тельмана на партийной конференции КПГ в октябре 1932 года. Издано Коммунистической партией Германии, с. 26. В дальнейшем в сносках: В борьбе против фашистской диктатуры.

⁹ Димитров, Георгий. Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интернационала в борьбе за единство рабочего класса против фашизма. Доклад тов. Димитрова на VII Всемирном Конгрессе Коммунистического Интернационала 2 августа 1935 года. Партиздат ЦК ВКП(б) 1935, с. 8—9. В дальнейшем в сносках: Г. Димитров. Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интернационала. диктатуры, с. 17.

тической жизни, вызванная неустойчивостью хозяйственной обстановки, схваткой за власть между разными группировками крупной буржуазии, а также тем, что многие миллионы людей из-за войны и ее последствий были вырваны из привычного уклада жизни, утратили связь со своим классом и традиционными политическими и духовными институтами Германии, в значительной степени деклассировались, однако сохраняли при этом всегдашнюю готовность энергично действовать ради своих подлинных и воображаемых интересов.

Большую общественную силу, подверженную воздействию различных политических и идеологических течений и часто поддававшуюся влиянию реакционеров, представляли собой демобилизованные солдаты. Многие из них, надев шинели, остались без образования, у них не было пригодной для мирного времени квалификации, по причине безработицы они часто не могли устроиться в жизни. Также и значительная часть кадровых офицеров, оказавшаяся в результате сокращения и реорганизации армии вне рядов рейхсвера, не могла больше вести, как прежде, довольно обеспеченное существование и часто пополняла ряды мелкой буржуазии, рабочих, а еще чаще — безработных и люмпен-пролетариев.¹¹

На политическую ситуацию в послевоенной Германии довольно заметное влияние оказывали эмигранты из стран Восточной Европы. У себя на родине это были люди, прежде обладавшие влиянием в хозяйственной и общественной жизни, государственные деятели, чиновники госаппарата.¹² Наибольшую политическую активность среди иммигрантских группировок проявляли прибалтийско-немецкие дворяне и интеллигенты, русские белогвардейцы¹³ и работники государственного аппарата и армии распав-

шейся Австро-Венгерской империи, особенно выходцы с территорий нынешних Югославии и Чехословакии. Немало этих людей связывало свои надежды на восстановление утраченных благ и привилегий с реваншем Германии, и в первые годы после войны, когда в стране официальной политической доктриной был пацифизм, активно разжигали милитаристские и реваншистские настроения.

Нестабильный компонент политической жизни страны представляла собой и молодежь, родившаяся в первые годы двадцатого столетия. Напрочь отравленная шовинистической и милитаристской пропагандой военного времени, росшая без отцов, вынужденная во многих случаях сызмальства зарабатывать на хлеб и потому оставшаяся без систематического образования, она была свободна от целого ряда консервативных традиций. Но вместе с тем не чувствовала и связи с традициями культуры. Разочарованное в идеалах своего детства, нередко лишившееся средств к существованию в результате возвращения на рабочие места демобилизовавшихся из армии квалифицированных кадровых рабочих, это поколение было готово к самоотверженной борьбе за лучшее будущее. Но подчас молодежь не могла сориентироваться в политической ситуации, которую осложняла и запутывала как раскольническая деятельность лидеров социал-демократии, так и левосектантская позиция многих деятелей КПП. У немалой части немецкой молодежи ненависть к эксплуататорской идеологии и морали выражалась в нигилистическом отношении к культурному наследию прошлого вообще.

Период Веймарской республики был временем расцвета немецкой литературы и искусства, Берлин превратился не то что в германский — в европейский культурный центр.¹⁴ Однако наряду с очень прогрессивными и демократическими идеями в Германии энергично распространялись и подчас находили немало сторонников реакционные системы взглядов и политические течения — крайний национализм, антисемитизм, католический и сектантский религиозный фанатизм, мистика. В некоторых кругах интеллигенции вошли в моду буддизм, учение йогов, черная магия и спиритизм, вегетарианство, нудизм и т. д.

Общественное мнение в послевоенной Германии с глубоким отвращением относилось к милитаризму, палочной дисциплине и прусской солдатской муштре во всех ее разно-

видностях, однако в некоторых слоях общества, и прежде всего среди той части молодежи, которая не нюхала пороха, нередко можно было видеть восторженную романтизацию армейской жизни, экзальтированное восхищение подвигами отдельных военнослужащих или армейских подразделений. Милитаристские настроения по-прежнему были сильны в сознании многих демобилизованных солдат и офицеров, особенно среди той части бывших военнослужащих, которая из-за хозяйственной ситуации в стране не нашла своего места в мирной жизни. Крайне правые политические группировки ловко использовали и разжигали эти реакционные настроения, в первую очередь этим занимались национал-социалисты.

Постоянное ощущение угрозы, опасности, с которым жило на фронте значительное число молодых немцев, идеологи национал-социализма стремились привить всему немецкому народу, выдавая эти настроения за нормальное и естественное отношение человека к окружающему миру. В армии, и прежде всего в обстановке войны, могут развиваться многие ценные человеческие качества — товарищество, готовность к самопожертвованию, отвага, дисциплинированность, но попытки перенесения армейских нравов и обычаев на мирную почву, укоренения их в общественной жизни всегда и везде носили реакционный характер. Милитаризация политической и идеологической жизни неоднократно служила реакционным кругам общества орудием отвлечения масс от актуальных социальных проблем, подавления своих политических противников при помощи вооруженной силы. Для армий капиталистических стран вообще, а для германской кайзеровской и фашистской армии в особенности, всегда были типичны необузданный национализм и шовинизм, презрение к интеллигенции и культуре, наиболее выраженное по отношению к культуре других народов, культ силы и насилия. Во время войны вся жизнь в армии, жизнь каждого отдельного воина регулировалась лапидарными приказами, подлежащими беспрекословному исполнению независимо от того, целесообразны они или нет. Длительная привычка к такому порядку могла заглушить духовную инициативу многих и многих солдат. Опасность, которой они подвергались на протяжении долгих лет первой мировой войны, бесконечные случайности, от которых зависела сама жизнь, способствовали зарождению в головах и душах этих людей иррационализма, мистики, фатализма и волюнтаристских наст-

¹¹ Всего во время I мировой войны в Германии было мобилизовано 13 250 000 чел., погиб 1885291, ранено 4 248 158. По условиям Версальского договора германская армия имела право располагать не более чем 4000 офицеров, 96 000 солдат и 15 000 военных моряков. Германский генштаб саботировал выполнение этих обязательств и, всячески маскируя свои формирования, сохранил гораздо больше военнослужащих; точная цифра не разглашалась и неизвестна до сих пор; вместе с тем большая часть армии была демобилизована. См.: Ферстер Г., Хельмерт Х., Отто Х., Шниттер Х. Прусско-немецкий генеральный штаб 1640—1965. Берлин, «Дитч Ферлаг», 1966, с. 194 и 456.

¹² После I мировой войны в Германию пришло около 1 130 000 эмигрантов. См.: Фолькман Х.-Э. Русская эмиграция в Германии 1919—1929. Вюрцбург, «Хольцнер Ферлаг», 1966, с. 1.

¹³ В конце 1922 г. в Германию насчитывалось около 600 000 иммигрантов из России, однако к 1928 г. число их уменьшилось до 150 000. Там же, с. 5—6.

¹⁴ Бадиа, Жильбер. История современной Германии 1917—1962. Том I. Изд-во «Editions sociales», Париж, 1962, с. 205.

роений. Эти мысли и настроения не могли испариться в день демобилизации. И нацисты это прекрасно понимали, строя на этом свою пропаганду. «Девять миллионов немецких мужчин прошли через чудовищные физические и духовные муки; они прошли сквозь весь этот адский и очистительный огонь человеческих страданий, человеческих болей, человеческого самоотвержения и депрессии. Они не сочли возможным снова начать с того, чем всё оборвалось четыре года назад, — писал Йозеф Геббельс, пытаясь изобразить национал-социалистов исполнителями чаяний ветеранов первой мировой войны. — Нет — эти люди принесли с собой из окопов новое мышление. В ужасающих испытаниях и опасностях познали они новый вид общности (...). Они познали рожденное близостью смерти сглаживание всех различий, перед лицом которого продолжают существовать только ценности характера. Помимо них ничто — ни имущество, ни образование... не влияло на поведение человека под пулями, которые равно косили высокого и низкого, бедного и богатого, большого и малого. Оставалось единственное отличие между людьми — личная ценность. Никакая униформа не могла сивелеровать то, что один был храбр, а другой труслив, что один оправдал звание мужчины и пожертвовал жизнью ради общего дела, пока другой всячески пытался увилывать. Было само собой ясно, что такая оценка перекочевала из окопов и на родину и что старые «государственные мужи», которые сидели дома и не имели никакого представления о новом поведении, ополчились на него».¹

Царившая в Германии на протяжении целого ряда лет хозяйственная разруха значительно помогла национал-социалистам распространять в широких народных массах ощущение грозящей опасности, тревожной ситуации. Для народных масс страны весь период мировой войны был временем тяжелой нужды, лишений и напряженного труда. Упадок экономической жизни продолжался вплоть до конца 1923 года. С 1924 по 1929 год наступила некоторая хозяйственная стабилизация, и в ряде отраслей наблюдался даже кратковременный подъем, однако 1929 год принес с собой тяжелый и затяжной экономический кризис, и положение народных масс вновь стало катастрофическим. На 15 ноября 1930 года в Германии насчитывалось 3 484 000 безработных, на 15 января 1931 го-

да — 5 660 000.¹⁶ В начале тридцатых годов примерно половина всех рабочих семей, в общей сложности 18 миллионов человек, существовала на пособия соцобеспечения и пользовалась народными кухнями, а вторая половина рабочих семей, всего 20 миллионов человек, была вынуждена обходиться гораздо меньшей зарплатой (средняя заработная плата промышленного рабочего составляла в 1929 г. 42,20, а в июне 1932 г. — 22,10 марок в неделю). В 1931 году полтора миллиона безработных было моложе 25 лет. Из 8 тысяч инженеров, закончивших в этом году высшие учебные заведения, только тысяча нашла себе работу, из 22 тысяч молодых учителей оплачиваемую работу получили всего 900 человек.¹⁷ Многие молодые люди в Германии тех лет были лишены возможности основать семью и воспитывать детей, так как заработки их были столь малы, что нехватало средств на то, чтобы снять квартиру.

Классики марксизма неоднократно указывали, что деморализация народных масс бывает порождена усталостью и истощением, когда отчаяние выражается в анархизме.¹⁸ Хозяйственные трудности, полная безысходность, отсутствие перспектив в личной жизни миллионов людей были той почвой, на которой произрастали вера в чудеса, надежда на избавление каким-либо немислимым образом, слепой фанатизм. Эта же питательная среда в массовом порядке взращивала беспринципных циников, готовых ради карьеры и личного благополучия на самые тяжкие преступления. Еще К. Маркс в своей работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» отмечал ту роль, которую сыграл люмпен-пролетариат в низвержении Бонапартом демократических институтов во Франции.¹⁹

В Германии, в последние годы существования Веймарской республики, аналогичные явления приобрели несравненно больший размах. Крупная германская буржуазия не жалела средств на ведение демагогической пропаганды, нацеленной на поиск «виноватых». Не господство монополий и милитаризм изображались причинами всех бед народных, а такие второстепенные факторы, как Версальский мирный договор, утрата колоний, изменение границ, или вообще высосанные из пальца — классовая борьба рабочих в годы первой мировой войны, либо

евреи. Эта буржуазия не жалела денег и на подкуп отдельных социально деклассированных групп населения, которых она рассчитывала использовать в борьбе с рабочим классом и демократией в Германии. В этой идеологически мутной воде ловили рыбку многие группировки политических авантюристов, включая и немецких фашистов.

Национал-социализм как политическое течение в Германии сложилось и оформилось в первой половине двадцатых годов.

Немецкая фашистская партия — НСДАП — формально признавала днем своего рождения 7 марта 1918 года, когда слесарь мюнхенских железнодорожных мастерских Антон Дрекслер основал т. н. «Свободный рабочий комитет для борьбы за добрый мир» (Freien Arbeiterausschuf für einen guten Frieden). Это была правозэкстремистская организация, которая выдвигала крайне националистические и расистские лозунги, объявляя своей целью борьбу с «марксистами, большевиками, папифистами, евреями и масонами». «Добрый мир» в понимании этого комитета должен был принести Германии целый ряд завоеваний. В то время в Германии расплодилось множество подобных комитетов, создававшихся по инициативе некоторых высших армейских чинов и наиболее агрессивно настроенных немецких проимпериалистических политиков с целью оказания давления на тех политических деятелей, которые уже в начале 1918 года видели неизбежность военного поражения Германии и стремились путем переговоров достичь компромисса с империалистами Антанты.

Поначалу в мюнхенском комитете состояло 28 человек. В последующие месяцы их стало 40, активность иного рода эта организация не проявляла. После поражения Германии первоначальная цель комитета стала недостижимой, и его деятельность совершенно заглохла.

(Продолжение следует)

¹⁶ Де Панж, Жан. Германия со времени французской революции 1789—1945. Париж, «Фейяр», 1947, с. 376.

¹⁷ Бадиа, Жильбер. История современной Германии 1917—1962. Первый том. Париж, «Editions sociales», 1962, с. 267.

¹⁸ Д-р Йозеф Геббельс. Сущность и образ национал-социализма. Берлин, 1935, с. 14—15.

(Продолжение следует)



ТРИ ФРАГМЕНТА

ЗАМЕТКИ О ПРОЗЕ

Пишущий дневник продвигается наугад, не зная еще ни своей судьбы, ни судьбы своих знакомых. Это поступательная динамика, исполненная случайностей и непроверенных событий. Роман обладает ретроспективной динамикой, предполагающей закономерности и оценки.

Пусть мемуарист выдумал себя и своих знакомых... Пусть романист потерял по дороге героя или кончил рассказ на самом интересном месте... Но в книге о жизни должен быть принцип связи, в котором реализуется эмоциональность движущейся судьбы и обобщенность последнего творческого понимания.

Для действительности Толстого принцип связи — противоречие. И Толстой поэтому так внимателен к ощущению, которое, по сравнению с чувством, особенно текуче и единично и которому свойственно с чувством не совпадать. Несовпадение элементов и множественность причин упорядочиваются в толстовском рационализме. И Толстой *разъясняет* с присущей ему поразительной смесью дидактизма и скепсиса.

Пруст написал книгу в восьми томах и, дописав ее, — сразу умер. Он считал: не имеет, собственно, смысла писать разные романы, когда тема одна — отношение писателя к миру. Во всяком случае, откуда роман пишется, пусть он пишется как единственный в жизни.

Изображение жизни Пруст заменил изображением размышления о жизни. Получилось произведение новой реалистичности. Потому что словами нельзя адекватно изобразить, скажем, стол (получится только словесный эквивалент стола), но мысль о столе, выраженная словами, — более или менее равна себе самой. От многомотности литературное время приближается к настоящему. Что нужно — восемь лет или восемь томов? — если достигнуто ощущение неделимой и естественной протяженности.

Материя прустовского романа — это то интеллектуальное, (но совсем не логическое) переваривание жизни, которое свойственно человеку больших культур. Душевная жвачка, — столь же непрерывная как самое чувство жизни, — в процессе которой тема качается из стороны в сторону, вьется неисчислимыми повторениями и вариациями.

Материя этой интеллектуальной переработки жизни — эмоциональна. Но это эмоциональность тем, составивших первооснову прустовского мира, — время и смерть, память, любовь и ревность, творчество, неутолимая жажда и вечно возрождающееся желание. Экзистенциальные темы у Пруста не замкнуты. Они выходят в монументальный ряд предметов его анализа — характеров, отношений, социальных ситуаций.

Психологизм великих романистов — это объяснение душевной жизни, по качеству совершенно отличное от ее содержания. Будь то психологический комментарий Флобера, Толстого, Достоевского, Пруста — все равно это интерпретация, то есть нечто находящееся вне рассматриваемого предмета. Непосредственное же состояние сознания, его разрез и моментальный образ — вещи еще не существующие и на которые почти еще нет намеков. Этого еще не увидел никто, и тот, кто увидит, начнет с ощущения дикого несходства между этим и всеми преждебывшими анализами душевной жизни.

Впрочем, нечто подобное пытался уже сделать Джойс. Пытался фиксировать реальное протекание мысли, со всей головокружительною и скрытой логикой ассоциаций. Это преследование действительности в откровении непосредственного опыта — волнует, не удовлетворяя. Здесь ведь гораздо большим правом, чем относительно внутренних монологов Толстого, может быть поставлен вопрос — похоже ли? — И оказывается — не похоже. Никакие

ассоциации слов, никакие слова (даже нечленораздельные) все равно не равны таинственной материи сознания, непостижимой, неразложимой, последней реальности жизни.

Когда литературная система приходит к концу, то оказывается, что сильнее всего в ней успела износиться иллюзия реальности. Эти герои, встающие и сажающиеся, и раскуривающие папиросу, и думающие словами, которые придумал автор, — литературный факт, в каком-то последнем счете, быть может того же порядка, что единство места или цезура на второй стопе. Воспроизведение трехмерного мира, кажется, исчерпало себя в великих литературных системах 19-го века. После Толстого стремиться к материальной протяженности романа — бесцельно.

Если объективному повествованию угрожает условность пространства, то для повествования мемуарного — опасность скорее в ложном времени. Время, охлажденное воспоминанием... отодвинутое от человека. И самый человек — тоже, может быть, ложный, или, по крайней мере, двусмысленный; ведь неизвестно как он переживает жизнь — как *теперь* или как *тогда*. Быть может для нашей жажды реального нужна динамика историческая и вместе с тем поступательная. Чтобы в свете конечного понимания, совершающееся предстало бы совершившимся; и все же продолжающимся совершаться. И не нужен этот камерфурьерский отбор, который так любит подобное мемуарам. Узкие ряды причин и следствий, факты с обрубленными ветвями, изолированные от путанной ткани жизни... Холод отодвинутого времени.

Если бы, — не выдумывая и не вспоминая, — фиксировать протекание жизни... чувство протекания, чувство настоящего, подлинность множественных и нерасторжимых элементов бытия. В переводе на специальную терминологию получается опять не то: роман по типу дневника, или, что мне все-таки больше нравится, — дневник по типу романа.

Очень личным, очень взволнованным образом люди моего поколения переживают Хемингуэя. Даже не Хемингуэя, собственно, а «Прощай, оружие» — вещь, в которой, как это случается, сосредоточено главное, что имеет сказать писатель. Хемингуэй — не мировой гений, открывающий нового человека, но какие-то участки действительности он несомненно открыл, и это дало ему власть над умами. Так он открыл новую реальность человеческого разговора, бессвязного и поверхностного с глубоко проходящими подводными темами.* Хемингуэй обратил между прочим внимание на то, как люди разговаривают в постели; и оказалось, что они разговаривают обо всем на свете. Эти разговоры любовников самое сильное в «Прощай, оружие» и единственно сильное в «Иметь или не иметь». За этими разговорами стоит хемингуэевская концепция любви современного западного человека.

В одной рецензии на «Прощай, оружие» было сказано с неодобрением, что там изображена торопливая и грубая солдатская любовь. Это как нельзя более верно. Это любовь солдатская потому, что это любовь человека безытного и непрочного, человека, для которого неуверенность в завтрашнем дне — вовсе не метафора. Это любовь, с точки зрения девятнадцатого, восемнадцатого и других веков — грубая, потому что в ней физическое начало приобретает новое и решающее значение.

Не только романтизм, но и весь девятнадцатый век со всем позитивизмом, реализмом и проч. — стоял на том, что плотская любовь нуждается в отпущении. Иные, как поздний Толстой, считали, что ее ничем нельзя оправдать; большая часть полагала,

* До Хемингуэя это открыл Гамсун (позднейшее примечание).

что оправдать ее можно страстью или сродством душ, или деторождением. Но все считали нужным оправдывать. Исключения были, например, — пята из Римских элегий Гете, лучшее, что он написал, — кроме «Фауста», конечно.

Sehe mit fühlendem Aug, fühle mit sehender Hand**

Это признание плотской любви настолько не вязалось с христианско-романтической культурой, что оно было понято как стилизация под античность, не имеющая отношения к поведению современного человека.

Хемингуэй, писатель современный своему времени, в противовес всем средним и новым векам, утверждает физическую любовь как не требующую никаких оправданий. Но утверждение это неотделимо от трагической сущности любви, открытой Хемингуэем в обществе XX века. Любовь, особенно большая любовь, — состояние, которое не может длиться. Оно предназначено для того, чтобы соединить двух людей; для того же, чтоб двое могли оставаться в соединении, любовь должна закрепиться на другом социальном материале (быт, дом, дети). Первоначальное чувство — совершенно беспримесное — попробуйте мысленно продолжить до бесконечности. Вы получите сразу трагическое, непосильное, никуда не ведущее напряжение, которое граничит с необходимостью катастрофы. В «Прощай, оружие» — большая любовь, ни во что не переходящая (этот ребенок, которого они рожают, им ведь совершенно не нужен). И скоро мы начинаем не понимать, что это не может кончиться и не может длиться. И когда Кэт умирает от родов, мы понимаем, что это еще не самое худшее из всего, что могло там случиться.

Так любит человек безытный и изолированный в мире, где все движущееся (например, война) угрожает ему уничтожением, а все стабильное и спокойное угрожает пустотой. Он отчаянно борется с изоляцией, нестерпимой для социального человеческого существа. Любовь же несет иллюзию эквивалентности мира единственному человеку. В любви XX века эта идея разрослась. Ведь достаточно еще одного человека, второго человека, своего человека, чтобы прервать изоляцию. И тогда — уже не домостроительство, не цепляние друг за друга и сцепление двух человек в пустоте. Но чтобы быть несомненным, вполне реализованным, это сцепление должно материализоваться.

«Прощай, оружие» книга действительно как бы грубая, но в сущности вовсе не эротическая. Потому что физическое начало любви предстает в ней меньше всего в своем качестве наслаждения. Дело не в наслаждении, а в том, что двое цепляются и прячутся друг за друга. В поисках своего человека — средство присвоить себе этого человека. Реализация понятия близости, по сравнению с которой сродство душ кажется недостаточно достоверным.

Литература христианской эры (включая психологический роман девятнадцатого века) твердила одно: мужчина любит женщину большой любовью, пока любит ее конфликтно или безнадёжно. Удовлетворенная любовь в лучшем случае переходит в чувство, которое девятнадцатый век называл привязанностью к жене и матери своих детей.

Хемингуэй, писатель двадцатого века, утверждает обратное: мужчина открывает в себе большую, беспокойную, трагическую любовь — только, когда женщина стала его любовницей, — и только поэту. Кэт молода и красива, что несколько дезориентирует читателя. Гораздо яснее та же мысль выражена в неудачном романе «Иметь или не иметь». Единственное, что в нем хорошо — это отношения бандита Гарри с женой. Эту стареющую, дурнеющую, накрашенную женщину, бывшую проститутку, — он любит крепко и, как говорят рецензенты, грубо и по-солдатски. Он любит ее не как домохозяйницу — хотя чета позволяет себе иллюзию семейного очага и даже респектабельности, но хрупкость этого бандитского домика очевидна; он рухнет от первого толчка полиции. Он любит ее не как мать своих детей, так как оба они не любят своих детей, глупых и чопорных девочек, и не знают, что с ними делать. Из всех существующих женщин ему нужнее всего его накрашенная, обрюзгшая жена, без которой он был бы изолирован в зловонном мире. И Гарри с женой болтают в постели по-товарищески. Постель их — не «ложе нег»; это крепость или оазис, это дом передвижка, который хемингуэевский герой водружает на любом перекрестке, иногда в госпитале, иногда в гостинице.

Олейников — человек трагического ощущения жизни, потом как бы подтвердившегося его трагической судьбой, говорил когда-то:

Надо быть женатым, то есть жить вместе. Иначе приходится каждый день начинать сначала. Начинать — стыдно. Но главное, надо быть женатым потому, что страшно утром просыпаться в комнате одному.

Есть люди, которые боятся засыпать и особенно просыпаться, потому что этот акт разрывает пелену условных действий, оставляя человека лицом к лицу с голым существованием, с чувством жизни как таковой, с чистым протеканием жизни, нестерпимым для органических пессимистов.

Им нужна темнота, длыщаяся как можно дольше, теплота, чужая теплота, теплота, смешанная с их собственной, сохраняющая особое качество — качество присутствия второго человека, единственного, заменившего мир. Им нужна любовь достоверная, уплотненная. Тогда уже сон не провал в небытие, потому что на дне своего сна они ощущают присутствие, и присутствие они ощущают на поверхности своего пробуждения. Больше всего органические пессимисты боятся внезапной утренней ясности сознания. Но от чужого тепла, от второго дыхания, стелющегося по подушке, сознание мутится и теплеет как стекло.

ПОЛЕТ

Импрессионизму принадлежат великие открытия. Но современное художественное мышление (также и в литературе) не должно быть импрессионистическим. Сейчас надо видеть форму — контуры и пределы вещей. Незаменимый опыт такого видения мы получаем с высоты самолета.* Полет — удар по импрессионизму, потому что оказывается — теперь уже несомненно, — что все в мире имеет форму, связь, назначение; и это в свою очередь потому, что все имеет видимую границу. Цвет в этом зрелище служит форме именно как несомненная граница вещей или их элементов. Полет, сокращая вещи до полной обозримости, смывая оттенки до торжества основных тонов, уплотняет предметность. Сущность впечатления именно в этом, вовсе не в том, что все вещи маленькие. Напротив того, в процессе непрерывного соизмерения вещей некоторые из них поражают объемом. Вдруг — стог, который больше дома или отдельное дерево при дороге — широко размавшаея тенью.

Русская изба с пристройками — сверху выглядит покоем или прямоугольником с пустотой двора посередине. Это не игра пятен, не кусок стены в косом ракурсе, не отрез окна, направленного в безразличный для зрителя хаос, — но дом, материал и форма, ясная человеческая мысль. Полет отрицает эмпиризм восприятия, импрессионистический или натуралистический — все равно; ибо я вижу мир не в случайности его оттенков и ракурсов, но в общих чертах, и потому все в мире я вижу как форму и вместе с тем как концепцию.

Так предметом оказывается не только дом, но в целом деревня с ее деревьями и домами, отрезающими участок дороги. Предметны поля, вообще возделанная земля, в которой нет уже ничего землистого; вся она нарезана разноцветными плоскостями (больше всего зеленых лугов и темно-золотого жнивья), причем цвет — чистый цвет, без всяких уступок, — сам собой образует форму, потому что цвет здесь единственное условие разграничения пространства. Предметом оказывается лес, с его выющимися, заходящими друг за друга вершинами; лес, который мшистым куском лежит на плоской земле. А ведь лес — если идти лесною дорогой — вещь самая импрессионистическая: таинственная, обрывающаяся на каждом шагу светотень. Так же как город для пешехода — только мгновенные сочетания людей, домов и автобусов.

Сверху — лес предмет, город предмет и земная поверхность предмет. Земля макетна, картографична. У нас на глазах происходит реализация географических понятий. И на воздушном пути из Украины в Россию вы видите с учебно-экскурсионной наглядностью как кончатся белые, зеленые, сумбурные деревни, как начинаются деревни голые, деревянные, пополам разделенные дорогой. А река здесь не то, что все знают с детства: узко-текущая вода, скользкая глина обрыва, песок, мутные, лиловеющие на закате заросли камыша и тяжелые кувшинки. Река — голубая и круто изогнутая — теперь в самом деле впадает и вытекает...

Выясняется, что водные пути или лесопуть (то есть степь с раздробленными участками леса), или русская равнина — не отвлеченные понятия, но реальность; или, быть может, выясняется реальность отвлеченных понятий.

ЧТО ТАКОЕ ЛИНИЯ?

Как бесполезно предписывать себе состояния души, куда они не наступили. Не бесполезнее ли предписывать их, когда они наступили? Нет, это своевременно. Состояние сознания уста-

** Вижу ощущающим взглядом, ощущаю зрячей рукой (нем.).

* Здесь описан полет 1930-х годов на маленьком и низко летящем самолете.

навливается незаметно. Человек по ошибке продолжает жить на старых основаниях; прежде чем обнаружит и сформулирует перемену.

В двадцать лет, после первого несчастья, мы принимаем решение быть равнодушным, одиноким и посвятить свою жизнь труду. Как план поведения это бесполезно. Как предсказание страшно. Потому что через десять лет человек, давно позабывший свои детские намерения, застанет себя поглощенным одиночеством и трудом. Так изменяют любовь, боль, даже чувство земли — от босых ног на пыльной дороге, от молодой ржи, затопленной зеленым воздухом, как водой.

Писатель это человек, который, если не пишет, — не может переживать жизнь. Тем же, кто может жить иначе, — вовсе не следует писать. Это понимал и об этом говорил Толстой.

Представим себе человека, лежащего на пляже. Спина ушел в колющий спину песок. Его колени расслаблены. Солнце остановилось у него на губах и веках. Закрыв глаза, он слышит, как шипит и как потухает волна. Раскрывая глаза, он следит за волной, сначала движущейся в ряду других. Волна — все отчётливее и ближе, она идет, наконец, первой волной приборя. Увеличиваясь, вдруг заворачивается вовнутрь и вспыхивает пеной; разворачивается плоско, течет назад, оставляя за собой пузырящую пену, всасывающуюся в песок. Человеку на пляже нравится лежать в песке и на солнце и смотреть на волну. Но какое-то происходящее в нем движение не может на этом остановиться. — Зачем мне, собственно солнце? Затем, что это доставляет мне удовольствие. А зачем испытывать удовольствие? .. Скорее всего гипотетический человек на пляже не произносит этот внутренний монолог. Но так точнее всего расшифровывается его душевное беспокойство. В беспокойстве он начинает думать; он думает о песке и про себя называет его колючим, шекоучим, жестким, или, напротив того, нежным; ему приходит в голову, что чувствительная кожа губ сильнее чем остальная поверхность тела отзывается на солнечные лучи, и он формулирует: солнце ostально жертвует собой, — потому что это доставляет ему удовольствие. Эта нескладная мысль может только внушить стремление во что бы то ни стало искать удовольствий там, где их действительно можно найти.

С таким же успехом гипотетический человек мог бы задать вопрос... зачем я назвал песок, на котором лежу, — нежным или рассыпчатым, или колючим? Это интересно? А зачем, собственно, чтобы было интересно... Он мог бы спросить, но он не спрашивает. Это значит, что он нашел то, что в разных контекстах называют — смыслом, счастьем, ценностью, назначением — неразложимую самоцель жизненного процесса.

Только не пытайтесь понять здесь что-либо с помощью гедонизма. Гедонизм, опороченный кадровыми философами, задержался в житейской философии, где, кстати сказать, особенно очевидна его несовместимость со здравым смыслом. Гедонизм (включая «разумный эгоизм») предполагает, что человек добровольно жертвует собой, — потому что это доставляет ему удовольствие. Эта нескладная мысль может только внушить стремление во что бы то ни стало искать удовольствий там, где их действительно можно найти.

Между прочим люди, никогда не писавшие, полагают, что, когда человек ест шоколад — ему приятно; когда пишет стихи — ему еще приятнее. И, если дело доходит до выбора, понятно, что поэт готов отказаться от шоколада, ради возможности писать стихи. На самом деле между переживаниями едящего шоколад и пишущего стихи разница вовсе не количественная. И пишущие пишут, даже когда писать им трудно, мучительно или противно.

Поведение человека в высшей степени диалектично, поскольку человеком управляет частью собственная шкура, частью неистребимая уверенность в том, что существуют ценности, то есть вещи высокие, прекрасные и заслуживающие жертвы. Почему они прекрасны и в особенности почему заслуживают жертвы — этого нельзя вывести из предпосылок эгоцентрического сознания, но это ежечасная интуиция, самый достоверный опыт человеческого сердца.

Чем выше поднимаешься по шкале человеческих целей, тем ошутнее жизненный импульс, в силу которого человек должен сделать все, что он может сделать. Он называет это своим назначением, и осуществляет его вопреки всему, вопреки себе самому и своей иронии. Здесь не только нет места гедонизму, но, напротив того, выполнение назначения начинается там, где человеку уясняется вдруг, что все равно — будет ли при этом ему приятно или неприятно. Скорее всего ему будет неприятно.

Ведь высшие достижения, по сравнению с низшими не только трудны, но даже неутешительны для самолюбия. Ни одного обывателя (разве что сумасшедшего) не оскорбляло еще, что он

не гений и не сочиняет стихи. Но великий поэт считает себя непоправимо униженным, если ему не даются низшие блага, убаюкивающие самолюбие. Ничем, никакой сублимацией, не утишить эту боль. Так нам под руку подворачиваются соблазны и суррогаты.

Среди нас слишком много лукавых рабов, норовящих зарыть свой талант; поэтому может быть лучше, когда суррогаты явно недоброкачественные. Когда комфорт — убог, когда успех превращается в унижение; когда любовь превращается в лохмотья. Наступает предел, за которым и лукавому рабу нечем соблазниться. Я имею в виду лукавых рабов с талантом, потому что для бездарных рабов нет предела.

Трудно человеку уйти от мира, но если мир уходит от человека, — не надо держать его за полы. Есть люди, которым проще расти: им фатально не удается все, кроме самого главного. Только самое главное заслуживает усилий, упорства, смирения. В остальном стыдно соглашаться на неудачи.

Вот вещи, которые могли быть моими!.. Так вот уходи, не глядя... Когда человек осуществляет самое главное — все остальное может найти свое место; даже неудача. Неудача превращается в слово.

Интеллектуальный утилитаризм, грубый своей полнотой и тонко зашифрованный в своих проявлениях, спасает заблудившееся чувство от последних провалов. Он дает неудаче пригодность материала; он успокаивает боль формулой: в конечном счете не я для них, а они для меня. «Слова мстят» писал Шкловский, который знал толк в словах. «Слова мстят» — это значит: Ты говоришь, что тебе «это ни к чему», а я опишу как ты говоришь это, опишу, если захочу, как ты при этом раскрываешь рот, и что ты при этом думаешь.

Кто победил? — это спорно. Да и предлагает ли жизнь победу? .. скорее выбор.

Wer dieser Blumen eine brach begehrte
Die andre Schwester nicht.
Geniesse, wer nicht glauben Kann. Die Lehre
Ist ewig, wie die Welt. Wer glauben Kann, entbehre!
Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.*
(ШИЛЛЕР)

— Поняли вы что такое линия?

— Это... что человек может и чего человек не может.

Сознательно или бессознательно, — человек защищает то, что он может и защищается против того, чего он не может. Это закон реализации преобладающей способности (Согласно Аристотелю в беспрепятственном применении этой способности состоит счастье). Он определяет желания человека и воззрения человека, в особенности его профессиональные воззрения.

Ч. говорил мне когда-то: «Не понимаю, как М., этот элементарно непорядочный человек может быть так чист в своем деле?» Очень просто. Всякий настоящий писатель чист в своем деле, потому что с той минуты как он не чист, — он уже не писатель.

Талантливые люди профессионально всегда честнее бездарных. Я имею в виду не обязательно элитарную талантливость, но любую — в любом деле и на каждом участке. Талантливым прирождено представление об иерархии вещей и о несовместимости высшего с низшим. Бездарный же человек не интересуется тем, что он делает; поэтому он человек только в той мере, в какой подчинен внеположным нормам. Предоставленный самому себе, бездарный человек — антисоциален потому что он моральный эмпирик.

То, что мы можем и то, чего мы не можем определяет границы нашего понимания.

Соотношение невозможного, возможного, настоятельно нужного образует линию судьбы. Она вычерчена закономерностями реализации человека, препятствиями к его реализации, преодолением, обходом этих препятствий или их торжеством. Кроме закономерностей, в каждой жизни есть случайности, стихийные бедствия, давления обстоятельств. Но линия берет свое. И если человек не способен любить и быть любимым, то этого с ним не случится, хотя бы в течение дня, или месяца, или года — ему казалось, что готовое счастье упало ему в руки. И если человек может писать и притом не может ничего другого, то он будет писать, хотя бы вся жизнь вокруг кричала ему, что писать ему не за чем и не для кого.

1930-е годы

* Тот, кто сорвал один из этих цветков, — не желай другую сестру. Пусть наслаждается тот, кто не может верить. Это истина вечная как мир. Кто может верить, пусть откажется от наслаждения. Мировая история — это всемирный суд. (нем.).



ЛЕОНИД ДОБЫЧИН

ГОРОД ЭН

8

Лето мы провели в деревне на курляндском берегу. Из окон нам была видна река с паромом и местечко за рекой. Костел стоял на горке. В стороне высовывался из-за зелени флагшток без флага. Это был «палац».

К нам приезжала иногда, оставив у себя на двери адрес заместительницы, Александра Львовна Лей. Нарядная, в costume из саратовской сарпинки, в шляпе «амазонка» и в браслете «цепь» с брелоками, она дышала шумно: — Чтобы легкие проветривались лучше, — поясняла она нам. Маман рассказывала ей, как граф застал в своем лесу двух баб, зашедших за грибами, и избил их, и она негодовала.

Я один раз видел его. С нянькой я отправился в местечко за баранками. К парому подплывали и хватались за канат купальщики. Поблескивая лаком, экипаж четвериком спустился к берегу. На кучере была двухярусная пелерина и серебряные пуговицы. Граф курил. — Они католики, — сказала нянька и, взволнованная, поспешила завернуть в костел. Я тоже был растроган.

Сенокос уже прошел. Аптекарьшу фон Бонин посетила мадам Штраус, и пока она гостила, капельмейстер Шмидт частенько ъезжал. Летело время. Ужинать сиделись уже с лампой. Наконец явился Пшиборовский, и мы стали упаковываться.

Подкатил извозчик и сказал «бонжур». Он сообщил, что седоки — военные учили его этому. Мы тронулись. Хозяйка стояла и смотрела нам вслед. Приятно и печально было. Колокольчик звякал. — До свидания, крест на повороте, — говорили мы, прощайте, анст.

Вечером у нас уже сидела инженерша, и маман рассказывала ей, как перед сном сбегала через огород в одной ротонде на реку. Она купалась, а кухарка с простыней, готовая к услугам и впотьмах чуть видная, стояла у воды.

Опять стали к нам ходить гости. Дамы интересовались графом и расспрашивали про его наружность. Господа играли в винт. Седобородые, они беседовали про изобретенную в Соединенных штатах говорящую машину и про то,

что электрическое освещение должно вредить глазам.

Маман посовещалась кое с кем из них. Она решила, что мне надо начинать писать. Она любила посовещаться. Мы зашли к Л. Кусман и купили у нее тетрадей. Как всегда, Л. Кусман куталась и ежилась, унылая и томная. — Проходит лето, — говорила она нам, — а ты стоишь и смотришь на него из-за прилавка. — Это верно, — отвечала ей маман. Мне было грустно, и, придя домой, я отпросился в сад, чтобы, уединясь, подумать о писанин, предстоявшем мне. Желтели уже листья. Небо было блекло. Няньки с деревенскими прическами и в темных кофтах, толстые, сидели под каштанами и тоненькими голосками пели хором:

Несчастное творенье
Орловский кондуктор.
Чернила его именье,
А тормоз его дом.

Серж выбежал, увидев меня из окна. Он рассказал мне, что из Витебска придет архиерей и после службы будет раздавать кресты с брильянтиками. Если мы получим их, — сказал я, — то мы сможем, Серж, в знак нашей дружбы поменяться ими.

Скоро он приехал и служил в соборе. Мы присутствовали. Одеваясь, он, прежде чем надеть какую-нибудь вещь, прикладывался к ней. Кресты он роздал жестяные, и мы отдали их нищим.

У Кондратьевых был кто-то именинник. Толчая была и бестолочь. Я улизнул в «приемную». Там пахло иодоформом. «Панорама Ревеля» и «Заратустра» с надписями на полях лежали на столе. Андрей нашел меня там. Мы поговорили. Мне приятно было с ним, и так как у меня уже был друг, я сомневался, позволительно ли это.

Александра Львовна Лей, когда она теперь бывала у нас, то всегда расспрашивала нас о состоявшемся недавно бракосочетании Софи. — Сентябрь, — озабоченная, звякая брелоками браслета, начинала она счет по пальцам, улыбалась и задумывалась. — Интересно, интересно, — говорила она нам.

Раз я писал после обеда. Солнце освещало сад. Окно было открыто. Пфердхенские голоса слышны были. —

«Кафтаны», — списывал я с прописи, — «зелёны». — Брось, — сказал отец. Он собрался к больному и позвал меня с собой. Был теплый вечер. На мосту уже горело электричество. Попыхивая, маневрировал внизу товарный поезд, мастерские, где начальствовал Карманов, темные от копоти, толпились. На горé стояла кирха с петухом на колокольне. Здесь кончалась дамба и переходила в улицу.

Мы возвращались уже в сумерки. Уже показывались звезды, и извозчики уже позажигали фонари у козел. Вдруг слышался какой-то незнакомый звук. Остановившись, мы обернулись. Мимо нас бесшумно прокатились дрожки. Их колеса не гремели, и одни копыта щелкали. Мы посмотрели друг на друга и послушали еще. — Резиновые шины, — наконец заговорили мы.

9

Этой осенью заразился на вскрытии и умер отец. До его выноса в церковь наша парадная дверь была отперта, и всем было можно входить к нам. Подвальные перебивали по множеству раз. Вместо того чтобы гнать их, кухарка и нянька выбегали к ним и, окружив себя ими, стояли и сообщали им о нас всякие сведения.

На отпевании была теснота, и любезная дама из Витебска, специально прибывшая на погребение, взяла в руку свой шлейф, отвела меня в сторону и поместилась со мной у распятия. Иоанн у креста, милостивый, напомнил мне Васю. Растроганный, я засмотрелся на раны Иисуса Христа и подумал, что и Вася страдал. Отец Федор сказал в этот день интересную проповедь: он обращался к маман, называл ее, точно в гостях, по имени-отчеству и говорил маман «ты». — Бог послал тебе скорбь, — говорил он, — и в ней посетил тебя. Был святой, не имевший скорбей, и он плакал об этом.

Вечером, когда отбыли последние гости и с нами осталась только дама из Витебска и стала снимать с себя платье со шлейфом и волосы, мы увидели, как велика теперь для нас эта квартира.

Маман подыскала другую, неподалеку от кирхи, и мы перешли туда. Наш новый дом был деревянный, с мезонином и наружными ставнями. Через дорогу над дверью висел медный крендель, и в окошке был выставлен белый костел со столбами и статуями, из которого, очень нарядная, выходила чета новобрачных. Я вылезал сбегать за булками, и приказчица мне рассказала, что все это — сахарное.

Распаковываясь, мы пожалели, что у нас больше нет Пшиборовского, и маман, отвернувшись, всплакнула. Когда уже было темно, в мастерских загудели гудки, и мы услышали, как мимо окон по улице стали бежать мастеровые. Маман поднялась и захлопнула форточку, потому что от них несло в дом машинным маслом и копотью.

Няньку с кухаркой мы скоро выгнали, и вместо них поступила к нам рекомендованная факторкой Каган Розалия. Она часто пела и при этом всегда раскрывала молитвенник, хотя и не умела читать.

Отправляясь на кладбище, мы посылали ее за извозчиком, и она доезжала на нем от стоянки до дома. На кладбище мы приезжали обыкновенно под вечер, и там было тихо, и мы говорили, что чувствуется, что скоро будет зима.

В «монументальной И. Ступель» маман заказала решотку и памятник. Там на стене я заметил картинку, похожую на краснощекенькую богородицу тюремной церкви. — «Мадонна, — напечатано было под ней, — святого Сикста».

Карманов устроил маман на телеграф ученицей. Она уходила, надев свою черную шляпу с хвостом, я писал, и Розалия, как взрослому, подавала мне чай.

После праздников мне предстояло начать готовиться в пригостительный класс. Маман побывала со мной у

Горшковой и договорилась. Горшкова жила при училище. В красном капоте, она отворила нам. Стены передней были уставлены вешалками. На обоях отпечатаны были пагоды с многэтажными крышами. — Мы к вам по делу, — сказала маман, и она приняла нас в гостиной. Я прямо сидел на диванчике. В окна был виден закат, и я думал, что, должно быть, это и есть цвет наваринского пламени с дымом.

Прошло рождество. У Кондратьевых я получил картонаж, изображающий Адмиралтейство. Он нравился мне. Оставаясь один, я смотрел на него, и прекрасные здания города Эн представлялись мне.

Дама из Витебска в длинном письме сообщила нам, что она делала после того, как была у нас. — «Все вспоминаю, — писала она между прочим, — веночек, который тогда возложила на гроб инженера Карманова». — А, — улыбувшись, сказала маман.

В Новый год падал снег. Визитеры раскатывали. Я побродил возле кирхи, и сквозь стены ее мне было слышно, как внутри играет орган.

Почтальон перестал приносить нам «Русские ведомости» и начал носить «Биржевые». Маман просмотрела тираж, но пока мы еще ничего не выиграли. Ей пришлось продолжать посещать телеграф. Через несколько дней она показала мне, как надо связывать тетради и книжки, и повела меня. — Все-таки, — говорила она по дороге, — день стал заметно длиннее. — У крыльца мы расстались. Я дернул звонок. Сторожиха впустила меня. У Горшковой я увидел девочку Синицыну в бусах и сторожихина сына. Горшкова учила их. — «Всуе», — говорила она им, — это значит «напрасно». — Она усадила меня, и мы стали писать.

10

Ковер с испанкой и испанцами, играющими на гитарах, и голубенькая туфля для часов, оклеенная раковинами, висели над кроватью. Мадмазель Горшкова иногда ложилась и закуривала, томная. — «Тюленьи кожи, — диктовала она и пускала дым колечками, — идут на ранцы!» Сторожихин Осип скрипел грифелем. Чтобы не изводить тетрадей, он писал на грифельной доске. Синицына роняла на свою бумагу кляксы и, нагнувшись, слизывала их. Входила сторожиха, зажигала лампу, и ее картонный абажур бросал на наши лица тень. Тогда, придвинувшись ко мне со стулом, мадмазель Горшкова под прикрытием стола хватала мою руку и не отпускала ее.

Иногда, идя учиться, я встречался с Пфердхенами. В шубах с пелеринами, они шагали в ногу. Один раз я видел Пшиборовского. Он издали заметил меня и свернул в какую-то калитку. Когда я прошел ее, он вышел.

Вася Стрижкин тоже однажды встретился мне. Я подумал, что теперь случится что-нибудь хорошее. И правда, в этот вечер мне удалось чистописание, и мадмазель Горшкова на следующий день поставила мне за него пятерку.

Александра Львовна Лей остановила меня раз на улице. — Великопостные, — взглянув на небеса, сказала она басом, — звезды, — и потом спросила у меня, когда у нас бывает инженерша.

Уже таял снег. Петух и куры на дворе ходили с красными гребнями и рычали по-весеннему. В день именин я получил письмо из Витебска. Пришли Кармановы, и Александра Львовна принялась расспрашивать о самочувствии Софи. — Да вы зайдите к ней, — сказала инженерша. Прибыли Кондратьевы. Андрей вместо «с днем ангела» поздравил меня «с днем святого». — Ангелы совсем другие, — пояснил он. Дамы недовольны были. — Не тебе судить об этом, — стали говорить они. Карманова негодовала. — За такие штуки надо драть и солью посыпать, — сказала она после.

Первого апреля мы были свободны и отправились к ней. Было весело итти по улицам. — У вас на голове

червяк, — обманывали друг друга люди. Перешептываясь о Софи и Александре Львовне Лей, таинственные, дамы уединились в «будуаре» и отпустили меня и Сержа в сад. Там, как и прежде, под каштанами сидели няньки. Со двора подсматривали сквозь забор подвальные. — Какие дураки, — поговорили мы о них. Вдруг перфрденская Эдит прибежала запыхавшаяся. — Господа, — кричала она и жестикулировала. — Карла будут бить. Кто хочет слушать? Я открыла форточку. — Мы устремились вслед за ней. Навстречу нам шла от калитки стройненькая девочка и с удивлением поглядывала. Чем-то она напомнила мне богородицу тюремной церкви и монументальной мастерской И. Ступель. Приходящая француженка мадам Сурир сопровождала ее. — Кто это? — спросил я на бегу у Сержа. — Тусенька Сиу, — ответил он.

Когда я шел с маман домой, уже темно было. На небе, как на потолке в соборе, были облачка и звезды. Коля Либерман попался нам на виадуке. Он стоял, суровый, глядя на огни внизу, и Тусенька Сиу представилась мне — на коленях, горестно взираящая на меня и восклицающая: — Александр, о, прости меня.

Я скоро был представлен ей. Чаплинский раз после обеда постучался к нам. Он сообщил, что у Софи родился мальчик. Воодушевленные, мы наскоро оделись и послали за извозчиком.

Опять маман сидела с инженершей в будуаре, а меня и Сержа отослали в сад. Как и тогда, в сопровождении мадам явилась Тусенька. Серж поклонился ей. Она кивнула, покраснев. Тень ветки с лопнувшими почками упала на нее. Я посмотрел на Сержа. — Это сын одной телеграфистки, — рекомендовал он меня.

В день перед экзаменами мадамзель Горшкова сказала, как уже при первой встрече с нами она вдруг почувствовала, что я буду приходить к ней. Поэтическое выражение появилось на ее лице. Она сказала, что ей будет скучно без меня. — Пойдемте в сад, — звала она меня, справадив Синецynu и Осипа. — Смотрите, яблони цветут. — Нет, мне пора, спасибо, — отвечал я. Она вышла проводить меня. С угла я оглянулся, и она еще стояла на крылечке и пускала дым колечками, внушительная и печальная.

Маман была дежурная. Розалия подала мне чай. Трепещущий, я вышел и отправился держать экзамен. Солнце уже жгло. Шушра, носилась пыль. Мороженщики в фартуках стояли на углах. В дверях колбасной я увидел мадам Штраус. Капельмейстер Шмидт тихонько разговаривал с ней. Золоченый окорок, сияя, осенял их. Вася Стрижкин, с веточкой сирени за ухом, остановясь, смотрел на них. Я помолился ему. — Васенька, — сказал я и перекрестился незаметно, — помоги мне.

11

Штабс-капитанша жила над нами в мезонине, и в конце зимы мы познакомились с ней, чтобы ездить на одном извозчике на кладбище. Когда настало лето, мы сошлись с ней ближе. По утрам она спускалась в садик. Постояв над клумбочкой, она усаживалась на складную палку-стул и подвигалась с нею, когда перемещалась тень. Костлявая, в коричневом капоте с желтыми цветочками и желтым рюшем у воротника, она была похожа на одну картинку с надписью «Все в прошлом». — Что ты там читаешь? — спрашивала иногда она, и я показывал ей.

— Это книги для больших, — сказала она мне однажды, поднялась к себе наверх и принесла мне книгу детскую. — «Любезность за любезность», — называлась эта книга в переплете с золотом. На ней было написано, что она выдана в награду за успехи ученице, перешедшей в третий класс. Родители Сусанны были знатны, говорилось в ней. Стояла хорошая погода, и они устроили пикник. Дочь городского головы Елизавета тоже,

хотя и не была дворянкою, была приглашена. Она повеселилась там. Когда же в этот город собралась императрица, голова похлопотал, чтобы Сусанну уполномочили произнести приветствие и поднести цветы.

Дни проходили друг за другом, однообразные. Розалия от нас ушла. — Муштруете уж очень, — заявила она нам. Мы рассердились на нее за это и при расчете удержали с нее за подаренные ей на пасху башмаки. После нее к нам нанялась Евгения, православная. Она была подлиза.

Лес, который начинался за Вилейской улицей, огородили. Это было близко от нас, и нам было слышно, как с утра до вечера стучат в нем топоры. Маман узнала от кого-то, что там будет выставка. Мы очень интересовались ею, и когда она открылась, мы отправились туда.

Послеобеденное солнце пригревало нас. На крае неба облачко в виде селедки неподвижно было. Чигильдеева обмахивалась веером. Маман была без шляпы. Приодевшиеся люди обгоняли нас. Помещик прокатил на дрожках, соскочил у выставки, оборотился, сказал «прошем» и ссадил помещицу в митенках и с лорнеткой. На щите над входом всадник мчался. Он был в шлеме и кольчуге. Музыка играла марш.

Мы осмотрели скот, мешки с мукой и птицу, экспонаты графа Плятер-Зиберга и экспонаты графини Анны Броэль-Плятер, завернули в павильон с религиозными предметами и выбрали себе на память по иконке. Выйдя из него, мы постояли у пруда с фонтанчиком и ивой. Ее листья поредели уже. — Осень, осень близко, — покачали головами мы. Вдруг колокольчик зазвенел, и на сарае, из дверей которого кричали «поспешите видеть», загорелась надпись из цветных огней: «Живая фотография». — Туда были отдельные билеты, мы посоветовались и купили их.

Внутри стояли стулья, полотно висело перед ними, и когда все сели, — свет погас, рояль и скрипка заиграли, и мы увидели «Юдифь и Олоферн», историческую драму в красках. Пораженные, мы посмотрели друг на друга. Люди, нарисованные на картине, двигались, и ветви нарисованных деревьев шевелились.

Утром, когда я расположился писать Сержу про Юдифь, вошла Евгения и подала мне записку, свернутую в трубочку. «Как вам понравилась живая фотография? — было написано в ней. — Я сидела сзади вас. Позвольте мне с вами познакомиться. С.»

Составительница этого письма ждала ответа, сидя на скамейке перед домом, и когда я вышел за ворота, встала. — Я Стефания Грикюпель, — назвала она себя, и мы прошли немного. Мы полюбовались медным кренделем над дверью булочной и сахарным костелом. — Мой друг Серж уехал в Ялту, — рассказал я, — а Андрей Кондратьев в лагерях. Я мог бы побывать там, но Андрей не очень для меня подходит, потому что обо всем берется рассуждать. — Стефания Грикюпель, оказалась, тоже поступила в школу и ужасно трусила, что ей там трудно будет: цыфры по-арабски, сочинения сочинять.

Довольные друг другом, мы расстались. Подходя к своей калитке, я увидел похороны — факельщиков в белых балахонах, дроги с куполом, украшенным короной, и вдову за дрогами. Ее вел Вася Стрижкин.

Мне влетело от маман, когда она вернулась. Встречи со Стефанией она мне запретила и обозвала Стефанию развратницею. Чигильдеева, которая пришла послушать, заступилась за меня. — Но это так естественно, — сказала она и задумалась о чем-то. Улыбаясь, она слезила наверх и принесла «Любезность за любезность». — Я дарю ее тебе, — сказала она мне.

12

Училище было коричневое, и фасад его, разделенный желобками на дольки, напоминал шоколад. К треуголь-

ному полю фронтона был приделан чугунный орел. Он сжимал одной лапой змею, а в другой держал скипетр. В конце, где была расположена церковь, на крыше был крест.

Мне не очень везло в арифметике, и я искал встреч с Васей Стрижковым. Часто я ждал его около вешалок или взбирался наверх, в коридор старшекласников. Там против лестницы были часы. По бокам их висели картины: «Крещение Киева» и «Чудо при крушении в Борках». Под часами был бак красной меди и кружка на железной цепи. Надзиратель Иван Моисеич бросался ко мне, чтобы я убирался. Во время большой перемены мадам Головнёва продавала в гимнастическом зале булки и чай. Она была пышная женщина, полька, и Иван Моисеич любезничал с ней. Ее муж Головнёв, вахтер, низенький, стоял у печки, смотрел на них. Я становился с ним рядом, и все покупатели были видны мне. Но Вася и там не встречался мне.

Будрих, Карл, был брат Эльзы Будрих. Он жил возле кирхи, и мы вместе ходили домой. Он рассказывал мне, будто видел однажды, как один господин и одна госпожа завернули на старое кладбище и, наверное, делали глупости. Я побывал там. Репейник цвел между могилами. Каменный ангел держал в руке лиру. Телеги гремели вдали. Господ и госпож еще не было, и я сел на плиту подождать их.

— «Статские, — выбиты были на ней старомодные буквы, — советники Петр Петрович и София Григорьевна Щукины». — Я их представил себе.

Никого не дождавшись, я встал и, почистясь, отправился. Трубы домов и верхушки деревьев с попестревшими листьями освещены были солнцем. В трактире, над дверью которого была нарисована рыба, играла шкатулочка с музыкой. Кисти рябины краснелись над зеленоватым забором, заманчивые. — «Монументы, — заметил я вывеску с золотом, — всех исповеданий. Прауда». — Я вспомнил И. Ступель, мадонну у нее в заведении и Тусеньку.

Вскоре у нас побывала Кондратьева и пригласила нас на именины. — У нас теперь есть граммофон, — говорила она нам. А мы рассказали ей о живой фотографии. На именинах у нее было много гостей. Граммофон пел куплеты. Анекдот про еврейского мальчика очень понравился всем, и его повторили. — Но жалко, — сказал один гость, — что наука изобрела это поздно: а то мы могли бы сейчас слышать голос Иисуса Христа, произносящего проповеди. — Я был тронут. Андрей подмигнул мне, и мы вышли в «приемную». Снова я увидел на столике «Заратустру» и «Ревель». Андрей, разговаривая, нарисовал на полях «Заратустры» картинку. — «Черты, — подписал он под нею название, — лица».

Раз в субботу, когда я отобедал и читал у окна «Биржевые», внезапно за окном появился Чаплинский. Он подал две маленьких дыни и объявил, что Кармановы прибыли. Я поспешил с ним. Дорогой я с ним побеседовал. Я спросил у него, рад ли он возвращению господ, и узнал, что без них он работал в депо, где он числился, хотя и состоит при Карманове.

Серж был любезен. — Приятно, — сказал он мне, — быть знакомым с учащимся. — Наскоро инженерша напояла нас чаем и побежала к Софи. Мы остались вдвоем, похихикали и потом помолчали и послушали колокол. Серж рассказал мне, что Тусенька тоже приехала с дачи. — Она, — посмеялся он, — думала, будто ваша фамилия — Ять. — Оказалось, что есть книга «Чехов», в которой прохвачены телеграфисты, и там есть такая фамилия.

Пришел инженер. Он зажег электричество, которое проведено было к ним с железной дороги, и я отвернулся, чтобы не испортить глаза. Он присел к нам, и мы поболтали с ним. — Вообразите, — сказал я, — учащиеся пишут на партах плохие слова. — Части тела? — оживясь, спросил Серж. Я подумал об Андрее с «чертами лица»

и о том, что предосудительно в присутствии друга вспоминать о других.

В воскресенье мы были в пожарном саду. Молодецкие вальсы гремели там, и пожарные прыгали наперегонки в мешках. Детям дали бумажные флаги и выстроили. По-военному я и Серж зашагали в рядах. Как из поезда, нам видны были в стороне от площадки деревья и листья, которые падали с них. Инженер похвалил нас. — Маршировка прошла очень мило, — сказал он. При выходе мы задержались и посмотрели на городовых, отгонявших зевак. — Да, — толкнул меня Серж и шепнул мне, что узнал для меня у Софи о Васе Стрижковине. Летом у него умер отец, и он служит в полиции.

13

— «Православный», — сказал нам на уроке «закона» отец Николай, — значит «правильно верующий». — По дороге из школы я сообщил это Будриху. Я принялся убеждать его, чтобы он перешел в православие, и он начал меня избегать. Так что Сержу, когда он однажды спросил у меня, не завел ли я себе в школе приятеля, я мог ответить, что — нет. Уверяя его, я представил ему учеников в непривлекательном свете. — У них всегда грязные ногти, — сказал я, — и они не чистят зубов. Они говорят «полдесятого», «квартал», «галоши» и «одену пальто». — Дураки, — посмеялись мы и приятно настроились. Надпись на коробке с печеньем напомнила нам за чаепитием о Тусеньке. Мы подмигнули друг другу и, точно стишок, повторяли весь вечер:

Сиу и компания, Москва,
Сиу и компания, Москва.

Через несколько дней я ее встретил в училищной церкви. От окон тянулись лучи, пыль вертелась на них. Время ползло еле-еле. Наконец Головнёв вышел с чайником из алтаря и отправился за кипятком для причастия. Я оглянулся, чтобы посмотреть ему вслед, и увидел ее. После церкви я не мог побежать за ней и последить за ней издали, потому что Иван Моисеич повел нас к инспектору на переключку.

Инспектора, мужа Софи, переводили в Лиаву, и Софи уезжала с ним. В пасмурный день, перед вечером, когда я в ожидании лампы перестал на минуту разучивать, что такое сложение, она постучалась к нам, чтобы проститься. Громоздкая, в шляпе с пером и в вуали с кружочками, она была меланхолична. Маман рассказывала ей, что Евгения очень уж лстлива. Поэтому она не внушает доверия, и мы думаем выгнать ее. Расставаясь, Софи подарила мне книгу про Маугли, которая очень понравилась мне. Я перечел ее несколько раз. Чигильдеева, заходя к нам, подкрадывалась и старалась увидеть, не «Любезность» ли я «за любезность» читаю.

— Сегодня, — объявила Карманова как-то раз, когда я глазел с Сержем в окно, — будет «страшная ночь», — и она посоветовала нам пойти на реку и посмотреть, как евреи толпятся там и отрясают грехи. Под охраной Чаплинского мы побежали туда. Мы ужасно смеялись. Чаплинский рассказывал нам, как каждой весной пропадают христианские мальчики, и научил нас показывать «свиное ухо».

Уже подмерзло. Маман, отправляясь на улицу, уже надевала шерстяные штаны. Чигильдеева запечатала свой мезонин и отбыла в Ярославль крестить у племянницы. Она умерла там. Она мне оставила триста рублей, и маман не велела мне распространяться об этом.

Зима наступила. Был вечер субботы. Светила луна, и на кирхе блестели золоченые стрелки часов. С виадука я видел огни на путях и сноп искр над баней. Промчались извозчики санки. В шинели офицерского цвета, Вася Стрижков сидел в них. Бубенчики брякали. Несколько дней я ждал счастья, которое мне должна была принести эта встреча. И вот, в одно утро, когда мы явились в училище, вахтер сказал

нам, что отец Николай заболел, и у нас в этот день было четыре урока.

— «Спектакль для детей», — возвестили однажды афиши. Прекрасная дева представилась мне, распростершаяся перед внушительным юношей и восклицающая: О, Александр! — Чаплинский принес нам билеты. Театр был полон. Военный оркестр под управлением капельмейстера Шмидта гремел. Перед нами был занавес с замком. Мы ждали, пока он подымется, и жевали конфеты. Стефания Грикюпель откуда-то выскочила и, прежде чем я отвернулся, успела кивнуть мне. Я рад был, что маман и Кармановы в эту минуту смотрели на мадам Штраус, входившую в зал.

Рождество пролетело, и в экстренном выпуске газета «Двина» сообщила однажды, что Япония напала на нас. Еще дольше стали тянуться церковные службы. Кончались обеды — и начинались молебны «о даровании победы». В окне у Л. Кусман появились «патриотические открытые письма». Серж стал вырезать из «Нового времени» фотографии броненосцев и крейсеров и наклеивать их в «Черновую тетрадь». Мы с маман были раз у Кармановых. Дамы поговорили о том, что теперь на войне уже не употребляется корпия и именитые женщины не собираются вместе и не шиплют ее.

В этот вечер к Кармановым пришла с своей матерью Тусенька. Серж поболтал с ней немного и побежал в свою комнату, чтобы принести «Черновую тетрадь». Я и Тусенька были вдвоем в конце «зала». Когда-то здесь Софи со своими друзьями разыгрывала интересную драму, одну сцену которой я подсмотрел. Я хотел рассказать ее Тусеньке. — Натали, ах, — хотел я сказать ей. Мы оба молчали, и я уже слышал, как возвращается Серж. — Ты читал книгу «Чехов»? — краснея, наконец спросила она.

14

На первой неделе поста наша школа говела. Маман разъяснила мне, как грешно утаить что-нибудь во время исповеди. Я не знал, как мне быть, потому что признаваться отцу Николаю в грехах мне казалось не очень удобным. Поэтому я очень рад был, когда он сказал нам, что не будет терять много времени с приготовлениями, и собрав нам под черным передником, который он поднял над нами, велел нам всем зараз исповедаться мысленно.

Быстро наступила весна. В воскресенье перед страстною неделей в училище состоялось душеполезное чтение. Я был там с маман. Был волшебный фонарь, и отец Николай, огороженный ширмой, читал о последних днях жизни Иисуса Христа. Освещенный свечой, он был виден сквозь ситец. Когда мы шли к выходу, кто-то окликнул нас. Мы обернулись. Горшкова кивала нам и делала знаки. В боа и с лорнетом, она была очень внушительна. Она расспросила меня об успехах и сказала, что теперь будет жить ближе к нам, потому что переменила приход. Разговаривая, она меня тронула за подбородок.

Нас вспомнила в Витебске дама, приезжавшая к нам, когда умер отец. На открытке с картинкой, называвшейся «Нбли ме тангере», она нас поздравила с пасхой и сообщила нам, что ее дочь вышла замуж за господина из немцев, помещика, и что они уезжают в имение и сама она тоже собирается двинуться с ними.

Уже начинались экзамены. Был светлый вечер. Деревья цвели. Сидя в садике, я повторял про сложение. Открылось окно, и маман позвала меня в дом и велела проститься с Александрю Львовной, которая отправлялась на Дальний Восток. Она была в форме «сестры», торопилась и пила, наливая в два блюдечка: — Пусть остывает скорей. — Завоюете их, — говорила маман, — и тогда у нас чай будет дешев.

На лето Кармановы переехали в Шавские Дрожки, и после экзаменов я и маман побывали у них. С паро-

хода «Прогресс» нам видны были дамба и крепость. Оркестр, погрузившийся на пароход вместе с нами, играл. Когда он умолкал, господа возле нас толковали об Англии и осуждали ее. — Христианский народ, — говорили они, — а помогает японцам. — Действительно, — пожимая плечами, обернулась ко мне и поудивлялась маман. Я смутился. На книге про Маугли напечатано было, что она переводная с английского, и я думал поэтому, что Англию надо любить.

Инженерша и Серж вышли встретить нас. Праздничные, мы прошли через парк. Разместясь на эстраде, наш оркестр уже загремел. Встали с лавочек дамы в корсетах, в кушаках со стеклярусом и твердых прическах с подложенным под волосы валиком и пошли по дорожкам. Мужчины в бородах и усах, в белых форменных кителях, сопровождали их. Серж поклонился одной из них и сообщил мне, что это — нотариусиха Конрадиха фон-Сасапарель. За заборчиками красовались шары на зеленых подставках и веранды с фестончиками из парусины. На кухнях стучали ножи. В гамаках под деревьями нежилась дачницы. Бегая и пререкаясь друг с другом, девицы и мальчики играли в крокет.

Расставаясь, Кармановы попросили маман заходить иногда на их городскую квартиру, чтобы быть уверенными, что Чаплинский сторожит ее тщательно. В этот же вечер мы завернули туда. Мы застали Чаплинского спящим. Набросив пальто, он впустил нас, и мы обошли с ним все комнаты. Он пригласил нас к окну и, значительный, указал нам на сад. Под каштанами, где всегда пели няньки, сидели подвальные. — Пользуются, — пояснил он нам мрачно, — что господа поразехались. — Мы рассказали об этом Кармановым, и они написали Канторёку, чтобы он принял меры.

Недолго я оставался без дела. Маман сговорила с Горшковой, и я стал ходить к ней учиться немецкому, чтобы к началу занятий в училище что-нибудь уже знать. — «Вас ист дас?» — диктовала Горшкова и, пока я писал, подходила ко мне. Я запрятывал руки, и она не могла захватить их. Задумавшись, она иногда принималась смотреть на меня. Раз в передней она мне сказала, что Плеве убит, и, расстроенная, быстро набросясь, схватила меня и потискала.

Изредка я встречался с Стефанией. Кланяясь ей, я принимал строгий вид, и она не осмеливалась заговорить со мной.

15

— В училище завтра молебен, — объявила однажды маман и подала мне «Двину». Я прочел извещение. — Итак, думал я, — уже кончилось лето. — Я съездил последний раз в Шавские Дрожки. На лóзах там уже поредела листва. Паутина летала уже. У Кармановых я увидел Софи. Мимоездом она там гостила с ребенком. Неповоротливая, встав с качалки, она осмотрела меня. — Все такой же, — эффектно сказала она, — но в глазах уже что-то другое. — Конрадиха фон Сасапарель завернула при мне. Представительная, она опиралась на посох. На нем были рожки и надпись «Кримé». Инженерша подседа к ней, и они говорили, что следует поскорее сбыть с рук Самоквасово, и что вообще хорошо бы распродать все и выехать. Я был встревожен. — Уедет и Серж, — думал я, — и конец будет дружбе. — Печальный, я возвращался домой на «Прогрессе». Шумели его два колеса. Пассажиры молчали. Был виден на холмике садик, и сквозь садик виднелся закат.

В приложении к книгам Л. Кусман далá мне в этом году «Мысли мудрых людей». На обложке их было написано, что они стоят двенадцать копеек. Маман просмотрела их и одобрила кое-какие из них, и я рад был. Но в школе я узнал, что Ямпольский и Лифшиц давали «Товарищ, календарь для учащихся». Разо-ро-

ванный, я решил не иметь больше дела с Л. Кусман. Я думал об этом, когда вечером вышел пройтись. Озабоченный, я не заметил на улице учителя чистописания, и меня посадили за это в карцер на час. Я рыдал весь тот день, и маман подносила мне капли.

К нам в церковь водили теперь гимназисток. Они были в белых передничках, бантиках и, не вертя головой, углом глаза смотрели на нас. Их начальница, в «ленте», торжественная, иногда доставала из мешочка платок, и тогда запах фиалки долетал до нас. Тусенька чинно стояла в рядах, притворяясь, что ничего не замечает вокруг, и краснела, когда кто-нибудь поглядит на нее. — Натали, Натали, — думал я, и обедни уже не казались мне больше такими длинными.

В классе я сидел рядом с Фридрихом Орловым. Он был плохой ученик и во время уроков, вырвав лист из тетради, любил рисовать на нем глупости. Он уверял меня, будто все, что рассказывают про Подольскую улицу, правда, и я, возвращаясь из школы, несколько раз делал крюк и ходил по Подольской, но я не увидел на ней ничего замечательного. Один раз мне попался там Осип, который когда-то учился со мной у Горшковой, и он посмеялся, что встретил меня там. Он был оборванец, и мне пришлось в голову позже, что у него мог быть нож и он мог бы помочь мне отомстить учителю чистописания. Обдумав, как мне говорить с ним, я пошел к нему в школу, в которой он жил, но его уже не было в ней.

Этой осенью мы переехали на другую квартиру. Она была в том же квартале, в каменном доме Канатчикова. Приходя за деньгами, Канатчиков заводил разговор о религии. Он нам показал, как надо креститься двухперстно. Из дома теперь нам видна была площадь, на которой учили солдат. В уголке ее, окруженная желтой акацией, была расположена небольшая военная церковь. Молебен, который служили на площади, когда отправляли полки на войну, мы слышали, стоя у окон.

Кармановы были у нас на новосельи. Они не уехали. Им подвернулось недорогое место вблизи Евпатории, и они собирались построить там доходную дачу. С двоими из Пфердхенов Серж уже начал учиться у Гаусманши, чтобы весной поступить в первый класс. Серж сказал мне, что Гаусманша говорит «пять раз пять». Посмеявшись над этим, мы приятно болтали вдвоем в моей комнате и не зажигали огня. Прогудели гудки в мастерских. Позвонили негромко на колокольне на площади. С линии иногда доносились свистки. Мы серьезно настроились. Я рассказал кое-что из «Истории», и мы подивились славянам, которые брали в рот для дыхания тростинку и сидели весь день под водой. Распростившись с гостями, я слушал с крыльца, как шуршали по песку их шаги. Я стоял, как Манилов. Упала звезда, и мне жаль было, что в эту минуту я не думал о мести учителю, — а то бы она удалась мне.

16

— Надо больше есть риса, — говорила теперь за обедом маман, — и тогда будешь сильным. Японцы едят один рис — и смотри, как они побеждают нас.

Как каждый год, мы опять были у Кондратьевых на именинах. Кондратьева прочитала нам несколько писем от мужа. Мне очень понравились в них слова «гаолян» и «фанза». Андрей тоже, как и Серж, собирался поступить в первый класс. Он готовился у учителя Тевеля Львовича.

Все мальчуганы теперь были заняты, и я с ними виделся редко. Почти не встречался я с Сержем. Карманова же очень часто бывала у нас. Ей понравилась церковь напротив нашего дома. Священником там теперь был монах. Он носил черный клобук, с которого сзади что-то свисало, и мантию. Это заинтересовывало.

Учителя чистописания не было несколько дней. Он болел. Я желал ему смерти и молился, чтобы бог

посадил его в ад. Но он скоро явился. — «Иуда, — вывел он на доске, — целованием предал Иисуса Христа», — и мы начали списывать.

На рождестве я нигде почти не был. Кармановы укатили в Либаву к Софи и прислали оттуда открытку с кирхой и надписью «фрëлихе вейнахтен».

В этом году инженерша полюбила политику. Часто она принималась судить о ней, и тогда у меня и маман начинали слипаться глаза.

Стало капать при солнышке с крыш, и училище стало надоедать мне все больше. Я очень обрадовался, когда одним солнечным утром, значительный, Головнёв сообщил нам у вешалок, что какого-то князя убили и в двенадцать часов мы отправимся на панихиду, а оттуда — домой. Он любил сообщить неожиданное.

С панихиды я вышел торжественный. Орлов предложил мне пойти на базар. Я еще никогда не бывал там, и мы побежали туда. Мы хихикали и, держась друг за друга, толкались. Кухарки едва не сшибали нас с ног, задевая корзинами. Дамы, остановясь у возов с съестным, пробовали. Мужики говорили вслух гадости. Я в первый раз еще видел их близко. — Они как скоты, — сказал Олов, и мы поболтали о них.

Приближалось говенье, но я мало думал о нем. Я решил уже, что не признаюсь отцу Николаю ни в чем, потому что он может наябедничать или сам сделать пакость.

Та дама, которая к нам приезжала когда-то из Витебска, снова прислала открытку. Она нас звала погостить у нее. Мы решились, и маман написала прошение об отпуске.

Лето пришло наконец. Мы расстались с Кармановыми, уехавшими строить дачу, и тоже отправились в путь. Приглядеть за Евгенией мы попросили Канатчикова.

Экипаж встретил нас у железной дороги. С большим интересом привстали мы с мест и смотрели, когда впереди уже показалось имение. Труба винокурни стояла над ним. Мужики боронили. Вороны вертелись около них. Я представил себе путешествия Чичикова.

Мы явились, и нас стали расспрашивать. Мы припомнили тут кое-что из своих разговоров с Кармановой. — Простонародье бунтует, — сказали мы. — Мер принимается мало.

Под вечер мы ходили смотреть, как рабочие пляшут за парком на окруженном скамьями полу. Этот пол специально был настлан для них, чтобы они не болтались в свободное время и были всегда на виду.

Возвратясь, мы, как «Гоголь в Васильевке», посидели на ступенях крыльца. Птица щелкнула вдруг и пристынула. — Тише, — сказала маман. Она поднесла к губам палец и с блаженным лицом посмотрела на нас. — Соловей, — прошептала она.

Мне не велено было ходить за ворота, и я не стремился туда. Страшно было бы встретиться вдруг одному с мужиками. Из комнаты, называвшейся «библиотека», я вытащил «Арабские сказки для взрослых» и, пока мы гостили, читал их в саду. В них написано было про «глупости». Я убедился теперь, что мальчишки не врал.

Накануне Иванова дня латыши пришли к дому с огнями и ветками и надели на всех нас веночки. Они долго скакали и пели и жгли бочки с смолой. Мы поили их пивом и легли, когда все разошлось, и огни были залиты, и ворота закрыты, и сторож заколотил, как всегда, по доске.

Уже выписаны для охраны имения были солдатики. Скоро мы увидели, стоя у окон, как они входят во двор. Они были невзрачные; но коренастенькие, несли ружья и пели про Стесселя:

Стессель — генерал доносит,
Что нет снарядов никаких.

(Продолжение следует)



ИЛЛЮСТРАЦИИ ЮРИСА УТАНСА

ОФОРМЛЕНИЕ I, IV ОБЛОЖКИ САРМИТЕ МАЛИНИ И СЕРГЕЯ ДАВЫДОВА
«РОДНИК» 1988. № 9, 1—80

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

